

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ИНСТИТУТ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ НАУКАМ
РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ

Политическая
Наука **1** *2018*

POLITICAL SCIENCE (RU)

Москва
2018

Центр социальных научно-информационных исследований

Отдел политической науки

Редакционная коллегия:

- Е.Ю. Мелешкина* – д-р полит. наук, главный редактор,
зав. Отделом политической науки ИНИОН РАН,
В.С. Авдонин – д-р полит. наук, ведущий
научный сотрудник ИНИОН РАН,
Л.В. Верчёнов – канд. филос. наук, ведущий
научный сотрудник ИНИОН РАН,
И.И. Глебова – д-р полит. наук, руководитель
Центра россияведения ИНИОН РАН,
Д.В. Ефременко – д-р полит. наук, зам. директора ИНИОН РАН,
В.Н. Ефремова – канд. полит. наук, ответственный секретарь,
научный сотрудник ИНИОН РАН,
М.В. Ильин – д-р полит. наук, профессор факультета
социальных наук НИУ ВШЭ,
О.Ю. Малинова – д-р филос. наук, зам. главного редактора,
профессор факультета социальных наук НИУ ВШЭ,
П.В. Панов – д-р полит. наук, ведущий научный сотрудник
Пермского научного центра Уральского отделения РАН,
С.В. Патрушев – канд. ист. наук, руководитель отдела
сравнительных политических исследований Института
социологии РАН,
Ю.С. Пивоваров – академик РАН, научный
руководитель ИНИОН РАН,
А.И. Соловьёв – д-р полит. наук, заведующий кафедрой
политического анализа факультета государственного
управления МГУ им. Ломоносова,
Р.Ф. Туровский – д-р полит. наук, профессор факультета
социальных наук НИУ ВШЭ,
И.А. Чихарев – канд. полит. наук, доцент кафедры сравнительной
политологии факультета политологии МГУ им. Ломоносова

Редактор и составитель номера –
д-р полит. наук М.В. Ильин

Ответственные за выпуск –
А.Н. Кокарева, канд. полит. наук *В.Н. Ефремова*

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации средства массовой информации – ПИ №ФС77–36084.

POLITICAL SCIENCE (RU)

Political science (RU) is a key Russian periodical dedicated to the political science. Founded in 1997, it is well known among foreign researchers. The journal is quarterly published by the Institute of Scientific Information for Social Sciences of the Russian Academy of Sciences (INION RAN) and with the assistance of the Russian Political Science Association (RAPN).

The journal always pays attention to the actual situation in the political science and its trends, as well as to the overview and analysis of up-to-date scientific achievements. Articles and other materials dedicated to the methodology are featured in the journal. Research and information sources (abstract reviews, synopses, book reviews, etc.), materials from other periodicals and results obtained by various think tanks and institutes are published in **Political science (RU)**.

Political science (RU) is included in the list of the leading academic journals that are recommended by the High Certification Commission (VAK) of the Ministry of Education and Science of Russian Federation.

EDITORIAL BOARD

Editor-in-Chief – **Elena MELESHKINA**, Dr. Sci. (Pol. Sci.), Head of Political Science Department, INION RAN (Moscow, Russia)

Deputy Editor-in-Chief – **Olga MALINOVA**, Dr. Sci. (Philos.), Chief Researcher, Prof., National Researcher University Higher School of Economics (Moscow, Russia)

Executive secretary – Valentina EFREMOVA, Cand. Sci. (Pol. Sci.), Research Fellow, INION RAN (Moscow, Russia)

Vladimir AVDONIN, Dr. Sci. (Pol. Sci.), Leading Researcher, INION RAN (Moscow, Russia)

Lev VERCHENOV, Cand. Sci. (Philos.), Leading Researcher, INION RAN (Moscow, Russia)

Irina GLEBOVA, Dr. Sci. (Pol. Sci.), Head of Center of Russian Studies, INION RAN (Moscow, Russia)

Dmitry EFREMENKO, Dr. Sci. (Pol. Sci.), Deputy Director, INION RAN (Moscow, Russia)

Mikhail ILYIN, Dr. Sci. (Pol. Sci.), Prof., National Research University Higher School of Economics (Moscow, Russia)

Petr PANOV, Dr. Sci. (Pol. Sci.), Leading Researcher, Department of Research of Political Institutions and Processes, Perm Scientific Center of Ural Branch Russian Academy of Sciences (Perm, Russia)

Sergey PATRUSHEV, Cand. Sci. (Hist.), Head of Comparative Political Studies Department, Institute of Sociology, Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia)

Yuriy PIVOVAROV, Dr. Sci. (Pol. Sci.), Full Member of Russian Academy of Sciences, Academic Supervisor, INION RAN (Moscow, Russia)

Aleksandr SOLOVYEV, Dr. Sci. (Pol. Sci.), Prof., Head of Political Analysis Department, Faculty of Public Administration, M.V. Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russia)

Rostislav TUROVSKY, Dr. Sci. (Pol. Sci.), Prof., National Research University Higher School of Economics (Moscow, Russia)

Ivan CHIHAREV, Cand. Sci. (Pol. Sci.), Associate Professor, Comparative Political Science Department of Political Science, M.V. Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russia)

СОДЕРЖАНИЕ

Представляю номер.....	9
------------------------	---

СОСТОЯНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

<i>Р. Таагенпера.</i> Две моих мечты. (Изложение лекции Рейна Таагенперы, лауреата премии имени Карла Дойча)	12
<i>М.В. Ильин.</i> Современная политическая наука: Кризис или развитие? (Тезисы для обсуждения) // Методологический семинар «Современная политическая наука: Кризис или развитие?». Организован кафедрой политологии и политического управления ИОН РАНХиГС совместно с РАПН и АПН. 23 октября 2017 г., Москва, РАНХиГС. (Сокращенная стенограмма)	40
<i>В. Патцельт.</i> Переживает ли политическая наука кризис?	68

РАКУРСЫ

<i>М.М. Мchedлова.</i> Будущее как предчувствие. (К дискуссии о характере политической науки)	93
<i>А.И. Соловьёв.</i> Кризисы и «кризисы»: Как трактовать когнитивные конфликты политической науки?	105

ИДЕИ И ПРАКТИКА

<i>Б.И. Макаренко.</i> Теория партийных систем полвека спустя	122
<i>Е.Ю. Мелешкина.</i> Отвергая символику прошлого: Влияние условий политического развития на принятие законов о декоммунизации	148
<i>А.Ю. Мельвиль.</i> Могущество и влияние современных государств в условиях меняющегося мирового порядка: Некоторые теоретико-методологические аспекты	173

КОНТЕКСТ

<i>Е.Б. Павлова, Н.Н. Гудалов, Г.В. Коцур.</i> Концепция стрессоустойчивости в политической науке: На примере биополитических практик в Российской Федерации	201
<i>Г.А. Борщевский.</i> Трансформация института государственной бюрократии: От советского опыта к современности	223

ПЕРВАЯ СТЕПЕНЬ

<i>С.А. Климович.</i> В поисках единой теории коалиционного строительства: От методологического национализма к методологическому регионализму	249
<i>А.А. Порецкова.</i> Будущее политической теории: Дискуссия о легитимации научного знания на примере гуманистической и постструктуралистской традиции	269
<i>М.С. Турченко.</i> Электоральные реформы в сравнительной перспективе	283
К сведению авторов	301

CONTENTS

Introducing the issue	9
-----------------------------	---

STATE OF THE DISCIPLINE

<i>R. Taagepera</i> . Two my dreams. (Summary of the Rein Taagepera 's lecture, Karl Deutsch's prize laureate)	12
<i>М.В. Ильин</i> . Современная политическая наука: Кризис или развитие? (Тезисы для обсуждения) // Methodological seminar «Modern political science: Crisis or development?». Organized by the Department of Political Science and Political Management of the ISS RANEPA jointly with Russian Political Science Association and Academy of Political Science. October 23, 2017, Moscow, RANEPA (Abbreviated Transcript)	40
<i>W. Patzelt</i> . Is political science in crisis?	68

FORESHORTENING

<i>М.М. Mchedlova</i> . The future as apprehension (debate about the crisis of political science)	93
<i>A.I. Solovyov</i> . Crises and «crisis»: How to treat cognitive conflicts of political science?	105

IDEAS AND PRACTICE

<i>B.I. Makarenko</i> . Theory of party systems half a century later	122
<i>E.Yu. Meleshkina</i> . Rejecting symbols of the past: Impact of political conditions on decommunization laws	148
<i>A.Yu. Melville</i> . Power and influence of modern states within the changing world order: Some theoretical and methodological aspects	173

CONTEXT

<i>E.B. Pavlova, N.N. Gudalov, G.V. Kotsur.</i> The concept of stress resistance in political science: The example of biopolitical practices in the Russian Federation.....	201
<i>G.A. Borshevskiy.</i> Institutional transformation of the Russian state bureaucracy from Soviet experience to the modernity	223

FIRST DEGREE

<i>S.A. Klimovich.</i> In search for a unified theory of coalition construction: From methodological nationalism to methodological regionalism.....	249
<i>A.A. Poretskova.</i> Future of political theory: Problem of knowledge legitimization through dichotomy of humanism and poststructuralist tradition	269
<i>M.S. Turchenko.</i> Electoral reforms in comparative perspective	283
Information for the authors	301

ПРЕДСТАВЛЯЮ НОМЕР

Замысел номера зародился еще летом позапрошлого года в Познани, где проходил XXIV Всемирный конгресс политической науки. В содержательном плане центральным событием конгресса стала лекция, которую Рейн Таагепера прочитал по случаю присуждения ему премии Карла Дойча. В этой лекции наш выдающийся коллега убедительно показал, что настало время критически переоценить научные основания политической науки. Невозможно не согласиться с поставленным им диагнозом: нынешняя политология *менее* научна, чем полвека назад; бессмысленная обработка статистических данных, использование цифр, формул и графиков любой ценой вытеснили логическое моделирование; политология от своей полной «не-научности» переходит все больше к «псевдонаучности».

Диагноз поставлен. Необходимы следующие шаги. Что можно и должно сделать, чтобы начать избавляться от псевдонаучности, затем постепенно изживать паранаучность и ненаучность, а в перспективе сформировать полноценную политическую науку?

У нас в России на разных площадках – от РАПН до отдельных университетов и кафедр – уже прошло несколько дискуссий о состоянии политической науки. При всех важных результатах этих дискуссий приблизительность и вялость мешают решительным сдвигам. Нужен некий импульс. Редакция журнала «Политическая наука» выразила готовность помочь, опубликовав изложение лекции Рейна Таагеперы и посвятив целый номер перспективам нашей академической дисциплины.

Тема нынешнего номера – будущее политической науки. Разумеется, редакция стремилась учесть все точки зрения, в том числе и расходящиеся с диагнозом Р. Таагеперы. Разброс мнений

очень велик. Возможны оптимистические оценки: тренды развития политической науки вполне ясны, а их продолжение оправданно. Есть аргументы противоположного рода, акцентирующие пороки политической науки в том виде, как она сложилась в современном мире. Можно давать дифференцированные оценки, учитывать большое разнообразие полученных результатов и в различных дисциплинах, и в национальных традициях, и в отдельных университетах и научных школах. Важно, однако, не только констатировать положение дел, но и обсудить характер динамики. Находимся ли мы на возвышающем тренде или нас ждет кризис? Являются ли нынешние наши усилия всего лишь эпигонской эксплуатацией того, что было заложено десятилетия назад? Или они закладывают основы для новых прорывов научной мысли?

Вопрос о кризисе политической науки стал предметом обсуждения семинара, проведенного кафедрой политологии и политического управления РАНХиГС. Сокращенная стенограмма этого семинара предлагается вниманию читателей. Фактически это одна из опор нынешнего номера, наряду с записью выступления Таагеперы. Третьей такой опорой стала статья известного немецкого политолога и одного из руководителей МАПН Вернера Патцельта «Находится ли политическая наука в кризисе?». Все вместе эти три материала образуют рубрику «Состояние дисциплины».

Тема кризиса получает продолжение и развитие в следующей рубрике «Ракурс». Ее авторы М.М. Мчедлова и А.И. Соловьев предлагают взглянуть на преходящие кризисы в расширенных и неизменных ракурсах. Подход М.М. Мчедловой предполагает соединение универсалий политического – и не только политического – мышления и поведения с расширением временной перспективы. А.И. Соловьев, в свою очередь, акцентирует когнитивистские ракурсы рассмотрения кризисов и приходит в несколько иной логике к сходному признанию универсальности феноменов и моделей кризиса.

Авторы следующей рубрики «Идеи и практика» обращаются к проблематике собственно политической науки на примере отдельных исследовательских направлений. Несколько десятилетий развития теории партийных систем рассматриваются Б.И. Макаренко. Несколько более короткий, но более извилистый и противоречивый опыт внедрения запретительного законодательства относительно коммунистической символики является предметом изуче-

ния Е.Ю. Мелешкиной. Наконец, А.Ю. Мельвиль обращается к крайне актуальным проблемам изучения проходящих на наших глазах изменений могущества и влияния современных государств. Во всех этих статьях так или иначе оцениваются просчеты и достижения политических исследований, возможности их оптимизации и совершенствования.

Рубрика «Контекст» объединяет статьи, в которых опыт и динамика политических исследований рассматриваются в связи с проблематикой, выходящей за пределы собственно политической науки. Для Е.Б. Павловой, Н.Н. Гудалова и Г.В. Коцура такое расширение обеспечивается благодаря учету биополитических практик и обращению к концепту «стрессоустойчивость». В свою очередь Г.А. Борщевский расширяет поле своего анализа за счет включения в него эволюции государственной бюрократии нашей страны и использования концепций и подходов родственной академической дисциплины государственного управления.

Завершает номер рубрика «Первая степень». Она включает статьи: С.А. Климовича, предпринявшего оригинальную попытку создания теории коалиционного строительства; А.А. Порецковой о будущем политической теории, а также М.С. Турченко об изучении электоральных реформ в политической науке.

Отклик коллег на приглашение обсудить будущее политической науки был энергичным и заинтересованным. К сожалению, не все статьи удалось завершить или доработать к моменту, когда номер сформировался в его нынешнем виде. Нам прислали очень интересные и содержательные тексты Л.Н. Тимофеева, Л.В. Сморгунов, А.В. Веретевская, В.Р. Камоликова и Ю.Е. Шулика, а также некоторые другие коллеги. Надеемся, что в следующих номерах эти статьи будут опубликованы, а дискуссия о будущем политической науки получит продолжение.

М.В. Ильин

СОСТОЯНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Р. Таагепера*

**ДВЕ МОИХ МЕЧТЫ.
ИЗЛОЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ РЕЙНА ТААГЕПЕРЫ,
ЛАУРЕАТА ПРЕМИИ ИМЕНИ КАРЛА ДОЙЧА¹**

Аннотация. Наука шагает на двух ногах. Первый шаг заключается в вопросе о положении дел. Ответ дают наблюдение, измерение, визуализация и статистическое описание. Второй шаг состоит в выяснении того, как должны бы обстоять дела из соображений логики. Тут ответ дают логические модели, подкрепленные количественными предсказаниями. Наука большей частью состоит из таких моделей, проверяемых на данных. Развитая наука устанавливает связи не только между индивидуальными факторами, но и связи между этими связями. Однако социальные науки часто идут более простой дорогой и подгоняют исходные данные под прямую линию или какую-то модную схему, не отдавая себе отчета в необходимости *думать* и строить модели на основе логики. Решительное обновление методологии социальных наук является настоятельным.

Ключевые слова: логические модели; количественные предсказательные модели; неверное использование статистики; нелинейные отношения; связи между связями.

* Таагепера Рейн, почетный профессор Калифорнийского университета в Ирвине (США), профессор Тартуского университета (Эстония).

Taagepera Rein, University of California (USA); University of Tartu (Estonia).

¹ Публикуется с разрешения автора. Перевод с английского выполнили Ефимова Евгения Артёмовна и Горельский Илья Евгеньевич.

R. Taagepera
Two my dreams.
Summary of the Rein Taagepera's lecture,
Karl Deutsch's prize laureate

Abstract. Science walks on two legs. One leg consists of asking: How things *are*? This leads to observation, measurement, graphing, and statistical description. The other leg consists of asking: How things *should be*, on logical grounds? This leads to logical models that should become quantitatively predictive. Science largely consists of such models, tested with data. Developed science establishes not only connections among individual factors but also connections among these connections. But social sciences often take the lazy road of fitting raw data with a straight line or some fashionable format, unaware of the need to *think* and build models based on logic. Major widening in social science methodology is crucial.

Keywords: logical models; quantitatively predictive models; misuse of statistics; nonlinear relationships; connections among connections.

От редакции. Одним из ярчайших событий XXIV Всемирного конгресса политической науки, который состоялся в Познани в июле 2016 г., стала лекция Рейна Таагепера, прочитанная по случаю присуждения ему премии имени Карла Дойча. Данная премия присуждается ученым, внесшим выдающийся вклад в междисциплинарные исследования. Достижения Таагепера в этом отношении бесспорны. По образованию он физик и немало сделал в этой научной сфере. Однако он также всемирно известный политолог – чего только стоят его работы по моделированию политических институтов и процессов! В наши дни каждый политолог еще на студенческой скамье непременно осваивает такой созданный им аналитический инструмент, как эффективное число партий.

В 1991 г. Рейн Таагепера создал школу, а затем факультет социальных наук в Тартуском университете. Таагепера известен как этнолог и историк, а также как общественный деятель и политик. Он был членом Конституционной ассамблеи Эстонии, баллотировался в президенты страны в 1992 г., заняв третье место с 23% голосов. Рейн Таагепера создал и возглавлял левоцентристскую партию «Республика». Ее он покинул после того, как партия «сдвинулась вправо».

Текст лекции Таагеперы не распространялся на конгрессе в Познани, однако российские участники конгресса смогли сделать подробные заметки, которые они затем сверили с текстом, опубликованным Таагеперой в журнале «International political science

*review»*¹. Этот объединенный материал мы представляем вниманию читателей, поскольку он имеет прямое отношение к теме нынешнего номера – будущему политической науки.

Мой жизненный путь определили две мечты. Одна заключалась в том, чтобы моя родная Эстония стала независимой. Другая связана со стремлением сделать социальные исследования в полном смысле научными. Моя первая мечта осуществлена, а вот на втором поприще я потерпел неудачу. Сегодня социальные науки все еще не в состоянии создавать надежное знание, отвечающее критериям научности. Мне возразят, что за последние годы сделано немало, публикации наших коллег полны математических формул. Вы ведь сами задавали этому тон, скажут мне. Результат налицо. Не совсем. Дело не в формулах и не в использовании математики. Дело в том, чтобы стать настоящей наукой. В чем особенность настоящей науки? Она шагает на двух ногах. Шаг одной заключается в вопросе: «Каково положение дел?». Для ответа необходимы наблюдение, измерение, наглядное отображение и статистическое описание. Шаг другой состоит в вопросе: «Как должны обстоять дела на основании логики?» Этот шаг ведет к созданию логических моделей, которые могут стать количественно предсказательными. Наука большей частью состоит из таких моделей, проверяемых на данных. Развитая наука устанавливает связи не только между индивидуальными факторами, но и связи между этими связями.

Затем мы снова шагаем первой ногой, обращаемся к положению дел, проверяем логические модели, обращаясь к новым фактам и данным. Однако после этого вновь шагаем второй ногой, создавая новые логические модели. Что же происходит в социальных науках? Тут проявляется идущая от лени склонность подгонять исходные данные под прямую линию или какую-то модную схему, не отдавая себе отчета в необходимости *думать* и строить модели на основе логики, как настаивает на том Карл Дойч. В своей книге 2008 г. «Чтобы социальные науки стали более научными» (Making Social Sciences More Scientific) и в сочинении «Логические

¹ См.: Taagepera R. Science walks on two legs, but social sciences try to hop on one // International political science review. – Beverly Hills, Calif., 2018. – Vol. 39, Iss. 1. – P. 145–159.

модели и основы вычислений в социальных науках» [Taagepera, 2015] я призываю к значимому расширению в методологии социальных наук. Речь идет не просто об использовании математики и вычислений, а об уместном их использовании и об уместном их соединении с логикой и другими нашими исследовательскими возможностями.

Получение премии Карла Дойча от Международной ассоциации политической науки – огромная и неожиданная честь для меня. Я познакомился с работами Карла Дойча, как раз когда мои интересы начали смещаться от физики в сторону социальных наук. Всё началось с работы Дойча «Национализм и его альтернативы» [Deutsch, 1969], но особое воздействие на меня оказала статья Манфреда Кохена и Карла Дойча «К рациональному исследованию децентрализации» [Kochen, Deutsch, 1969]. Это был ранний пример того, что я называю количественными логическими моделями. Я еще вернусь к этим моделям.

Следуя примеру Дойча, я обратился к изучению некоторых взаимосвязей, которые можно считать своего рода законами человеческой активности. Однако мой подход, который я принес с собой из физики, не был подхвачен коллегами, а скорее вызвал сопротивление. Вот почему премия Карла Дойча – приятный сюрприз для меня. Она означает, что я могу еще активнее заняться реализацией своей второй мечты – превращением социальных исследований в настоящую науку. Не внедрять математический аппарат, как порой превратно полагают, а продвигать логические модели. Но сначала немного слов о том, как я обратился к социальным исследованиям.

Как я занялся социальными науками

Однажды, когда мне было одиннадцать лет и я пас коров во время Второй мировой войны, мне подумалось вот что. Представьте, что сто солдат противостоят пятидесяти солдатам в открытом поле. Кто угодно может застрелить кого угодно из противоположного лагеря. Предположим, что их орудия и навыки равны. Сколько из 100 останется в живых, после того как 50 других будут уничтожены? Я подозревал, что потери превосходящей силы будут довольно малы. Я проделал некоторые расчеты

в уме, но они оказались слишком сложными, а у меня с собой не было бумаги. Поэтому мне пришлось сдаться. Однако это означало, что в глубине души у меня созрело стремление использовать количественные логические модели для анализа социальных проблем.

Много позже я вспомнил эту задачу. Я быстро составил систему двух дифференциальных уравнений и решил их. Результат – целых 87 из 100 выживут. И что же, опубликовал ли я этот результат? Нет, не тут-то было. Некий Ланчестер уже разработал эти уравнения в 1916 г., т.е. задолго до моего рождения [Lanchester, 1956].

Подобно Карлу Дойчу, мы с семьей бежали от тоталитарного режима в Восточной Европе. В конце концов я оказался в Северной Америке. По дороге я окончил среднюю школу в городе Марракеше (Марокко). Степень бакалавра ядерной физики я получил в Университете Торонто, а степень доктора физических наук – в Университете Делавера. Я публиковался в области ядерной физики и физики твердых тел [Taagepera, Nurmia, 1961; Taagepera, Storey, McNeill, 1961; Taagepera, Williams, 1966], но больше работал с текстильными волокнами в промышленной лаборатории (Pioneering Laboratory, DuPont de Nemours Experimental Station). Однако меня по-прежнему волновало то, что случилось с моей семьей и моей страной в ходе коллизий мировой политики. Поэтому я стал посещать вечерние курсы по политологии и в конце концов получил степень магистра международных отношений.

Во время обучения я обратил внимание на так называемый кубический закон выборов в англосаксонских странах. Это отношение применимо к двум основным партиям в выборах по мажоритарной системе относительного большинства с одномандатными округами. Оно отражает тот факт, что большая партия имеет изрядный бонус – ее доля мест больше, чем доля голосов. Но насколько больше? Просто сказать «больше голосов, больше мест» – это примитивная наука. Направления изменения недостаточно. Чтобы считаться наукой, мы должны делать взаимосвязи количественными. Это означает, что мы должны задаться вопросом о том, *насколько* большую долю мест получит партия с заданной долей голосов.

Кубический закон выборов это и делает. Он соединяет *отношение* мест двух партий, А и В, и *отношение* их голосов. Отношение мест примерно равно кубу отношения голосов $S_A/S_B = (V_A/V_B)^3$. Например, если проценты голосов близки к 60:40, то так называе-

мый кубический закон говорит, что проценты мест будут различаться как 77:23.

Эта взаимосвязь нелинейна. Она кривообразна, причем довольно сложным образом, что навязано ее логикой. Почему я обращаю на это внимание? Потому что слишком много социальных исследователей, видимо, верят, что все количественные взаимосвязи линейны. Никто из них не верит в плоскую Землю, но они верят в прямые линии. Суровая реальность состоит в том, что линейные взаимосвязи очень редки в естественных науках, и не говорите мне, что социальные взаимосвязи проще. Вот где социальные науки производят много мусора, создавая множество призрачных линейных взаимосвязей.

Но вернемся к так называемому кубическому закону. Это не был на самом деле закон, а всего лишь эмпирическая закономерность. Чтобы квалифицировать ее как закон в строгом научном смысле, мы должны также иметь обоснование, *почему* взаимосвязь *должна* иметь ту форму, которую имеет, почему она не может быть никакой другой формы. Вот что меня озадачивало. И ответ был найден.

Закон сокращения меньшинства

Чтобы объяснить феномен, попытайтесь поместить его в более широкий контекст. Здесь взаимосвязь необязательно кубическая. Результат зависит от общего количества мест. Действительно, там, где на кону только одно место, как на президентских выборах, отношение голосов 60:40 приводит к отношению мест, равному не 77:23, а 100:0.

Позвольте, могут воскликнуть некоторые политологи, неужели вы, глупые физики, не знаете, что президентские и парламентские выборы – это совершенно разного рода вещи? Вы не можете поместить их в одну модель. Я встречаю такие заблуждения снова и снова, и это мешает политологии стать наукой. О да, я *могу* применять одну и ту же модель к парламентским и президентским выборам. Если бы я ошибался, то количественная логическая модель просто бы не работала, но мое расширение кубического закона работает. Это подтверждает, что в *некоторых* отношениях президентские выборы на основе относительного большинства (by

plurality) – лишь предельный случай парламентских выборов по тем же правилам относительного большинства в одномандатных округах². Позднее я опубликовал свою модель в виде «уравнения мест и голосов» [Taagerera, 1973]:

$$S_A / S_B = (V_A / V_B)^n \text{ where } n = \log V / \log S.$$

Здесь V – общее количество голосов, S – общее количество мест. Сейчас я называю эту модель законом сокращения меньшинства, потому что она может применяться более широко, за пределами выборов. Например, она описывает соотношение женщин и мужчин среди ассистентов и профессоров [Taagerera, 1994]. Рассмотренный под другим углом, этот закон также создает паттерн, по которому Европейский союз распределил места в Европейском парламенте между странами [Taagerera, Hosli, 2006].

Закон кубического корня размеров ассамблей

Сокращение меньшинства выражается в так называемом кубическом законе, когда количество мест в ассамблее составляет кубический корень количества избирателей, соответствующего численности населения. К своему удивлению, я нашел, что это так в большинстве демократических стран. Путем проб и ошибок страны обнаружили, что кубический корень численности населения – это наиболее эффективный размер законодательного собрания. То есть страна с 8 миллионами населения обычно имеет представительное собрание из 200 человек, так как $200 \times 200 \times 200 = 8$ миллионов.

Но почему такой размер наиболее эффективный? Здесь мы подходим к модели оптимальной децентрализации Кохена и Дойча [Kochen, Deutsch, 1969]. Они задались вопросом о том, какое оптимальное количество складских помещений нужно фирме, чтобы обслуживать регион. Если склад только один, то транспортные издержки будут слишком высоки из-за расстояний. Если складов много, то доставка будет дешевле, но возрастут фиксированные издержки на поддержание складов. Иными словами, капитальные затраты растут пропорционально числу складов, в то время как затраты на обслуживание снижаются обратно пропорционально этому числу. Кохен и Дойч выразили это при помощи уравнения.

Они дифференцировали это уравнение и нашли решение для числа складов, соответствующего минимальным общим издержкам.

Этот подход годится и для определения размера собраний. Рассмотрим коммуникационную нагрузку на отдельного члена собрания³. В большем собрании ее или его нагрузка количеством избирателей снижается, но нагрузка внутри собрания повышается. Применив логику Кохена и Дойча, мы находим, что общая коммуникационная нагрузка на представителя собрания минимальна, когда количество представителей равно кубическому корню размера населения.

Вспомним, что для «закона» в строгом научном смысле нам нужна не только эмпирическая связь и не только симпатичная логическая модель – нам нужно и то и другое вместе⁴. Для случая нижней (или единственной) палаты у нас действительно есть и то и другое. Поэтому взаимосвязь можно квалифицировать как закон кубического корня для размера собраний:

$$S = P^{1/3}.$$

Междисциплинарный или мультидисциплинарный?

Все эти исследования стали увлекательнее физики текстильных волокон, поэтому я начал искать работу в политологии. Я отправил письма в 120 соответствующих департаментов и попросил их выбросить мое письмо, если они считают, что политология находится в хорошем состоянии как *наука*. Но если они думают, что политологии все еще нужно *стать* наукой, то я тот человек, который может перевернуть всю дисциплину.

Всего лишь один университет «клянул», оценив мое предложение. Это был только что созданный кампус Университета Калифорнии в городе Ирвинге. Мне ответили: «Вы – странный социальный исследователь, мы – странная Школа социальных наук. Возможно, мы подходим друг другу». И действительно, мы вместе уже более пятидесяти лет.

Присужденная мне премия ставит во главу угла междисциплинарные исследования, мастером которых был сам Карл Дойч. Насколько ей соответствует моя работа? В «*American Anthropologist*» напечатана моя работа о распространении цивилизаций [Taagepera, Colby, 1979], а в «*Linguistica Uralica*» – статья о грамматических

сходствах евразийских языков [Taagerpera, Künnap, 2005]. Недавно я опубликовал модель, описывающую, как мировой рост населения взаимодействует с технологией и ограниченным пространством [Taagerpera, 2014]; она скрупулезно отражает данные о динамике мирового населения за последние 16 столетий. С учетом такой глубины трендов можно предположить резкое сокращение роста населения из-за недостатка территории при достижении потолка в 10,2 млрд человек (да, настолько точно), с небольшим зазором для отклонения.

Точно так же я построил и протестировал модели, описывающие влияние численности населения страны на отношение ее торговли к ВВП [Taagerpera, 1976] и на размер ее городов [Taagerpera, Kaskla, 2001]. Я изучал, как коммунизм взаимодействует с культурой и коррупцией. Была эта работа междисциплинарной, интердисциплинарной или же просто мультидисциплинарным «шведским столом» не связанных друг с другом исследований? Общей нитью для них было то, что я применял методы, заимствованные из физики.

Наиболее явно эта установка проявляется в моих электоральных исследованиях, например, в книге «Места и голоса» [Taagerpera, Shugart, 1989]. Я написал ее вместе со студентом-магистрантом Мэттом Шугартом. После этого я продолжил свои исследования в книге «Прогноз размера партий: логика простых электоральных систем» [Taagerpera, 2007]. У Мэтта появилась своя заметная книга «Президенты и ассамблеи» [Shugart, Carey, 1992]. Сейчас мы завершаем совместную книгу с гораздо более глубокими идеями. Эта наша новая книга под названием «Голоса ради мест. Логические модели избирательных систем» [Shugart, Taagerpera, 2017] совершенно точно превзойдет предыдущую – «Места и голоса».

Могут ли эти книги предложить что-то тем политологам, которым неинтересны электоральные исследования? Да, могут, потому что они подают пример для подражания – изучение связей между связями.

Связи между связями как отличительный признак науки

Действительно, устанавливать связи между связями – это отличительный признак развитой науки. Неплохо иметь отдельные

уравнения, связывающие индивидуальные факторы, такие как x с y или A с B или, может быть, S с V . Но это будет похоже на карту железных дорог Африки: изолированные пути, связывающие порты с некоторыми пунктами во внутренних землях. Пути не взаимосвязаны. Сравните это с железными дорогами в Европе: вы можете попасть из Познани (место проведения нынешнего Всемирного конгресса МАПН) на практически любую другую железнодорожную станцию в Европе, пересекаясь с одного поезда на другой. Пути взаимосвязаны. Вот что я имею в виду, когда говорю о связях между связями: уравнения, связывающие x с y , A с B и S с V , тоже связаны. Возьмите в качестве примера электричество. Электричество предполагает сеть уравнений, связывающих такие факторы, как электрический заряд, напряжение, интенсивность тока, сопротивление, сила и мощность [Таагерера, 2008, р. 66–70]⁵.

Могут ли такие связи между связями существовать и в социальных науках? С философских позиций у нас могут возникать сомнения. Но связи между связями сейчас уже существуют в одной из частей социальных наук – в электоральных исследованиях.

Связи между связями в электоральных исследованиях

Представьте простую электоральную систему, где S мест собрания распределены по округам с M местами от каждого, согласно некоему правилу пропорционального представительства. Когда у каждого округа только одно место ($M=1$), пропорциональное представительство становится равным мажоритарной системе относительного большинства с одномандатными округами. Да, такая система – это лишь крайний случай пропорционального представительства, где значимость округов сведена к 1. Вспомните президентские выборы как крайний случай парламентских. Самоочевидное для физиков, такое рассуждение через крайние случаи встречает невероятное сопротивление политологов, тем самым ослабляя развитие дисциплины.

Сколько партий выиграют места, хотя бы одно место, в таком собрании из S мест, распределенных по избирательным округам с M местами в каждом? При отсутствии другой информации обоснованным будет предположение, что эта величина равна кор-

ню четвертой степени из произведения S на M [Taagerpera, 2007, p. 116, 133–134].

$$N_0 = (MS)^{1/4}$$

Например, если собрание из 200 мест избирается по десяти-мандатным округам, то произведение будет равно $200 \times 10 = 2000$. Корень четвертой степени из этого числа равен 6,7. Поэтому, скорее всего, около семи партий получают места. Исходя из этого предположения, в свою очередь, мы можем логически оценить долю мест большей партии. Из этого следует так называемое эффективное число партий [Taagerpera, 2007, p. 122–164].

У нас получилась последовательность взаимосвязанных уравнений. Как говорится, кошка милая, но ловит ли мышей? Симпатичная логическая модель, но соответствует ли она реальности? Да, эта модель невероятно хорошо соответствует средним данным по миру в целом. А такое среднее, в свою очередь, является эталоном для страновых исследований. Действительно, если в стране заметно меньше партий, чем следовало ожидать, то мы должны исследовать, какие специфические страновые факторы приобрели значение помимо стандартных требований к размеру ассамблей и избирательных округов.

Эффективное число партий

«Эффективное» число партий, которое я упомянул, полностью именуется эффективным числом Лааксо–Таагеперы. Мы с Маркку Лааксо разрабатывали его каждый отдельно, но затем опубликовали наши результаты совместно [Laakso, Taagerpera, 1979]. Это число широко используется для характеристики числа партий, когда какие-то из них большие, а какие-то маленькие. Это число уменьшает значимость малых партий, приписывая веса долям мест, полученным партиями, пропорционально этим самым долям:

$$N = 1 / \sum s_i^2,$$

где s_i – доля мест партии i . Предположим, что восемь партий получили места, но в очень неравном количестве: 30–30–30–2–2–2–2–2. Три партии имеют по 30% каждая и пять партий – только по 2%. Тогда любое разумное эффективное число должно быть

как минимум 3 и как максимум 8. Число Лааксо – Таагеперы будет равно 3,68.

Это эффективное число применяется и за пределами партий. Я измерял пространство исторических империй и вычислял эффективное число политий по всему миру за более чем пять тысяч лет [Таагерера, 1997]. В результате была получена кривая или, точнее, паттерн экспоненциального уменьшения. Если продолжать этот паттерн, то как скоро можно ожидать появления единого мирового государства? Увы, придется ждать еще две тысячи лет.

Закон обратного квадрата продолжительности работы правительства

Теперь рассмотрим среднюю продолжительность работы кабинета в длительной перспективе. Логические соображения, основанные на числе каналов коммуникации, подсказывают нам, что этот срок должен быть обратно пропорционален отнюдь не числу партий, а квадрату этого числа [Таагерера 2007, р. 165–175]⁶, как показано на рисунке 1.

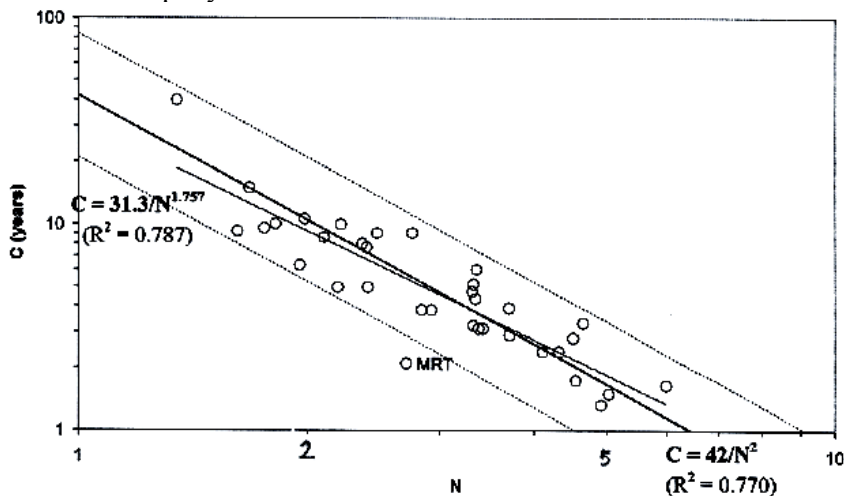


Рис. 1.

**Среднее соотношение длительности существования кабинетов
и эффективного числа партий: предсказательная модель,
линия регрессии и разброс по фактору 2 модели
[Таагерера, Sikk, 2007]**

Это график рассеивания по двум параметрам – длительности существования правительства и эффективному числу партий. Для удобства и наглядности обе шкалы логарифмические. *Тонкая* центральная линия – это идеальная (best-fit) прямая, исчисленная по методу наименьших квадратов (МНК). Толстая центральная линия – это логически предсказанная прямая наклона -2 (для логарифмов). Обе прямые заметно близки друг к другу; это значит, что логическая модель соответствует реальности. Средняя продолжительность жизни кабинета равна 42 годам, разделенным на квадрат эффективного числа партий [Taagepera, Sikk, 2010].

$$C = 42 \text{ years} / N^2$$

Например, если есть две партии примерно равного размера, тогда наше лучшее предположение о средней продолжительности жизни правительства будет $42/4=10,5$ года. Конечно, иные факторы, помимо числа партий, влияют на продолжительность существования правительств. Рисунок 1 показывает, что под их воздействием фактическая продолжительность может быть в два раза больше, чем ожидаемая, или в два раза меньше («различаться на фактор 2»). Для двух партий это означает, что продолжительность может достигать 21 года или быть всего 5,2 года. Однако при всех вариациях эффективное число партий по-прежнему обладает мощной объясняющей силой. Оно на целых 77% объясняет общую дисперсию продолжительности жизни правительства⁷.

Связи между связями в электоральных и партийных системах

Давайте вернемся к моему главному пункту: связям между связями. В это, может быть, трудно поверить, однако знание размеров ассамблей и количества мест в избирательных округах⁸ позволяет довольно точно определить продолжительность жизни правительства⁹. Возьмем для примера Португалию¹⁰. Логическая модель умеренно переоценивает число партий и умеренно недооценивает размер большей доли мест и продолжительность жизни правительства.

До этого я добрался десять лет назад в «Предсказаниях размера партий» [Taagepera, 2007]. На основании количества мест в собрании и округах можно предсказать, как *места* распределяются

между партиями. Но что мы знаем о *голосах*? Этот вопрос по-прежнему не поддавался, однако теперь мы добрались и до него.

В книге «Голоса ради мест. Логические модели избирательных систем» [Shugart, Taagepera, 2017] предсказываются мировые средние распределения голосов, на национальном уровне и по округам – исключительно на основании числа мест в каждой отдельной ассамблее и округах. Разброс данных ощутим, но фактический паттерн мирового среднего невероятно близок к логической модели. Эти мировые средние обеспечивают исходные ориентиры для страновых исследований. Мы добавляем все новые связи и связываем их в постоянно расширяющийся спектр.

Наука шагает на двух ногах, а социальные науки пытаются скакать на одной

Если судить поверхностно, я преуспел в своей мечте усиления научности социальных исследований, раз получил премию Карла Дойча. Однако я должен признаться, что потерпел неудачу. По существу, мне не удалось превратить политологию в науку. Во всяком случае, политология, равно как и другие социальные науки, сегодня *менее* научна, чем полвека назад, когда Кохен и Дойч [Kochen, Deutsch, 1969] опубликовали свою модель децентрализации. Это произошло, поскольку бессмысленная обработка статистических данных вытеснила логическое моделирование, как, например, у тех же Кохена и Дойча. Политология от своей полной «не-научности» переходит все больше к «псевдонаучности».

Забудьте о бессмысленном противостоянии качественного и количественного подходов к изучению политики. Они оба незаменимы, и оба дополняют друг друга. Оба могут применяться хорошо или плохо. Моя озабоченность касается того неверного пути, по которому идут сегодня количественные подходы. Они создают сумбур в области политологии. Мало того что они так пышно процветают, так еще и некоторые журналы навязывают их, в том числе даже тем ученым, которые знают, как самостоятельно провести исследование намного лучше.

Приведу лишь один пример. Некоторое время назад мне попалось прекрасное исследование, расширяющее наше понимание политики и без использования большого количества цифр. По ходу

чтения оно резко сошло на нет, подавленное приведением бесполезных статистических данных. Выведенная регрессия ничего нового не добавляла. Напротив, она размыла первоначальный замысел – хорошо, что не убила окончательно. Контраст был настолько очевидным, что я связался с автором. Я высказал предположение, что журнал потребовал добавить регрессию в качестве условия для публикации. Автор на это ответил: «Да, Вы абсолютно правы». Не правда ли, звучит очень привычно? Коли люди, делающие разумную качественную работу, вынуждены добавлять бессмысленные статистические методы, то что-то здесь не так.

Вот еще один пример. Выдающийся математический психолог Дункан Люче рассказывал мне, как он добивался публикации своей статьи [Folk, Luce, 1987]. Суть дела прекрасно выражала логарифмическая модель. Журнал настаивал на замене ее простой регрессионной моделью, что не имело логического смысла. В качестве компромисса авторам позволили оставить тот подход, который действительно имел смысл, но при условии добавления бессмысленной модели [Taagepera, 2008, p. 4]. Если людей, проводящих логически обоснованное *количественное* исследование, принуждают к добавлению бессмысленных линейных моделей, то что-то здесь не так, что-то не в порядке в этом королевстве.



Рис. 2.

Наука шагает на двух ногах: наблюдении и осмыслении
[Taagepera, 2015]

Две ноги науки

Взгляните на рисунок 2. Здесь наука изображена на двух ногах. Именно наличие двух ног и позволяет ей шагать, приращивать знание. Как я уже говорил, шаг одной заключается в вопросе о положении дел. Этот шаг связан с наблюдением, измерением, наглядным отображением и статистическим описанием. Шаг другой ногой связан с выяснением логических оснований положения дел. И не только наблюдаемых, но возможных, а также и необходимых при последовательном использовании логических оснований.

Именно второй шаг ведет нас к построению логических моделей. И это придает дополнительный смысл первому. Пока мы фокусируем свой взгляд только на том, что перед глазами, мы действительно улавливаем, каково положение дел в конкретном случае. Вся полнота проблемы раскрывается целиком, только когда мы задаемся вопросом: «Каким положение дел *должно быть?*» Именно этот вопрос и связанный с ним шаг позволяют нам понять, *что именно* следует искать. Две ноги шагают дальше, когда мыслительные модели тестируются с помощью собранных данных, чаще всего статистически¹¹.

Вы можете сказать, что это звучит слишком абстрактно. Чтобы понять, что стоит за данными словами, я проиллюстрирую их на примере открытого мною закона продолжительности жизни правительства¹². Первым шагом было следующее *наблюдение*: в странах с большим числом партий недолговечные правительства. Вторым шагом стало *размышление* над данным наблюдением. Оно очевидно приводит нас к непосредственному *предсказанию о направлении связи (directional prediction)*, т.е. улавливающему лишь направление или тренд зависимости: чем больше партий, тем продолжительность жизни правительств меньше. *Измерения* продолжительности жизни правительств и числа партий в значительной степени подтверждают данное предсказание.

Но простого предсказания направления недостаточно. Вспомните о Галилее. Любой тосканский крестьянин мог сказать Галилею, в каком направлении падают вещи [Taagerera, 2008, p. 24]. Они падают вниз! Что еще вам нужно знать? Но Галилей хотел понять логику этого падения: как быстро они падают и почему. Если мы хотим быть учеными, то мы должны задавать подобные вопросы и относительно продолжительности жизни правительств, и о любых

других направленных связях. И еще, когда я адресую такие вопросы журнальным рецензентам, то они отвечают в духе тех самых тосканских крестьян. Они указывают на излишние черты, лежащие за пределами обозначенной связи рассматриваемого эффекта. Делая это, они препятствуют исследованию на первом же шаге, когда Галилей только начинал свое изучение гравитации. Такие «крестьяне» причиняют ощутимый вред социальным наукам.

Крайне важный шаг заключается в том, чтобы наглядно представить имеющиеся *данные (to graph the data)*¹³. *Посмотрите* на график и *поработайте* над тем, какую информацию он дает. На графике с обычным масштабом (не таком, как на рисунке 1), связь между продолжительностью жизни кабинета и числом партий представляется в виде нисходящей кривой, но НЕ прямой линии. Так забудьте о рефлекторном использовании линейной регрессии!

Кривая наводит на мысль, что продолжительность жизни правительства может быть обратно пропорциональна числу партий. Однако дальнейшие *размышления* приводят нас к предсказанию, что это должен быть квадрат числа: $C=k/N^2$, где k – это еще неопределенная константа¹⁴. Представленное выражение не является линейным, как и большинство других взаимосвязей в науках. Но это нелинейность такого вида, когда можно логически предположить, что логарифмирование продолжительности жизни правительств и числа партий приведет к линейной взаимосвязи, с наклоном -2. Повторная *визуализация*, но теперь уже с использованием логарифмированных шкал, подтверждает это подозрение, что мы и можем видеть на рисунке 1.

Теперь и только теперь можно перейти к *статистическим* подходам, которые позволят протестировать предложенные логические модели. Чтобы это имело смысл, линейная регрессия должна применяться только к логарифмированным показателям продолжительности жизни правительств и числа партий – не к их количественным измерениям как таковым. Данная линейная регрессия подтверждает ожидаемый наклон, равный -2, а также позволяет найти наилучшее значение для константы – 42 года.

Итак, конечным результатом является получение *количественной предсказательной логической модели*: $C=42 \text{ года}/N^2$. Эта модель «количественная и предсказательная», потому что она предсказывает не только направление изменений, но также и про-

должительность жизни правительства при заданном числе партий. Модель «логическая», потому что использование в качестве делителя квадрата числа партий исходит из логических соображений.

Заметьте, что мы использовали чередующиеся шаги каждой ноги, на которых стоит наука. Мы начали с наблюдения, левой ноги, а затем обратили внимание на направленное мышление – правую ногу. Визуализация включается в «наблюдательную» ногу. Дальнейшие размышления приводят к обратной квадратной модели. Это заставило нас задаться вопросом: «Как мы можем превратить эту кривую в прямую линию?» Переход к логарифмам послужил ответом. Затем мы снова переключили наше внимание на «наблюдательную» ногу, перейдя к построению линейной регрессии на основе измененных данных. Наконец, мы должны были вновь сместить фокус нашего внимания на «мыслительную» ногу и спросить себя: «Имеет ли данный результат смысл?» Да, имеет. В частности, при большом числе партий продолжительность существования правительства будет приближаться к нулю, как это и должно быть.

Попытки скакать на одной ноге

Вообразим теперь, что за дело возьмется специалист в области статистики. Как только он установит направленность связи, все дальнейшие логические рассуждения покажутся ему излишними. Он попытается прыгать только лишь на «наблюдательной» ноге, как это показано на рисунке 3. Здесь он даже *откажется от визуализации*. Он загрузит сырые данные для построения регрессии, не обращая внимания на тот факт, что сама структура данных нелинейна. Без визуализации как он это узнает?¹⁵ Его компьютерная выдача покажет отрицательный знак для коэффициента наклона. Это подтвердит его предсказание о направлении связи, и это все, что такой специалист нацелен получить¹⁶.

Но постойте! Какой срок жизни правительства его регрессионная прямая отмерит в случае очень большого числа партий? Его нисходящая прямая предскажет отрицательную продолжительность жизни правительства, если число партий станет действительно большим. Это нелепо. Он не задается базовым вопросом: «Имеет ли данный результат смысл?»

Я вижу, как такие нелепые регрессии публикуются постоянно. Забывая о логическом мышлении, социальные исследователи слишком часто идут по легкому пути, подгоняя сырые данные к прямой линии или же к любому другому стандартному формату, базирующемуся на статистических или иных «модных» основаниях¹⁷. Дорогие коллеги, если мы как ученые хотим всерьез воспринимать нашу профессию – политическую науку, мы не должны публиковать такие нелепости. Нам не следует этого делать, чтобы действующие политики воспринимали нас всерьез.

Рак пожирает социальные науки. Готовые компьютерные программы дают возможность людям, не обладающим широким пониманием математики, «вымучить» кучу бессмысленных регрессионных анализов и подобных вещей, чтобы претендовать на научность. Сама же идея логических моделей опровергается в том случае, если регрессионный выход (output) будет назван «эмпирическими моделями».

Заметьте, это не просто нелепость «мусор загрузил, мусор выгрузил». Это куда хуже. Нередко мы загружаем ценные данные, а на выходе получаем тот же самый мусор. Почему? Потому что данные не были должным образом преобразованы (с использованием логического мышления), прежде чем они были загружены в компьютер.

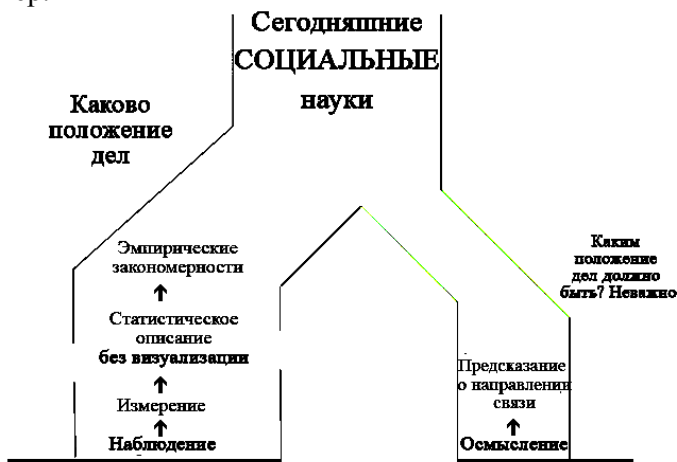


Рис. 3.

Сегодня социальные науки пытаются скакать на одной ноге, «наблюдательной» [Taagerpera, 2015]

Вместо того чтобы использовать статистику как инструмент, мы превращаем ее в подобие религиозной литургии. Слишком много рецензентов научных журналов выступают ревностными служителями такой религии. Они навязывают исполнение ее ритуалов даже тем исследователям, которые далеки от нее. Это одна из причин того, почему политология от своей полной «не-научности» переходит к «псевдонаучности»¹⁸.

Поймите правильно: статистические методы – это полезные инструменты, например, как долото (рисунок 4). Но горе тому человеку, который открыл для себя долото и, будучи в восторге от него, начал использовать его с целью что-то тесать, прокалывать, пилить и даже копать в тех случаях, когда доступны другие инструменты. Вдвойне несчастно то общество, где такие священники, поклоняющиеся долоту, изо всех сил навязывают его как единственно возможный инструмент. Те, кто в наименьшей степени понимает статистику за пределами готовых компьютерных программ, чаще всего наиболее непоколебимо навязывают эти ритуалы.



Рис. 4.

Статистические методы – это полезные инструменты.

Они как долото. Но горе тому обществу, где каждый принуждается использовать долото и для выпиливания, и для копания, или где количественные исследования упрощаются лишь до статистики

Выход из положения

Ситуация печальная, но не безнадежная. Работы, в которых есть баланс между мышлением и статистическими методами, существуют. Доказательством являются предыдущие обладатели

премии Карла Дойча¹⁹ и многие другие исследователи, такие как Аренд Лейпхарт и Рональд Инглхарт. Жозеп Коломер [Colomer 2007] и Бернард Грофман указали на ограниченный набор методологий, которые могут быть использованы в социальных науках по сравнению с другими науками. Многие социальные исследователи точно определяют специфические недостатки неверно примененных и неверно интерпретированных статистических методов²⁰. Однако этого недостаточно, чтобы исправить статистические методы. Мы должны также расширить разумное использование визуализации и задействовать «мыслительную» ногу. Джеймс МакГрегор [McGregor, 1993] и я [Taagerera, 2008, p. 14–22] показали, как и почему базовые законы естествознания ни за что не удалось бы открыть, используя мы только самые совершенные статистические методы. Не ожидайте большего и в социальных науках²¹.

Уважаемые коллеги, практикуйте качественные методы в политологии с небольшим использованием цифр, и да пребудет с вами мир. Если вы хотите использовать количественные методы, попробуйте практиковать подлинную количественную науку, которая пытается ходить на двух ногах. Но избегайте использования фальшивой количественной науки, которая скачет на одной ноге. Как это можно сделать без какой-либо подготовки и поддержки? Я написал две книги на эту тему. Они могут помочь.

Первой была *«Сделаем социальные науки более научными: потребность в предсказательных моделях»* [Taagerera, 2008]. В ней есть такие главы, как «Физики умножают, социальные исследователи складывают – даже когда что-то не складывается» и «Почему большинство цифр, опубликованных в социальных науках, мертвы изначально».

Но моим студентам также не хватало и практического учебника по построению логических моделей. У студентов должна быть постоянная практика до того момента, пока они не приобретут определенных навыков в этой области, которые затем смогут использовать в жизни. Поэтому я написал книгу *«Логические модели и базовая способность к количественному мышлению в социальных науках»* [Taagerera, 2015], которая имеется в свободном доступе в Интернете. В этой книге мало математики за пределами арифметики. Построение логических моделей требует прежде всего смелости быть простым и критического ума, чтобы спросить: «Но может ли это быть так?»

Я использую эту книгу при работе как со студентами, так и с докторантами в Калифорнии и в Эстонии. Многие профессора в области социальных наук могут извлечь из нее выгоду. Работа «Голоса ради мест. Логические модели избирательных систем» [Shugart, Taagepera, 2017] систематически заимствует данный подход. Это та редкая действительно *научная* книга о политике, которая способна предложить методологический стандарт для всей социальной науки.

Поймите правильно: во многом история социальных наук – это история успеха. Они достигли значительного прогресса в *качественном* понимании общества. Статистические методы также очень нужны, но лишь до тех пор, пока их использование не становится злокачественным. Настало время дополнить статистическое описание логическими моделями, моделями, которые Карл Дойч включил в свой инструментарий.

Хочу закончить тем же, с чего начал. Примерно с 1970 г. я отдаю свое время и силы на реализацию двух невыполнимых задач. Одна из них – ликвидация господства Москвы над моей родной Эстонией [Misiunas, Taagepera, 1983; Taagepera, 1984]. Второй своей жизненной задачей я сделал превращение политических исследований в науку. Первая осуществилась. Моя мечта сбылась – Эстония сегодня свободна [Taagepera, 1993 a, 1993 b]. Усилия же придать научный характер политическим исследованиям – непомерный сизифов труд, и пока он не принес плодов. Но я все же продолжаю свои усилия. Премия Карла Дойча поддерживает меня в моих надеждах.

Примечания¹

1. Чувства анонимного рецензента типичны. После того как он поднял множество подобных вопросов по предыдущей статье [Taagepera, Allik, 2006], он откровенно заявил: «Возможно, у меня возникают вопросы и по данной статье, потому что я скептически настроен относительно того, насколько велика ценность работы на таком высоком уровне генерализации... огромное количество реальных изменений в мире отправляется в никуда». В действительности мы отправляем эти изменения в место, которое оказывается значительно лучше, чем «никуда»: на следующий уровень анализа. Выискивая универсальное,

¹ Использован текст, опубликованный в журнале «International political science review».

наука не игнорирует детали, но включает их в некое подобие иерархии. Рецензент продолжал: «Паттерны, выявляемые в данной статье, хотя и возможно смоделировать убедительным образом, могут просто представлять собой лишь долю конкретных данных реального мира». Здесь мы доходим до того самого места моего подхода, который вызывает тревогу у некоторых моих коллег. Если мои модели работают, они должны работать по причине их неверности, даже если явления, искажающие результаты исследования, не могут быть точно определены [Таагерера, 2007, р. viii].

2. По некоторым другим аспектам президентские выборы отличаются от парламентских, потому что экстремальные случаи всегда необычны. Одной из целей Шугарта и Таагереры [Shugart, Таагерера, 2017] является определение *количественных* аспектов, по которым можно выяснить, где и как начинаются отличия президентских выборов от парламентских.
3. «Процесс передачи информации в ходе общения – цемент, на котором держатся организации», – отмечал Дойч [Deutsch, 1964, р. 77] в «*Силе правительства*», процитированной затем Норбертом Винером.
4. Испытанием является получение данных, которые бы находились в согласии с задуманной заранее моделью. В таких случаях можно либо исправить модель, либо пересмотреть данные.
5. Заметьте, что я говорю о факторах, а не о переменных. «Переменные» – термин статистики. Его использование повышает риск отвлечения внимания от реальных фактов и факторов, с которыми мы работаем, таких как напряжение и сопротивление, количество мест и голосов, на абстрактные математические x и y . Отрицательное значение переменной x не заставляет повести бровью. Отрицательное же количество мест – напротив.
6. Однако несравнимые между собой *кубический закон размера собрания* и *закон обратного квадрата выживаемости правительства* могут по своей форме и сути иметь общее: оба являются результатом размышлений о числе каналов коммуникации, том самом «цементе, на котором держатся организации».
7. Закон предполагает *ожидаемое значение*, как называют его специалисты в области квантовой физики: значение, которое с вероятностью 50:50 будет выше или ниже предсказания при реализации следующего случая. Это не жесткое «детерминированное» предсказание, оно лишь выражает среднее предсказание в пределах определенного диапазона вероятной ошибки, как, например, плюс-минус «в два раза» с некоторым процентом ($\pm 15\%$).
8. Сам по себе размер законодательного собрания зависит от численности населения. Это делает размеры избирательных участков тем параметром, который оставляет возможность действительно свободно выбирать.
9. На каждом шаге логической последовательности накапливается случайный разброс, и можно подумать, что общий разброс слишком велик. Удивительно, но 90% стран с простыми электоральными системами имеют продолжительность жизни правительств в пределах 2 раз от 42 лет/ $(MS)^{1/3}$, даже в тех случаях, когда коэффициент детерминации R^2 для логарифмов C и MS падает до 0,24 [Таагерера, 2007, р. 171, рис. 10.2].

10. N для Португалии отклоняется от предсказания модели в пределах медианного значения. Поэтому его соответствие модели является ни нетипично хорошим, ни нетипично плохим.
11. То, что обычно небрежно сваливается в одну кучу под названием «статистический анализ», исполняет в действительности две чрезвычайно различные функции. Одна из них – статистическое *описание* данных – наилучшим образом соответствует тому, что обычно понимается под подходящим математическим форматом, включая значения констант в данном формате, меры разброса (такие как R^2) и т.д. Вторая – статистическое *тестирование* предполагаемых моделей – показывает, насколько хорошо предсказание согласуется со *средним* данных. Измерения с помощью статистических критериев тоже различаются между собой, но они также отличаются значительно от мер разброса. В частности, коэффициент детерминации R^2 не имеет значения и даже бесполезен, когда дело доходит до тестирования моделей.
12. Это представление и применение «двуногого» процесса соответствует главе 1 Шугарта и Таагереры (2017), хотя там используются иные примеры.
13. На самом деле мы должны визуализировать *больше, чем данные* [Таагерера, 2008, р. 202–204; Таагерера, 2015, ch. 8]. На графиках мы должны выявлять те «запретные» зоны, где точки не базируются на концептуальных основаниях, – в данном случае на тех, где $N < 1$ и $C < 0$. Также следует показать те «якорные точки», которые как раз логически включены в описываемые взаимосвязи. Например, любая взаимосвязь между самой большой долей мест и их количеством должна быть равна $MS=1$ (случай президентских выборов), что приводит к тому, что $S_j=1$ – так как максимально может быть занято 100% мест. Именно поэтому $(1; 1)$ – та самая «якорная» точка. Ее визуализация опирается на «мыслительную» ногу в дополнение к «наблюдательной».
14. Функциональная форма $C=k/N^2$ выводится логически, но значение константы k определяется эмпирически. Это вполне обычная ситуация в физике.
15. Он может сделать еще хуже. Он может включить полдюжины контрольных переменных, которые могут правдоподобно влиять на продолжительность жизни правительства: состояние экономики, левая или правая партия, публичная поддержка премьер-министра и т.д. Каждая из них может незначительно «отобрать» влияние числа партий, которое в полной мере уменьшается, когда мы вычитаем N , вместо того чтобы делить на квадрат N . Кроме того, несколько других факторов могут привести к иллюзорным уровням «значимости».
16. Специфические количественные предсказания легко могут оказаться неверными при ближайшем рассмотрении; даже когда существует поддержка широкого направления изменений. Напротив, слишком много исследований в политологии находится в «безопасности» при попытке доказать их ложность, так как они только и предсказывают широкое направление изменений, оставляя его точное значение неопределенным.
17. Это единственное предложение действует как громоотвод, если опустить слово «часто». Как говорится в одном комментарии к рабочему варианту данной статьи: «Как таковое, оно хорошо применимо к политологии (особенно до недавнего времени), но неприменимо к другим дисциплинам в области социаль-

ных наук, например, к экономике, где лог-логарифмические и линейно-логарифмические модели являются обычным делом, и где пробит-, логит- и другие нелинейные *оценивающие* [курсив мой. – Авт.] модели становятся нормой. Это даже неприменимо в полной мере к некоторым искушенным сотрудникам журналов, таких как *Political Analysis*, где используются нелинейные модели (главным образом пробит и логит), а также эффекты взаимодействия».

Данный комментарий замечательно иллюстрирует абстракцию следующего уровня формализма для преодоления мышления «линейности». Действительно, лучшие социальные исследователи стремятся избегать чисто линейного мышления. Но вторая часть моего высказывания также очень важна: «...Или любой другой стандартный формат, базирующийся на чистых статистических основаниях, без учета логического мышления». Действительно, в некоторых областях «пробит и логит *становятся нормой*» – и в этом и есть проблема. Когда норма становится во главу угла, размышления могут прекращаться. Сколько из тех, кто без особых размышлений нажимает кнопку, чтобы построить пробит- или логит-модель, могут распознать, к какой именно из двух моделей относится выражение $y = M / (1 + e^{kx})$? Знание о том, как по нажатию кнопки построить расширенные лог-логарифмические, лог-линейные и линейно-логарифмические «оценивающие модели», – это не то же самое, что овладение экспоненциальным мышлением в целом. В частности, социальные исследователи слишком часто игнорируют экспоненциальный подход, столь распространенный в естественно-научных и социальных явлениях: $y = M (1 - e^{-kx})$. Я видел попытки некоторых исследователей использовать имеющиеся данные для построения логит-модели (даже когда часть данных не описывается экспоненциальным распределением) или, что хуже, квадратичных моделей (даже когда рост до пикового значения сменяется абсолютно нелепым падением до нуля и даже до отрицательных значений). «Эффект взаимодействия» слишком часто также наивно воспринимается как синоним выражения $x \cdot y$ – даже тогда, когда логическое мышление подсказывает наличие взаимосвязи $x^2 \cdot y$ или x/y (и подобных случаев).

18. Существует также множество других методологических проблем [Таагерера, 2008]. Одна из них – это то, что стандартная линейная регрессия является лишь базовым объяснением всех возможных связей, потому что линейная регрессия всегда направлена: наилучшие оценки МНК модели y на x отличаются от наилучших МНК оценок модели x на y [Таагерера, 2008, р. 154–174]. Слишком много политических исследователей, использующих стандартные линейные модели регрессии, не знают об этом.
19. Габриель Алмонд, Жан Лапонс, Хуан Линц, Чарльз Тилли, Джованни Картори, Альфред Степан, Пиппа Норрис.
20. Эри Кинг и его коллеги [King, Tomz, Wittenberg, 2000] внесли вклад в понимание и представление о статистическом анализе. Герд Гигеренцер [Gigerenzer, 2004] был обеспокоен «бездумной статистикой» и вместе с коллегами [Gigerenzer, Kraus, Vitouch, 2004] разоблачил бессодержательный «ритуал нулевой гипотезы», который еще ранее подвергался критике Джеффом Джил-

лом [Gill, 1999]. Николас Лонгфорд [Longford, 2005] полагал, что большинство современных исследований, использующих статистические методы, – «свалка необоснованной уверенности». Кристофер Ашен [Achen, 2005] предлагал выбросить на свалку истории «мусорные» нелинейные пробит-модели. Исследования Бернарда Киттеля [Kittel, 2006] и Киттеля и Виннера [Kittel, Winner 2005] показали, что различные статистические подходы к одним и тем же данным могут превращать некоторые факторы, выглядящие «чрезвычайно значимыми», в незначимые. Филипп Шродт [Schrodt, 2014] составил список семи смертных грехов количественного политического анализа. Валентайн и его коллеги [Valentine, 2015] показали, как можно описывать данные «без повсеместного использования p-value».

21. Большие надежды на развитие количественных исследований в области политологии возлагались на движение Empirical Implications of Theoretical Models (EITM). Оно возникло в 2001 г. и проводило ежегодные летние школы. Можно отметить похвальное стремление к «интеграции теоретической модели развития с эмпирической оценкой». Их определение «теоретических моделей» отличается от моего собственного, т.е. наши пути не пересекаются. Когда участники движения EITM установят их первое взаимоотношение вида $C=42 \text{ года}/N^2$ или хотя бы хороший эмпирический пример $S_A/S_B=(V_A/V_B)^3$, тогда я обращу более пристальное внимание на то, что означает их замысловатая методологическая терминология.

Список литературы

- Achen C.H. Let's put garbage-can regressions and garbage-can probits where they belong // Conflict management and peace science. – University Park, PA, 2005. – Vol. 22, N 4. – P. 327–339.
- Colomer J. What other sciences look like // European political science. – L., 2007. – Vol. 6. – P. 134–142.
- Deutsch K.W. The nerves of government. – N.Y.: Free Press, 1964. – 316 p.
- Deutsch K.W. Nationalism and its alternatives. – N.Y.: Alfred A. Knopf, 1969. – 200 p.
- Folk M.D., Luce R.D. Effects of stimulus complexity on mental rotation rate of polygons // Journal of experimental psychology. – Washington, DC, 1987. – Vol. 87. – P. 395–404.
- Gigerenzer G. Mindless statistics // Journal of socio-economics. – Greenwich, Conn., 2004. – Vol. 33. – P. 587–606.
- Gigerenzer G., Kraus S., Vitouch O. The null ritual: What you always wanted to know about significance testing but were afraid to ask // The SAGE handbook of quantitative methodology for the social sciences / D. Kaplan (ed.). – Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2004. – P. 391–408.
- Gill J. The insignificance of null hypothesis significance testing // Political research quarterly. – Salt Lake City, 1999. – Vol. 52, N 3. – P. 647–674.
- Grofman B. Toward a science of politics? // European political science. – L., 2007. – Vol. 6. – P. 143–155.

- King G., Tomz M., Wittenberg J. Making the most of statistical analysis: Improving interpretation and presentation // *American journal of politics*. – N.Y., 2000. – Vol. 44. – P. 341–355.
- Kittel B. A crazy methodology? On the limits of macro-quantitative social science research // *International sociology*. – L., 2006. – Vol. 21. – P. 647–677.
- Kittel B., Winner H. How reliable is pooled analysis in political economy? The globalization-welfare state nexus revisited // *European journal of political research*. – Malden, MA, 2005. – Vol. 44. – P. 269–293.
- Kochen M., Deutsch K. Toward a rational study of decentralization // *American political science review*. – Washington, 1969. – Vol. 63. – P. 734–749.
- Laakso M., Taagepera R. 'Effective' number of parties: A measure with application to West Europe // *Comparative political studies*. – Thousand Oaks, CA, 1979. – Vol. 23. – P. 3–27.
- Lanchester F.L. Mathematics in warfare // *The world of mathematics* / J.R. Newman (ed.). – N.Y.: Simon and Schuster, 1956. – Vol. 4. – P. 2138–2157.
- Longford N.T. Editorial: Model selection and efficiency – Is 'Which model...?' the right question? // *Journal of the royal statistical society. Series A*. – L., 2005. – Vol. 168. – P. 469–472.
- McGregor J.P. Procrustus and the regression model: On the misuse of the regression model // *PS: Political science and politics*. – Cambridge, 1993. – Vol. 26. – P. 801–804.
- Misiunas R., Taagepera R. Years of dependence, 1940–1990. – L.: Hurst, 1993. – xvi, 400 p.
- Misiunas R., Taagepera R. The Baltic states, Years of dependence, 1940–1980. – Los Angeles: Univ. of California press, 1983. – 333 p.
- Sandholtz W., Taagepera R. Corruption, culture, and communism // *International review of sociology*. – Abingdon, 2005. – Vol. 15, N 1. – P. 109–131.
- Schrodt P.A. Seven deadly sins of contemporary quantitative political analysis // *Journal of peace research*. – L., 2014. – Vol. 51, N 2. – P. 287–300.
- Shugart M.S., Carey J.M. Presidents and Assemblies: Constitutional Design and Electoral Dynamics. – N.Y.: Cambridge univ. press, 1992. – 316 p.
- Shugart M.S., Taagepera R. Votes from seats: Logical models of electoral systems. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2017. – 358 p.
- Taagepera R. The size of national assemblies // *Social science research*. – San Diego, 1972. – Vol. 1, N 4. – P. 385–401.
- Taagepera R. Seats and votes: A generalization of the cube law of elections // *Social science research*. – San Diego, 1973. – Vol. 2, N 3. – P. 257–275.
- Taagepera R. Why the trade / GNP ratio decreases with country size // *Social science research*. – San Diego, 1976. – Vol. 5. – P. 385–404.
- Taagepera R. Softening without liberalization in the Soviet Union: The case of Jüri Kukk. – Lanham, MD: Univ. press of America, 1984. – x, 244 p.
- Taagepera R. Estonia: Return to independence. – Boulder, CO: Westview press, 1993 a. – xv, 268 p.
- Taagepera R. Running for president of Estonia: A political scientist in politics // *PS: Political science and politics*. – Cambridge, 1993 b. – Vol. 26, N 2. – P. 302–304.

- Taagepera R.* Beating the law of minority attrition // Electoral systems, minorities, and women in comparative perspective / W. Rule, J. Zimmermann (eds). – Westport, CN; L.: Greenwood, 1994. – P. 233–245.
- Taagepera R.* Expansion and contraction patterns of large polities: Context for Russia // International studies quarterly. – Oxford, 1997. – Vol. 41, N 3. – P. 475–504.
- Taagepera R.* Predicting party sizes: The logic of simple electoral systems. – Oxford: Oxford univ. press, 2007. – xxi, 314 p.
- Taagepera R.* Making social sciences more scientific: The need for predictive models. – Oxford: Oxford univ. press, 2008. – 264 p.
- Taagepera R.* A world population growth model: Interaction with Earth's carrying capacity and technology in limited space // Technological forecasting and social change. – 2014. – Vol. 82. – P. 34–41.
- Taagepera R.* Logical models and basic numeracy in social sciences. – Tartu, 2015. – 297 p. – Mode of access: http://www.psych.ut.ee/stk/Beginners_Logical_Models.pdf (Accessed: 19.01.2018.)
- Taagepera R., Allik M.* Seat share distribution of parties: Models and empirical patterns // Electoral systems. – Ottawa, 2006. – Vol. 25. – P. 696–713.
- Taagepera R., Colby B.N.* Growth of western civilization: Epicyclical or exponential? // American anthropologist. – Menasha, Wis., 1979. – Vol. 4. – P. 907–912.
- Taagepera R., Hosli M.O.* National representation in international organizations: The seat allocation model implicit in the EU Council and parliament // Political studies. – Oxford, 2006. – Vol. 54, N 2. – P. 370–398.
- Taagepera R., Kaskla E.* The city-country rule: An extension of the rank-size rule // Journal of world-systems research. – Charlottesville, VA, 2001. – Vol. 7, N 2. – P. 157–174.
- Taagepera R., Künnap A.* Distances among Uralic and other northern Eurasian languages // Linguistica Uralica. – Tallinn, 2005. – Vol. 41, N 3. – P. 161–181.
- Taagepera R., Nurmia M.* On the relations between half-life and energy release in alpha-decay. – Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia, 1961. – 16 p.
- Taagepera R., Shugart M.S.* Seats and votes: The effects and determinants of electoral systems. – New Haven: Yale univ. press, 1989. – 288 p.
- Taagepera R., Sikk A.* Institutional determinants of mean cabinet duration: The 4 th ECPR general conference, Univ. of Pisa, 6–8 September. – 2007. – Unpublished paper prepared for the conference.
- Taagepera R., Sikk A.* Parsimonious model for predicting mean cabinet duration on the basis of electoral system // Party politics. – Cambridge, 2010. – Vol. 16. – P. 261–281.
- Taagepera R., Storey R.S., McNeill K.G.* Breakdown strength of caesium iodide // Nature. – L., 1961. – Vol. 190. – P. 994–995.
- Taagepera R., Williams F.* Photoelectroluminescence of single crystals of manganese-activated zinc sulfide // Journal of applied physics. – Melville, NY, 1966. – Vol. 13. – P. 3085–3091.
- Valentine J.C., Aloe A.M., Lau T.S.* Life after NHST: How to describe your data without 'p-ing' everywhere // Basic and applied social psychology. – Mahwah, NJ, 2015. – Vol. 37, N 5. – P. 260–273.

М.В. Ильин

**СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ НАУКА:
КРИЗИС ИЛИ РАЗВИТИЕ?**

(Тезисы для обсуждения) //

Методологический семинар

**«СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ НАУКА:
КРИЗИС ИЛИ РАЗВИТИЕ?»**

**Организован кафедрой политологии и политического
управления ИОН РАНХиГС совместно с РАПН и АПН
23 октября 2017 г., Москва, РАНХиГС
(Сокращенная стенограмма)**

Начну с утверждения, что развитие немислимо без кризисов, а бескризисная и межкризисная динамика крайне ограничена и по времени, и по возможностям. Собственно, такая динамика в строгом смысле развитием не является. Она лишь его сегмент, связанный с инерционным освоением потенциала, созданного прорывом из кризиса.

Мною используется лучшая, на мой взгляд, модель кризиса, которая разработана участниками так называемого Стэнфордского проекта¹. Она включает исходное положение, дисинхронизацию системы, попытки прорыва, успешный прорыв и ресинхронизацию системы. Между кризисами инерционная динамика, как правило, с

¹ См.: Окунев И.Ю. Стэнфордская модель кризиса развития // Полис. Политические исследования. – М., 2009. – № 3. – С. 136–144; Crisis, choice, and change. Historical studies of political development / G.A. Almond, S.C. Flanagan, R.J. Mundt (eds.). – Boston: Little, Brown, and Company, 1973. – 717 p.

быстрой и восходящей тенденцией, затем плато и после него нисходящая и замедляющаяся динамика, которая переходит в стагнацию, а затем кризис.

Инерционная фаза может, конечно, затягиваться, но не бесконечно. Это и является основным побуждающим мотивом постановки вопроса о будущем политической науки. Дело в том, что инерционная фаза явно затягивается. Еще в 1990-х я говорил студентам, что уже в ближайшее время они станут свидетелями и, возможно, участниками нового поворота в развитии сравнительной политологии. Главным резонансом было то, что прошло уже два десятилетия после того, как начался «плюралистический» период проработки по деталям «кризисного» момента развития рубежа 1960–1970-х годов (Стэнфордский проект – лишь одна из составляющих этого импульса). Инерционная фаза слишком затянулась. Ресурс момента развития, как мне казалось, выработан.

Причиной такой оценки было сопоставление с предыдущим формационным этапом сравнительной политологии. Он включал долгий кризис 1940-х и начала 1950-х годов, инерционную, но очень плодотворную фазу длительностью всего лишь в десятилетие. За ним новый «кризис» конца 1960-х – начала 1970-х годов. Он был коротким, «неглубоким» и в значительной мере «рукотворным». Те же самые стэнфордцы – Габриэль Алмонд прямо писал об этом в первой методологической главе книги о кризисе – сознательно проблематизировали свои достижения и тем самым взрывали собственные научные парадигмы. Однако делалось это намеренно и последовательно. Они сознательно провоцировали подобие кризиса, чтобы осуществить новый прорыв. И это им удалось.

Со времен рубежа 60–70-х годов прошло уже почти пять (!) десятилетий. И лично мне не видны ни кризисы, ни прорывы за исключением каких-то вполне локальных событий, изменений и всплесков активности. Что это означает? Столкнулись ли мы с неким родом бескризисности? Действительная ли она или мнимая? Не удалось ли избежать большого кризиса за счет множества локальных и рукотворных кризисов?

Все эти вопросы заслуживают обсуждения. Однако я предпочитаю первым делом рассмотреть худший вариант: и политическая наука в целом, и ее отдельные направления подчинены логике затянувшегося инерционного тренда, который, несмотря на частные всплески и кажущееся благополучие, все более и более по-

гружается в стагнацию, влекущую серьезнейший кризис. Его масштабы могут оказаться тем грандиознее, чем дольше затянется инерционная фаза и чем беспечнее мы будем обманывать себя призраком благополучия.

Против подобного катастрофического хода событий, к возможности которого я вызвался привлечь внимание, свидетельствует, пожалуй, всеобщее благодушие. Тревожные голоса практически не слышны. Могу назвать лишь два, но очень важных свидетельства того, что современная политическая наука игнорирует кардинальные методологические вопросы и, шире, в должной мере не занята собственной саморефлексией. Вот эти два примера.

Первый – книга Чарльза Тилли 1984 г. «Большие структуры, огромные процессы, грандиозные сравнения»¹. Она стала трезвым предупреждением на восходящей фазе подъема инерционного тренда. Все были тогда зачарованы обещаниями неонституционализма (многие продолжают клясться в верности ему и до сих пор). Мудрый Тилли писал о том, что за обещаниями и действительно появившимися возможностями должны последовать их основательнейшая проработка и выход на новые рубежи, переход к новым масштабам. Ни выхода, ни перехода не последовало.

Второй пример – это книга Рейна Таагеперы о (не)научности социальных наук², а также его выступление на конгрессе МАПН в Познани и текст в IPSR³.

Смысл позиции Тилли в том, что настало время критически переоценить восемь пагубных постулатов (Eight Pernicious Postulates) социальных наук, выработанных еще в прошлом (уже позапрошлом) веке. Путь к этому – ставить большие вопросы, учитывать большие структуры и огромные процессы, а также осуществлять грандиозные сравнения.

Грандиозность не в объемности и величине, а ровно в том, о чем пишет уже в наши дни Рейн Таагепера, – в интеллектуальной

¹ Tilly C. Big structures, large processes, huge comparisons. – N.Y.: Russell Sage Foundation, 1984. – 176 p.

² Taagepera R. Making social sciences more scientific: The need for predictive models. – Oxford: Oxford univ. press, 2008. – 232 p.

³ Taagepera R. Science walks on two legs, but social sciences try to hop on one // International political science review. – Beverly Hills, Calif., 2018. – Vol. 39, Iss. 1. – P. 145–159.

широте и готовности преодолеть удобные ограничения собственных привычных образов мышления.

Смысл позиции Таагеперы в том, что в погоне за призраком сциентизма коллеги сосредотачивают внимание на якобы конкретных (малых в моей терминологии) вопросах, предметах и методах (даже не методах, а техниках) и упускают жизненно важные для познания моменты и тем самым «скачут на одной ноге».

Зауживание проблематики, фактуры и методологии вполне отвечает логике специализации и «отдельных столиков» (Алмонд). Однако это ведет к тому, что мы знаем все больше и больше о все меньшем и меньшем. Оно также способствует редукции нашего мышления к примитивным схемам в духе вульгарных версий сциентизма позапрошлого века. При этом забывается, фактически игнорируется полнокровный сциентизм в духе Дарвина и Гальтона, если вспомнить двух великих родственников, а также достижения формационного этапа развития сравнительной политологии и вообще политической науки с 50-х по 70-е годы прошлого века.

Схему Таагеперы можно и нужно развить и дополнить. Пора встать на обе ноги. Или даже на три ноги фундаментальных методологий – так устойчивей, надежней и логичней, как я попытаюсь показать.

Что же нам делать?

Первое и главное – престать обманывать себя и смело взглянуть на действительность и на самих себя.

С чем мы привычно связываем кризисы и возникающие проблемы? С внешними обстоятельствами. Это, конечно, извиняет нас, заставляет усматривать проблемы в том, что нечто «не так пошло». Почему не посмотреть на самих себя, на то, как мы пользуемся своими серыми клеточками и нашим исследовательским аппаратом? Но методологические вопросы не в чести, разве что обсуждение частных методик или даже приемов. Основное внимание отводится мнимой «сути дела», предметам наших исследований. Типичный ход – рассуждения о трансформации предметной области, об изменениях политики и политического, его измерений и т.п. Это, конечно, важно, но это скорее сопутствующее или даже результаты, а главное – источник всякого рода иллюзий и ошибок. Сколько нас предупреждали о конце всего, чего угодно – государств, партий, политики, наконец. А они и ныне там. Это не государства, партии и политика исчезают. Это «исчезают», становятся

бессмысленными и неадекватными наши представления о них. Политика, какой она была два поколения назад, уже «исчезла» вместе с ошибками и просчетами наших классиков, создателей нынешней политической науки. А нынешняя, которую нам нынче пристало понять и заново переопределить, через уже одно поколение «исчезнет». Точнее, она станет другой. Точнее, она наложится и на нынешнюю политику, и на политику 50-летней давности, и на прочие слои, которые при этом будут трансформироваться и интегрироваться в процессе хронополитической конвергенции.

Можем ли мы это заметить и понять, если мы по-прежнему продолжаем мыслить в понятиях отдельно взятых сущностей и предметов – *things apart*, как писал о первом пагубном постулате Чарльз Тилли?

Усложнять свои задачи никому не выгодно, не хочется. Но ведь жизнь и «объективная», точнее, неподвластная нашим хотелкам действительность никуда не исчезает, только усложняется. Для подавляющего большинства наших коллег все за пределами их исследования и крайне узкого кругозора не существует. Единственным исключением является, пожалуй, пестрая гурьба контекстуалистов¹. Однако все они по-прежнему на периферии и все так же разобщены. За усложняющимся миром контекстуалисты видят лишь усложняющиеся контексты, да и те каждый пытаются ощущать исключительно по-своему, как мудрецы из притчи о слоне.

Действительные кризисы – это кризисы нашего собственного сознания и разума. О них как раз и нужно думать, чтобы встретить эти кризисы подготовленными и способными к конструктивным, а не невротическим реакциям.

Пока же в качестве разминки обращусь к поверхностному и выборочному рассмотрению методологического поля, как оно представлено в ходячих схемах.

Первое деление – на количественные и качественные методологические традиции. Обратите внимание – традиции, или направления, или подходы, а чаще просто «количественные (или качественные) исследования» вообще. Сами методы, методики, техники и приемы специфичны и имеют, как правило, собствен-

¹ См.: Оксфордский справочник по контекстуальному анализу: *The Oxford handbook of contextual political analysis* / R.E. Goodin, C. Tilly (eds.). – Vol. 5. – Oxford: Oxford univ. press, 2006. – 888 p.

ные названия. Методологий же соответствующих не существует. Мне не удалось найти даже намека на них, даже попыток их создать, хотя может статься, что плохо искал. Это само по себе очень показательно. Вероятно, действительная методологическая проблематика не артикулируется на языке оппозиции «количественные – качественные».

Дополнительная проблема в том, что выделение количественных исследований строится на очень зыбких интуициях и практиках использования цифири, а качественные выделяются по принципу – другие или просто контрастные. Здесь исходная зыбкость и условность возводится в степень – не знаю уж какую.

Мне со своими коллегами, занимающимися критической переоценкой методологий, представляется важным выйти за пределы бессмысленной и бесперспективной оппозиции качественных и количественных «склонностей» и «привычек». Нами было предложено использовать собственно методологическое членение наших когнитивных способностей (способностей души в совокупности – *Gesamte Vermögen des Gemüts* – по Канту) и связанных с ними способов научного познания на метретические (они связаны с традициями использования меры, измерений, математики и статистики прежде всего); морфические (они связаны с традициями морфологических, конфигурационных и сравнительных исследований); семиотические (они связаны с анализом и интерпретацией смыслов).

Большинство коллег сочтет подобные опыты слишком отвлеченными и оторванными от нашей повседневной практики. Не буду спорить. Вероятно, прагматический подход больше резонирует с жизненными и академическими ситуациями каждого из нас. Приходится думать о публикациях, учебных курсах, отчетах и прочих неизбежных делах. Обращусь в силу этого к привычному неоинституционализму, который напоминает о себе по множеству раз в день. По моему глубокому убеждению, институционализм и неоинституционализм ни в коем случае не методология и не группа методологий. Это в лучшем случае аморфное соединение разнородных (!) традиций за счет условно общей повестки (или повесток) дня, а также расширительных трактовок коренной предметности. При этом свой условный предмет – институты и практики – мы (все мы теперь, похоже, неоинституционалисты) принимаем за единственную реальность, а все остальное отказываемся видеть и

даже рассматривать. Когда же это становится невозможно, то свой действительный предмет начинаем трактовать как институт или институционализируемый процесс.

Получается парадоксальная ситуация, когда мы то, что функционально предназначено быть методологией или методологической рамкой для некоего даже не направления, а широкого потока исследований, определяем не по когнитивным способностям или исследовательским приемам, а по предмету – пусть даже предельно широко и гибко понимаемому. Давайте же посмотрим, не **что** в фокусе внимания наиболее успешных неоинституционалистов типа Дж. Марча, Й. Олсона, Дж. Цебелиса, Ч. Рэгина, А. Лейпхарта, Д. Берг-Шлоссера, М. Гриндл, Б. Вайнгаста, П. Норрис, С. Стейнмо, П. Пирсона, П. Эванса, К. Телен, В. Патцельта и др., а **как** они добывают новое знание. Едва ли не главные их интеллектуальные средства связаны со сравнительными исследованиями, особенно с конфигуративным анализом и моделированием, т.е. в основном с морфологическими методами, даже если они так ими и не называются. Вывод заключается в том, чтобы рационализировать опыт наиболее содержательных достижений, созданных в русле неоинституциональных традиций. Причем рационализировать не представление достигнутых результатов, а способы их получения. При таком подходе легко выясняется, что соответствующие исследователи критериями и сравнения, и моделирования делают гомоморфизм, изоморфизм и гетероморфизм изучаемых *институтов*, что бы они ни понимали под этими терминами. А терминами подобного рода неоинституционалисты по большей части, увы, не пользуются, чем напоминают Журдена, с удивлением обнаружившего на старости лет, что он говорит прозой.

Анализ наиболее продуктивного опыта неоинституционалистов показывает, что в трактовке институтов обнаруживается множество труднопреодолимых расхождений, а сходства проявляются в фактическом использовании морфологических техник от простых аналогий (это не в счет – их полно повсюду) до изощренных гомеологий, выявления парадигмальных вариаций и прототипов изучаемых явлений.

Напрашивается вывод. Если даже наиболее пессимистическая трактовка динамики политической науки окажется справедливой, то мы встретим разразившийся кризис отнюдь не наивными и неподготовленными простаками. У нас в запасе есть немало ценных идей того же Тилли с Таагеперой, увы, еще не подхвачен-

ных и непроработанных. Есть немало и методологических находок, представленных пока как отдельные частные изобретения даже самими их авторами, а тем более их последователями, пытающимися эпигонски воспроизвести их технические ухищрения, а не выявить общезначимый метод. Однако сделать и одно (откликнуться на призыв Тилли и Таагеперы) и другое (пойти путем выявления методологической логики мозаики приемов и техник политического анализа) не столь уж и трудно. Заделы существенные и значимые. Нужно только систематически и совместно работать. Это наше общее дело. От него зависит и будущее – наше и наших учеников.

* * *

Шабров Олег Фёдорович, доктор политических наук, профессор, зав.кафедрой политологии и политического управления РАНХиГС. Семинар посвящен современной политической науке, ее состоянию и перспективам развития. С докладом выступит доктор политических наук, ординарный профессор Высшей школы экономики Михаил Васильевич Ильин.

Ильин Михаил Васильевич, доктор политических наук, профессор, ординарный профессор НИУ ВШЭ. Дорогие друзья, начну с замечания по поводу названия нашего семинара «Кризис или развитие?». Не случайно в названии стоит знак вопроса. Может ли кризис быть без развития, а развитие – без кризиса? Конечно, отождествлять эти явления нельзя. Прекрасно понимаю организаторов семинара, которые поставили знак вопроса, потому что логические отношения между кризисом и развитием очень сложные. Об этих логических отношениях я и хотел бы сегодня поговорить.

Принято считать, что наука попадает в кризисные ситуации, как только меняются и уточняются параметры ее предметной области. Почему мы обращаем внимание на предметную область? За этим интуиция – когда мы ощущаем, что что-то не в порядке, стремимся разобраться с предметом. Это естественно. Однако когда мы интуитивно стараемся разобраться с предметом, туда ли мы направляем свой взгляд? Нам кажется, что что-то неладно с предметом, а может быть, дело еще в чем-то? Рискну высказать следующее предположение. Очень часто нам кажется, что изменился

предмет, – а изменились мы сами. Предмет конечно же меняется, но он меняется вместе с нами как с участниками политических процессов и с их исследователями. Поэтому я предлагаю посмотреть на развитие политической науки с другой стороны – наших методов и практики исследований.

Что такое кризис? Это греческое слово: как и слова *критика* и *критерий*, оно связано с индоевропейским корнем **krey*, который означает «расщепление». Произошло расщепление, появились альтернативы, а с ними и кризис. Конечно, альтернативы есть всегда, но в условиях кризиса они выходят наружу, вырываются из-под контроля.

Как преодолеть кризис? Установить контроль над альтернативами. Представьте, что мы заранее подумали о том, какие альтернативы и какой кризис может случиться, тогда сделали бы «прививку» против кризиса и смогли двинуться дальше.

Хочу высказать еще одно соображение. Не надо тешить себя иллюзией, будто существует какая-то объективная структура знаний, заданная раз и навсегда, – нет такой структуры знаний. Эту структуру знания мы создаем сами, исходя из собственных задач, стремлений, удобства, как построить нашу работу. С точки зрения нашей темы кризиса это важно. В условиях кризиса нам следует общую структуру нашего знания переосмыслить заново.

Нередко говорят, что нужны новые парадигмальные подходы. Я бы все-таки говорил о традициях. Мы слишком легко употребляем слово *парадигмальная*. Нам кажется понятным, что если есть подход и сформировалась соответствующая традиция, если есть традиция, то можно говорить о парадигме. Здесь мы идем прежде всего за тезисом Куна о смене парадигм. Однако Кун употребляет слово *парадигма* не строго, а приблизительно, метафорически, чтобы описать качественный скачок от одной структуры знания к другой. Что такое парадигма в строгом смысле? Исходно внутренняя форма этого греческого слова раскрывает процесс и результат череды демонстраций. Отсюда такие значения, как модель, пример, довод и набор взаимосвязанных форм, например форм слов. Это последнее значение, по сути, самое точное. Мы вполне можем сказать, что парадигма – это вариации одного явления, например, слова, которые сведены в определенную систему. Возьмем парадигму глагольного склонения слова *быть* – *буду*, *был* и так далее. Мы знаем, что есть глагол *быть*, у него есть парадигма, он может

измениться десятками способов, а эти способы объединены логически единой системой.

Можем ли мы с чистой совестью сказать, что под названием *институционализм* объединены все возможные варианты изучения институтов и что мы понимаем их взаимную дополнительную и логику перехода от одного способа к другому? Нет, не можем. Может ли круг людей, собравшихся и занимающихся анализом дискурсов, сказать, что у них есть парадигма? Нет, в строгом смысле целостной парадигмы у них нет. Они занимаются разными делами, но при этом делают вид, что они в одной лодке. Действительно, они в одной лодке, на одних конференциях, но логика совершенно разная. Говорят, что занимаются анализом политического дискурса, но это самообман. Анализа там от силы 15–20%, остальное – интерпретация. Так и надо говорить: интерпретация и анализ политического дискурса.

Подобная аморфность и неопределенность положения как раз и заставляют меня предположить, что происходит долгая, затянувшаяся стагнация, которая может означать, что кризис перед нами. Альтернатив все больше и больше, и это может взорваться в виде кризиса. Впрочем, утверждать это со стопроцентной уверенностью я не готов. Есть и другие варианты – это не стагнация, а некий контролируемый ход. Может быть, стагнация не во всей политической науке: у одного крыла назревает кризис, у другого все под контролем, а середина – ни то ни се.

Тимофеева Лидия Николаевна, доктор политических наук, председатель Правления РАПН, вице-президент РАПН, заместитель зав.кафедрой политологии и политического управления РАНХиГС. В связи с альтернативами, которые под контролем, Михаил Васильевич, кто этот демиург, у кого альтернатива под контролем? Это мировое сообщество ученых? Это официально назначенные люди, типа нашей Академии наук? Каким образом определяется контроль над альтернативами? Кто разрешает быть или не быть альтернативе в науке?

Ильин М.В. Все мы и каждый. Все мы контролируем. Дорогие друзья, нашим делом каждый из нас может заниматься по-разному. Например, спонтанно, безотчетно, руководствуясь интуициями. Допустим, мне нужно прочитать лекцию здесь, нужно прочитать лекцию там, написать статью... я разрываюсь, главное, к крайнему сроку успеть, и мне уже не до контроля – я думаю, как

бы мне слово со словом связать. Что происходит? Утрачивается контроль. Но я могу остановиться, обсудить текст с коллегами, дать ему отлежаться, снова переделать. Вот я и поставил себя и свой труд под контроль. Если мы все будем себя контролировать, общий градус контроля будет выше. То же коллективно сделает кафедра, контроль еще повысится.

Борщевский Георгий Александрович, кандидат исторических наук, доцент кафедры государственной службы и кадровой политики РАНХиГС. У меня родился такой вопрос. В ваших тезисах утверждается, что методологический кризис наблюдается в политической науке уже довольно долгое время, с 1970-х годов, т.е. уже с полвека. Последний подъем пришелся на 1950-е и первую половину 1960-х годов, до того был предыдущий кризис. Я историк, поэтому первое объяснение, которое мне пришло в голову, такое. Именно на 1950-е и начало 1960-х годов приходится пик политического противостояния мировых систем, существовавших в XX веке, – мировой социалистической и международной капиталистической систем. В 1970–1980-е годы это противостояние утратило остроту. Многие на Западе уже не так боялись противника по ту сторону железного занавеса. Пик противостояния сформировал запрос со стороны элит к экспертному сообществу на изучение соответствующих процессов для решения прикладных задач политической, экономической и военной борьбы. И вот родились те мощные концептуальные идеи, о которых мы сегодня говорим. Вопрос к вам: видите ли вы некоторую связь между этими двумя явлениями? Есть она или нет? Если вдруг она есть, то видите ли вы предпосылки для актуализации подобного противостояния систем в будущем? И возможно ли, что с этим будет связан новый концептуальный подъем в политической науке?

Ильин М.В. Огромное спасибо за прекрасный вопрос. С вашим анализом я во многом согласен. Однако, соглашаясь, я сделал бы важное уточнение. Действительно после Второй мировой войны в мире и в нашем сознании происходит очень много разных изменений. Отчасти меняется мир, отчасти мы меняемся, отчасти создаем новые интеллектуальные инструменты. Что происходит в мозгах у гуманитариев и представителей социальных наук, обществоведов? Они уже через поколение, даже чуть-чуть позже, начинают воспринимать те сдвиги, которые произошли в науке, теорию относительности и прочее, как нечто, что является

не абстрактным знанием, а имеет какое-то отношение к нам. Вторая реакция – это та, о которой вы говорите. Не столько мир изменился, сколько мы изменяем мир. Что-то произошло с нашими душами и мозгами после завершения Второй мировой войны, что радикально меняет мир. Атомные бомбы и так далее. Не мир создал атомные бомбы, а мы их создали. Мы создали атомную бомбу, и всё сразу видим по-другому.

Я бы немножко расширил наш взгляд, темпоральную ретроспективу. Перемены началось с Первой мировой войной, и даже чуть-чуть раньше. Это большой системный кризис, который я называю эволюционной ловушкой. И здесь опять нужно расширить темпоральную ретроспективу вплоть до начала модернизации. Она началась, казалось, неспешно. Поначалу никто не признавал, что происходит. Кант первый увидел принцип современного мышления – критика и антиномии. Потом после Французской, а фактически европейской и даже мировой революции, развитие осознается и ускоряется. Появляется идея прогресса. Людям кажется, что так динамично и без заметных сбоев все и дальше будет развиваться. Однако к исходу XIX века, к рубежу столетий этот потенциал был исчерпан. Что-то случилось с миром. Он «свернулся», изменилась его геометрия. Плоские пространства, в которых мир был организован прежде, сложились в сферические. Мир стал другим, люди сами сделали его другим, но понять этого не смогли. Они сотворили сферический мир, а институциональных и интеллектуальных ресурсов и средств для управления им не создали. Вот и возникала эволюционная ловушка. Мировые войны, тоталитаризм и все прочие бедствия – это только проявления большого кризиса. Это результаты попадания в эволюционную ловушку, большая дисфункция всего процесса модернизации.

Кризис провала в эволюционную ловушку тянется до середины 70–80-х годов. Глобализация впервые обещает шанс выскочить с переходом к конвергенции и поддерживаемому развитию. Однако на деле мы до сих пор не выскочили из ловушки. Начали выскакивать, а потом опять просели, потому что мы на выходе из этого кризиса находимся уже несколько десятилетий. Может быть, это одно из объяснений, почему у нас такой стагнирующий темп.

Что вызвало подъем политической науки? Думаю, что не прямая реакция на злобу дня сего. Если бы наши учителя подчинялись этой логике реакции на прагматические вызовы, то их уси-

лия свелись бы к обсуждению атомной бомбы, соперничества сверхдержав, выборов, забастовок, других проявлений классовой борьбы или политических интриг отдельных политиков. Была бы злободневная суета, а заметного подъема политической науки не произошло бы. Наиболее дальновидные решили: если мы будем заниматься этой текучкой, тем, что мельтешит перед глазами и блещит, мы ничего не поймем. Нам нужны более широкие масштабы, чтобы за деревьями увидеть лес. И они вышли на новый уровень, занялись, например, изучением формирования государств и наций.

Если мы хотим разобраться с этой эволюционной паузой и с той структурой после Второй мировой войны, о которой говорил Георгий Александрович, нужно расширить интеллектуальные горизонты. Можно сделать интеллектуальную уловку и изменить предмет, сфокусировать внимание на практиках подотчетности. Можно просто расширить временной диапазон и посмотреть на эволюционную паузу с точки зрения прогресса предыдущей фазы развития, как это я попытался сделать. Более того, если мы будем смотреть только с точки зрения прогресса, мы увидим всего лишь контраст, а если мы кроме прогресса возьмем то, из-за чего прогресс возник, у нас получится куда основательнее.

Михеев Валентин Александрович, доктор исторических наук, профессор кафедры политологии и политического управления РАНХиГС. Сегодня довольно часто мы слышим и читаем в рамках того предметного поля, о котором вы говорили, что есть решения научные и есть решения политические. Всего два-три дня назад мы слышали, что решение экспертного совета – научное, а решение ВАК – политическое. Примерно такое же разногласие и относительно гражданских институтов, прочих предметов нашего изучения. Какие методологические подходы и теоретические доводы могли бы внести ясность в определение сути и содержания научного и политического?

Ильин М.В. Давайте попробуем найти что-нибудь похожее, но не отягощенное политической остротой. Я приведу пример: в эту пятницу мне предстоит одна медицинская манипуляция. Что будет делать мой доктор? Он будет делать руками конкретное дело. Для того чтобы он сделал это дело, он должен обладать медицинскими знаниями и умениями. Связаны эти знания с биологией человека? Конечно. Есть целые институты, которые занимаются изучением биологии человека, целиком и по частям. Должен этот

врач систематически заниматься биологией человека, чтобы провести медицинскую процедуру? Не должен. Ему достаточно просто быть в курсе того, что сделали те, кто занимается биологией человека. А им, в свою очередь, нужно знать достижения общей биологии, генетики? Конечно. Значит, должен быть институт в Академии наук или кафедра университета, где сидят люди и занимаются общей биологией. Вот и линейка выстроена, где есть разные специалисты, профессионалы в своей области, которые друг с другом взаимодействуют и друг друга обогащают. Общий биолог занимается природой жизни, обменом веществ. Он транслирует свои достижения через коллег с уровня на уровень, даже через каких-то практиков, не только врачей, но еще агрономов, животноводов. Тот, кто занимается общей биологией, должен всю эту череду видеть. Но должен ли тот, кто занимается общей биологией, забыть о своем деле и сказать: а сейчас я пойду в свинарник и буду изучать, что там происходит, и для себя что-то открою. Это абсурд. Не нужно ему этого. От свинарника нужно держаться подальше. А что же нужно? Чтобы у нас между наукой и политикой была какая-то разумная связь. Нам нужны посредники, которые позволят осуществлять эту связь. Сейчас одни варятся в своем соку высоких обобщений, а другие варятся в своем соку практических манипуляций, а между ними нет ничего. Точнее – появляются какие-то авантюристы. А там должны быть не авантюристы, а специалисты. Это мы должны их воспитывать. Мы должны делать такие курсы, чтобы наши студенты не только нас продолжали – это самое простое и легкое, – а чтобы они стали такими посредниками. Чтоб всё пространство от нашей политической науки до политики было заполнено профессионалами. Если оно будет заполнено, нам не нужно туда лезть, а политикам не нужно обращаться к нам и говорить: ты, теоретик в политике, скажи мне, какой лозунг выдвинуть на выборах? Про лозунг ты спроси нашего выпускника, который этим занимается, про то, как организовать кампанию, спроси у другого, а как спланировать политическую линию, спроси третьего. Каждый должен заниматься своим делом, а если мы будем заниматься всеми делами, все будем делать плохо.

Ирхин Юрий Васильевич, доктор философских наук, профессор кафедры политологии и политического управления РАНХиГС. Я бы вначале процитировал Олега Федоровича (Шаброва), он любит говорить, что «политическая наука – дисциплина

хотя и гуманитарная, но точная». С этого эпитафия нужно начинать говорить о структуре знания. Любая наука, в том числе и политическая, основывается на философской методологии. Далее, это гуманитарная наука, а значит, она находится в комплексе гуманитарных и социально-экономических наук и общих методологических подходов, которые связаны.

Методология политической науки во многом вторична. Политическая наука не может «выскочить» из этого окружения. Политолог должен знать примерно 15–20 основных подходов, несколько основных парадигм, 100 теорий, много прикладных методик. Нужно еще учитывать единые методологические основания по разным дисциплинам.

Есть ли кризис у нас, или нет? В 2008 г. произошел мировой экономический кризис. В начале следующего года Елизавета II приехала в Лондонскую школу экономики и, обращаясь к участникам круглого стола, спросила: «Джентльмены, как вы это допустили, владея самой развитой в мире экономической наукой? Что произошло? Объясните. И что будете делать?» Ответ ученых заключался в том, что экономисты увлеклись математическими выкладками, прикладными исследованиями и забыли о логике экономической науки и общественного развития. Кроме того, в последние 20 лет наблюдается явление, которое называется экономическим империализмом, когда экономисты пытаются «подгрести» под себя все другие науки – математику, лингвистику и даже политологию. Возникла так называемая новая экономическая наука – это традиционная экономическая наука, в которой рассматривается процесс принятия политических решений и как эти решения влияют на экономику. Чистейшей воды политология.

Почему я привел этот пример? Потому что все дело, как сказал Михаил Васильевич, в оптике. В том, как вы будете строить вашу программу политического исследования, как вы будете на нее смотреть, какие подложите парадигмы, теории. Что вы возьмете из той науки или из другой. И что будет на выходе. Примерно такая сложная конструкция.

В нашей дискуссии прозвучала очевидная вещь, что общество проходит в своем развитии ряд этапов. Политическая наука, вкупе со всеми остальными другими науками, осуществляет функцию рефлексии на эти изменения, и рано или поздно формулирует новые теории и концепции, предлагает новые решения, успех ко-

торых необязательно очевиден, потому что реализуют эти решения политики.

Главная проблема человеческого общества в том, что оно обычно всегда знает больше, владеет очень многими теоретическими моделями, концепциями и т.д. Оно уже знает, как это сделать, но сделать еще, в силу целого ряда причин, не может. Практический опыт отстает от нашего знания. Сейчас мы вступили в очередной этап развития. Нужно искать какие-то новые объяснительные модели.

В разных частях мира (а лучше сказать, в различных цивилизациях) политическая наука развивается немножко по-разному, с разными акцентами. Развиваются школы, не только национальные, но даже цивилизационные. Можно вполне говорить об англосаксонской школе. Можно говорить о континентальной европейской – уже будут какие-то особенности.

То, что происходит в политической науке, я бы не называл глубоким кризисом. Может быть, это некая перестройка, «уточнение» политической науки. Многие старые концепты и термины (например, государство) понимаются уже в новых условиях по-разному. Нам нужно очень многое сейчас переосмыслить. Появилось очень много явлений, для которых нужны либо новые понятия, либо новый смысл в старых понятиях. Еще вчера говорили: «Электронное правительство, электронная демократия, электронный бизнес». Сейчас мы уже говорим: «Цифровой след, цифры в электронном правительстве». Поэтому мне кажется, что политическая наука выходит на новые решения новых задач. В этом отношении я смотрю с определенной надеждой на нашу российскую политическую науку.

Комаровский Владимир Савельевич, профессор кафедры политологии и политического управления РАНХиГС, доктор философских наук, заслуженный деятель науки России. Основной вопрос, который был поставлен в докладе, что делать? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, с чем мы имеем дело. Я согласен с тем, что политическая наука переживает кризис, но чем он вызван? Нам нужно понять характер проблем самой нашей науки, сдвиги в научной картине мира в целом и осмыслить кризис реальности, с которой мы имеем дело.

Мы попали в какую-то очень неопределенную ситуацию межсезонья, смены вех. Что мы, политологи, в этой ситуации мо-

жем сделать? Какие проблемы необходимо решить прежде всего в области методологии политической науки? Мне кажется, важно получить ясный ответ на вопрос, насколько обоснованы претензии политической науки на универсальность. Может ли теория быть универсальной? Или все-таки цивилизационные особенности играют бо́льшую роль, нежели те, которые связаны с общими ответами на вызовы современной эпохи?

Если, по крайней мере сейчас, ничего универсального мы предложить не можем (хотя стараться нужно, это понятно), значит, вопрос следующий: а может ли политическая наука не быть мультипарадигмальной? Наверное, тоже нет. По крайней мере, в ближайшей перспективе это совершенно не очевидно.

Теперь очень короткие замечания по двум вопросам. Первое – предмет политической науки. Конечно, он меняется, безусловно, меняется не только потому, что меняются наши очки, но меняется и сама реальность. Причем эти очки связаны не только с нашей субъективностью, а с доступностью для нас какого-то рода знаний. Для студентов я привожу пример: конечно, в момент зарождения политической науки ни Аристотель, ни Платон не могли видеть мир как таковой – они видели город. Рим – это империя, значит, появились новые очки, потому что появилась новая реальность и потребность в новых очках. Вот эта связка – она очень интересна.

Последний важный вопрос: кто контролирует развитие науки? В науке тоже действуют законы общественного мнения. Кто решает, ты признан или нет,ходишь в мейнстрим или нет? Фактически некоторые из тех, кто достоин не просто войти в мейнстрим, а возглавить его, остаются пока внизу. Это тоже говорит об уровне достижений науки.

Мchedлова Марина Мирановна, доктор политических наук, доцент, зав.кафедрой сравнительной политологии РУДН, член правления РАПН. Надо иметь большое мужество сегодня, чтобы говорить о законах приращения знания. Уже многие отметили, что наиболее востребованными становятся такие прикладные, как их называют, или функциональные темы, которые не позволяют поставить эпистемологические и реалистические вопросы применительно к современному гуманитарному знанию.

Я согласна с Владимиром Савельевичем в том, что кризис можно рассматривать в различных гранях и контекстах, из совокупности которых и возникает та проблема, которую мы сегодня

пытаемся решить. Это проблема не только политической науки, но вообще гуманитарного знания как такового. Это не новая проблема. В 2003 г. И. Валлерстайн написал книгу «Конец знакомого мира». В ней он показывает, что знание, которое очень долго выполняло свои функции в человеческом обществе, сегодня перестает их выполнять. Когда он писал о контурах знакомого мира, которые становятся все более зыбкими, он имел в виду скорее не социально-политическую реальность, а способы рефлексии. И сегодня, мне кажется, кризис проявляется именно в том, что способы рефлексии (может быть, в каком-то контексте это и те самые очки), которые все еще традиционны в своем основании, не улавливают изменения современного мира.

Я не готова полностью согласиться с М.В. Ильиным в том, что нет объективной структуры гуманитарного знания. Если мы посмотрим на способы приращения знания и на самые глубинные основания, связанные, например, с критериями истинности, то мы увидим, наверное, какие-то общие черты. Конечно, затем это диверсифицируется, однако общие черты, общая логика построения гуманитарного знания, которую мы можем применить к любому гуманитарному знанию, существуют. И в одну эту логику зашиты те самые универсалии, которые складывают в единый семантический узел еще многие проблемы – такие как пространство, время, истина, ложь, Бог.

И вот именно эти универсалии, которые вроде бы должны быть незыблемы и с точки зрения философского знания, и с точки зрения логики, начинают демонстрировать размывание референтов и референций, более того – наверное, возникновение новых и референциальных значений, и референтов.

Если мы спустимся на уровень политической науки, то те политические универсалии, которые связывали все социально-политические несущие конструкции и политический нарратив – нет, даже метанарратив, к которому относятся власть, государство, демократия, прогресс, рациональность и прочее, – сегодня точно так же не перестают быть одинаково понимаемыми не только вследствие изменения референта, но и вследствие размывания смысла универсалий как таковых. Происходит не только размывание понятий.

Почему именно эти универсалии перестают выполнять сегодня свою функцию? Во-первых, мы не успеваем за постоянным изменением мира, не успеваем концептуализировать эти феномены.

Во-вторых, гуманитарное знание по своей сути – это не только удвоение реальности, это даже утроение реальности. И соответственно, там происходят процессы, которые не позволяют этим универсалиям «переквалифицироваться».

В-третьих, Михаил Васильевич говорил о том, что изменения знания, изменения концептуальных подходов связаны с большими социально-политическими потрясениями, с одной стороны. С другой стороны, связаны с достижениями в других дисциплинах. Это, конечно, так. Сегодня большие социально-политические, экономические и другие изменения происходят настолько быстро, что мы не успеваем за ними.

Однако универсализм и фокус на прогрессе – это было канвой и основной гуманитарного знания на протяжении очень длительного времени. И мне кажется, что прогрессистское видение, порожденное эпохой Просвещения, еще не ушло. Оно, наверное, находится в состоянии конкуренции с иными картинами, в том числе и политической рефлексии. И мы видим столкновение теории и, наверное, идеологии или дискурса, который выстраивается вокруг определенной теории, в том числе вокруг прогрессистского мировидения.

И не случайно прогрессизм, который был в основе и философского, и политического знания, а затем выстраивал не только картины мировидения, но и вообще публичную политику, сегодня столкнулся с фрагментацией и принципиальной гетерогенностью мира.

Это показывает, с одной стороны, что гуманитарное знание и политическая наука имеют внутри себя потенциал фальсификации, т.е. они могут дальше развиваться. Но, с другой стороны, мы встречаем эпистемологические трудности, когда старые универсалии с принципиальной гетерогенностью мира не состыковываются.

Я хочу привести один маленький частный пример. Мне кажется, что этот потенциал к дальнейшему изменению гуманитарного знания, этот внутренний потенциал к переделке был замечен еще в конце XIX – начале XX в., когда уже в условиях абсолютного доминирования прогресса и универсализма возникали теории, которые начинали противоречить в том гносеологическом контексте. Например, теория локальных цивилизаций, которая говорила о прерывности мира и о том, что прогресс не задан.

Мне кажется, что поиск новых конфигураций политического знания и вообще гуманитарного знания как такового, concentra-

ция на гуманитарной эпистемологии и на способах приращения гуманитарного знания – это благодатное поле, которое может быть толчком для развития и более прикладных политологических дисциплин.

Тимофеева Л.Н. Я хочу откликнуться на то, что говорил Михаил Васильевич (Ильин).

Во-первых, меняется практика – меняется словарь. Толковый словарь новейших слов и выражений русского языка, который появился в начале 2000-х годов, толкует «альтернативу» не только как «возможность выбора, основанную на альтернативе», но и как «несовпадающее с общепринятым, официальным, непохожее на прежнее». И в качестве примера приводятся выражения: «альтернативная медицина» – медицина, основанная на немедикаментозном лечении; «альтернативная служба» – гражданская служба, разрешенная законом вместо обязательной военной; «альтернативная энергетика» – использующая природные ресурсы и технологии без вреда для окружающей среды, экологически чистая и т.д. Иными словами, речь идет о новых практиках, направлениях в науке, изобретениях человека, увеличивающих для него пространство выбора, лечения, возможности жить в чистой экологической среде.

В связи с этим важно уточнить, что такое кризис. В китайском языке его обозначают два иероглифа: «проблема» и «новые возможности», т.е. альтернативы, варианты, которые позволяют решать эти проблемы.

Действительно, меняется практика и отсюда постоянно меняется и предметное поле политической науки. Усложняется практика, усложняется и предметное поле политической науки. Например, у политической коммуникативистики как одной из составляющих предметного поля политологии сегодня насчитывается до десятка субпредметных полей: политическая лингвистика, политическая семиотика, политическая дискурсология... В политической конфликтологии тоже происходит деление предметных полей на этнополитическую, политико-административную, региональную конфликтологию, городскую конфликтологию и т.д. Вопрос: до каких пределов может происходить атомизация предметного поля политической науки? Наверное, до тех пор, пока будет меняться наша политическая практика.

Второй момент, связанный с изменением фокуса зрения. Это не новое явление – во второй четверти XX в. появляется философия

конструктивного альтернативизма Джорджа Келли, который утверждал, что на объективную реальность необязательно смотреть с одной точки зрения, можно посмотреть с разных, и люди способны изменять свою интерпретацию событий, создавая индивидуальные модели реальности, имеющие эвристическую ценность. Мы имеем классическую, неклассическую, постнеклассическую науку, разные методы исследования, разное отношение к пространству и представлению о пространстве.

Совсем недавно Шанталь Муфф, известная бельгийская исследовательница, предложила диссенсуальную модель политического взаимодействия. К чему мы привыкли на практике? Мы привыкли к консенсусу. Консенсусная демократия, консенсус в парламентских дебатах, консенсус как способ вообще движения вперед. А она предложила диссенсуальную модель, суть которой заключается в том, что не всегда консенсус является лучшим выходом из политического противостояния. Бывают случаи, когда консенсус невозможен из-за принципиального различия политических парадигм, более того, консенсус даже вреден, поскольку в случае достижения такового результатом станет исключение и подавление альтернативных мнений. Поэтому вместо поиска заведомо мнимого и устраняющего различия консенсуса модель предполагает признание различий и обсуждение возможных границ последних.

И сегодня закономерно, что консенсуальная модель, которая в последние десятилетия становится объектом самой разнообразной критики, оспаривается диссенсуальной политической практикой – и Брексит, и другие явления в Испании и в Италии, которые мы наблюдаем, являются как раз примером того. Есть другой взгляд на существование всех этих политических явлений.

Третий момент, на который я хотела бы обратить внимание. Исследователи альтернативных подходов и методов в социальной и политической науке из Кембриджского университета недавно выпустили книгу «Подходы и методологии в современных социальных науках: плюралистическая перспектива». Там они развивают мысль о том, что интеллектуальный плюрализм может обогатить опыт исследований, поощрить нас учиться дальше, заимствовать друг у друга различные подходы и методы исследования. Социальные науки не должны становиться узниками некой ортодоксии,

а должны постоянно обогащаться путем изучения других дисциплин, других разработок.

Но это не означает, что все годится, что исследователи могут смешивать и сочетать идеи, подходы, теории и методы, как им вздумается. И вот тут возникает вопрос о контроле. Где предел альтернативности? Политологи признают, что мы утратили некую иллюзию создания единой идеальной теории, которая способна все объяснить и указать политикам, как жить, как действовать и какие правильные политические решения принимать. Тем не менее строгость необходима. Что это должно быть? Может быть, некая новая наукометрия, которая позволяет вырабатывать критерии научности, практичности, применимости, дальнейшего развития, с тем чтобы был и диссенсуальный подход, позволяющий не отмечать гениальные, интересные догадки, которые пока считаются глупостью, не входят в мегатренд представлений о том, как должна развиваться наука.

Я думаю, что стоит поставить вопрос о новом направлении, связанном с критериальностью, наукометрией – я не знаю, как это назвать. Это направление, вероятно, необходимо для того, чтобы понять, насколько разные концепции и инструменты познания «работают» в научном и в практическом смысле.

Камышанов Виктор Иванович, президент Федерации мира и согласия, по совместительству доцент кафедры политологии и политического управления РАНХиГС. Те вопросы, о которых мы говорим, – что такое кризис в современном политическом мышлении и как он проявляется, – очень важны. Я хотел бы обратить внимание на то, что мы все время апеллируем к новой политической реальности, которая представляет собой Китай. Это совершенно новое явление в современном политическом процессе. Китайцы имеют свой собственный подход, который требует нашего осознания. Все наши вопросы рассматриваем через призму европейской цивилизационной составляющей, а Китай – это совершенно другое явление.

Интересно, например, каким образом они продвигают свои идеи, готовят их заранее. Это вопрос о соотношении научного процесса и принятия политического решения. Мне кажется, методика, которую используют наши китайские коллеги, должна заставить нас задуматься над этим вопросом.

Они сформулировали политическую концепцию, «Великий шёлковый путь». Она постоянно насыщается определенными решениями. Все новые идеи сначала отправляют на общественную оценку и многие из них проводят через научные дискуссии. В этот процесс дают возможность включаться более широкому кругу участников, для того чтобы понять, какое из этих решений в данный момент наиболее эффективно, а какое следует придержать и начинать его развитие на последнем этапе. То есть в этой системе проявляется обратная связь, воздействие на процесс политического решения.

Однако специфика китайского подхода в том, что они постоянно проверяют, в какой именно элемент принятия окончательного политического решения позволяет встроить все это в обратную связь. И это, с моей точки зрения, является одним из наиболее важных преимуществ. Мы видим, что каждый раз они адаптируют свою систему к конкретным требованиям.

Очень важно, с моей точки зрения, найти какие-то механизмы и методики взаимодействия нашей российской практической науки с китайским взглядом на политические процессы в современном мире. Потому что сегодня не англосаксонская политическая наука, которая по своей логике нам более-менее понятна, а именно китайский подход к политическим процессам будет полезен для того, чтобы понять: живем мы в условиях кризиса или просто в условиях паузы, которая даст совершенно новое измерение в современном мире.

Слизовский Дмитрий Егорович, доктор исторических наук, профессор, профессор Российского университета дружбы народов. В выступлении Михаила Васильевича (Ильина) мне понравилась идея обращения к нашему мыслительному аппарату. Именно мысль на сегодняшний день, как мне думается, является и должна стать объектом внимания политической науки. Традиционно политическая наука занимается государством, обществом в разных вариантах, политическими партиями, лидерством.

Я думаю, если мы поставим вопрос и склонимся к тому, что мысль является инструментом, с помощью которого у политической науки есть возможность соединиться с другими дисциплинами, повлиять на мысль и сформировать ее.

Мне кажется, что язык, которым пользуется сегодня политическая наука, не способствует взаимопониманию. Мы говорим все

на русском языке, – посмотрите, какие внутренние конфликты существуют между нами, носителями языка. Однако, разговаривая, допустим, на русском и английском языках, можно, при определенных условиях, найти консенсус и согласие. И основанием для такого консенсуса и согласия может быть тип культуры, мировоззренческая парадигма.

Передовые страны сконцентрировали свое внимание на образовании, молодежь является сферой приложения внимания со стороны политиков, и политология подталкивает их к тому, чтобы был набор неких программ, влияющих на формирование сознания и мыслей молодежи.

Для того чтобы сделать прорыв в политической науке, нам стоит подумать, найдем ли мы свое место в инструментарии формирования видения сегодняшней жизни. И здесь образовательные программы могли бы нам помочь. В этом направлении можно было бы сформировать целый пул научно-исследовательских работ, которые могли бы продуцироваться либо индуцироваться, либо администрироваться со стороны политологического сообщества.

Шабров О.Ф. Есть вопросы, которые я бы хотел обозначить в связи с темой представленного Михаилом Васильевичем доклада.

Прежде всего, является ли развитие противоположностью кризису? Михаил Васильевич где-то даже обращается к понятию катастрофы, рядом положены понятия – катастрофа и кризис. В теории катастроф Арнольда катастрофа есть скачкообразное изменение. В этом смысле рождение человека и смерть человека – и то и другое – катастрофы. Что касается кризиса, то это расщепление. Но в теории самоорганизации это расщепление трактуется как точка бифуркации, расщепление, которое возможно как результат нарушения однозначной причинно-следственной связи, трактуется как переход системы в одно из возможных устойчивых состояний.

Так вот, в порядке иллюстрации приведу пример из медицины. Наступает кризис у пациента. Есть два возможных исхода: либо он умрет, либо он выживет. Вот что есть кризис. На самом деле не только в медицине, когда мы говорим о кризисе, возможны какие-то третьи, четвертые состояния, в которые перейдет система после бифуркации. В этом смысле кризис я бы не стал противо-

поставлять развитию. На мой взгляд, дихотомия здесь – либо развитие, либо деградация.

Это короткое вступление понадобилось для того, чтобы обозначить, на мой взгляд, все-таки определенные признаки деградации. Нас, политологов, давно упрекают: «У вас нет собственных методов. У вас просто есть объект, вы его изучаете». Проблема в том, что предметное поле политической науки не просто размывается, оно меняется. Сложно в настоящее время обозначить предмет и объект политологии. Сложно и с определением собственных методов политологии.

Любая наука проверяется на свою объективность и значимость достоверностью прогнозирования. В политической науке также существуют проблемы с прогнозированием. Кто, например, ожидал, прогнозировал, что на выборах президента США победит Трамп?

Кроме того, есть некоторые ловушки, в которые попадает политическая наука. Это связано с влиянием ценностей на процесс политологического познания. Ценности могут быть разные.

Можно выделить два критерия, которые отличают науку от других форм отражения, их уже давно сформулировал академик Вернадский. Это единство и неопровержимость. С точки зрения первого критерия: у меня одни ценности, у вас другие. У нас одни понятия, но есть и другие. Научным фактом в истории является не только событие, но и его интерпретация.

Интерпретация – значимый фактор. Сколько этих интерпретаций? Как судить, какая истинна, какая нет? Как быть с научным установлением факта? Возникает вопрос: наука ли, например, история? Такой же вопрос возникает в отношении политологии, если мы оцениваем достоверность и истинность фактора не на основании национально-государственных интересов, а в соответствии с научными ценностями. Вернадский разделял на этом основании идеологию и науку. У науки цель – добытая истина, новые знания, а у идеологии это проект, который надо реализовать. Там, где начинается идеология, кончается наука.

Здесь возникает ловушка для нашей науки. Если научная работа выдержана в духе соответствия «государственным интересам», то естественно, что государство ее поощряет, необязательно в финансовом плане – здесь и экран, и публикации, гранты. А если она не отвечает установленной идеологии, значит, такая точка зрения не получа-

ет аудиторию. Мы уже имели подобный опыт. В 30-е годы XX века в Советском Союзе появилась научная идеология, как только соединили науку и идеологию. В связи с этим возникает вопрос, не уходим ли мы сегодня в сторону политической лженауки в том смысле, что продолжаем называть политическую науку наукой, а на самом деле она таковой не является, а является скорее идеологией.

Ильин М.В. Хочу откликнуться на некоторые идеи, прозвучавшие в выступлениях коллег. Универсалии никуда не исчезают. Вопрос заключается в том, как возможно существование универсалий и меняющихся знаний. Видимо, нам необходимо перенести внимание с ускользающего на то, что не ускользает. Универсалия – это то, что не ускользает, что сохраняется, к чему добавляется ускользающее знание.

Квентин Скиннер говорил: идея оригинальности, данное слово возникает в английском языке в конце XVIII века. А Мильтон за сто с лишним лет до этого в первых строках своего «Потерянного рая» пишет, что хочет создать. Это «things, unattempted yet in prose or rhyme», не испытанные еще ни прозой, ни стихами вещи. Вот она, говорит Квентин Скиннер, идея оригинальности, за сто лет, причем она сформулирована как базовый принцип создания целого литературного произведения. То есть идея уже есть, а слова еще нет.

Нужно идти к основам. Когда мы идем к основам, мы как раз вытаскиваем то, что осталось неизменным. Фактически, конечно, изменяется, много раз переделывалось. Я своим студентам привожу пример. Первый, или один из первых социальных или политических институтов – гостеприимство. Два племени встретились и не уничтожили друг друга, использовали гостеприимство. Этот институт и его когнитивная схема многократно воспроизводятся. И сейчас 80 или 90% всех политических институтов – его производные: и гражданство с паспортом, и дипломатический иммунитет, и членство в партии, и всё что хотите. Все эти институты – многократно переделанное гостеприимство. У нас есть универсалия.

Таким образом, если мы будем пытаться реконструировать, то увидим, что просвещение, прогресс не ушли. Они остались в виде глубинных слоев, которые воспроизводятся снова и снова. Шанталь Муфф, еще когда писала с Эрнестом Лакло про дискурс, вроде придумала что-то совершенно новое, убегающее, оригинальное, агонический дискурс. Однако она воспроизводит совершенно нормальное открытие, сделанное Кантом, – антиномии.

В нашем дискурсе всегда сохраняются оппозиции. Отсюда, например, возникает представительное правление, народ может править, народ не может править. Как возможно, чтобы народ не мог править и должен был бы править? Как представительное правление.

Немного скажу про замечательные слова, которые здесь процитированы и неоднократно повторялись: «Политическая наука – дисциплина хотя и гуманитарная, но точная». У каждой науки своя мера точности. Не надо путать разные предприятия и требовать от одного предприятия той меры точности, которая есть у другого. Не надо требовать от фундаментальной науки ответа, кто победит на французских выборах: Макрон или еще кто-то. Это не тот вопрос, который требует серьезного научного предсказания. Тут достаточно краткосрочной прикидки с помощью прикладных аналитических построений. Если задаваться вопросом о том, что произойдет во Франции в течение 30–40 лет, – тогда это другой вопрос, более основательный, более сложный.

Меняются представления людей и их запрос на участие в политике. Если, например, рассмотреть вопрос о популизме, то можно обнаружить следующую картину. Сейчас часто события, происходящие на выборах в странах Западной Европы, трактуются как подъем популизма. При более внимательном анализе становится ясно, что никакого фантастического зверя под названием «популизм» нет, а в самых разных видах проявляются популистские синдромы.

Например, в Восточной Германии перед падением Берлинской стены люди вышли на улицу и сказали: «Wir sind das Volk» («Мы – народ»). И всё рухнуло, потому что большая часть людей сказала: «Мы – народ». Сейчас «Альтернатива для Германии» выходит и говорит: «Wir sind das Volk». Они помнят, что им говорили папы с мамами и что они сами говорили. Они думали, что всё будет другое, ничего не изменилось. Выстроили партийные системы, создали парламенты и другие институты, а народ не слышат. Если мы так проанализируем подъем популизма, тогда станет ясно, что есть тренд, который не замечается и в рамках которого политики принимают совершенно контрпродуктивные решения.

Я могу привести другой пример – референдумы о независимости в различных регионах. Для его адекватного понимания следует учитывать, что меняется ожидание людей относительно того,

как должна быть организована их жизнь, как они должны быть услышаны. Не реальность меняется, меняются очки людей на улице, избирателей. А мы и наши коллеги поменять очки не спешим. Отсюда и кризис.

Возвращаясь к актуальности Канта и к тому, что универсалии были открыты. Еще даже раньше Канта Лейбниц в маленькой книжке описывает, что происходит в Священной Римской империи: имперство, или цезарство, между князьями распределено. Это не какой-то сбой, это нормальное явление многоярусного суверенитета. Он, конечно, не употребляет словосочетание «многоярусный суверенитет», но показывает, что происходит циркуляция суверенных полномочий – нормальная ситуация в Священной Римской империи в XVII–XVIII вв. В контексте нынешних тенденций и проблем развития Европейского союза эти идеи очень актуальны. Не обязательно нам сейчас ждать, чтобы новый Лейбниц появился в Германии, может, кто-нибудь из наших исследователей поработает над идеей многоярусного суверенитета. Каждый должен своим делом заниматься. Политолог должен заниматься не написанием прожекта для Юнкера и прочих, а описанием и анализом того, как может существовать многоярусный суверенитет. Это может быть очень актуально и для России.

В. Патцельт*

ПЕРЕЖИВАЕТ ЛИ ПОЛИТИЧЕСКАЯ НАУКА КРИЗИС?¹

Аннотация. На первый взгляд, с нынешней политической наукой все в порядке. Если посмотреть на нее с самых начал возникновения в Афинах, она развивалась особенно успешно во времена политических кризисов, поскольку интеллектуально стимулировалась падением режимов, геополитической перестройкой и повышением международной напряженности. Более пристальный взгляд выявляет тревожащие признаки «нормальной» политологии. Они включают привлекательность рутинных исследований вместо обращения к острым политическим проблемам, попытки «угодить публике» вместо критического отношения к устоявшимся образцам мышления и поведения, удобное ограничение исследований лишь текущими проблемами вместо извлечения уроков из всего богатства исторического развития, использование «западного этноцентризма» вместо «аналитического космополитизма». Статья подвергает критике эти стороны профессии и приглашает новые поколения политологов к проблемной и теоретической открытости.

Ключевые слова: политика; политическая наука; теория; методология.

W. Patzelt

Is political science in crisis?

Abstract. At first sight, political science seems to be on a good way in most countries. If this discipline, as a look at its beginnings in Athens may suggest, will

*** Патцельт Вернер**, профессор Института политических наук Технического университета Дрездена (Германия), e-mail: werner.patzelt@tu-dresden.de.

Patzelt Werner, Institute of Political Social Sciences, TU Dresden (Germany), e-mail: werner.patzelt@tu-dresden.de.

¹ Статья написана специально для журнала «Политическая наука». Перевод с немецкого выполнили Шулика Юлия Евгеньевна (НИУ ВШЭ), Камоликова Валерия Романовна (НИУ ВШЭ) и Авдонин Владимир Сергеевич (ИНИОН РАН).

flourish particularly well in times of political crises, then political science should be intellectually well fed in our period of regime collapse, geopolitical restructuration, and growing international tensions. At second sight, however, some disturbing features of «normal political science» become evident. They include the attractiveness of doing academic «routine science» instead of coping with actual practical problems; attempts at «pleasing the public» instead of taking a critical stance towards established political thought and behavior; comfortable limitation of research interests to contemporary issues instead of attempts at drawing lessons from the whole span of history; and practicing «occidental ethnocentrism» instead of striving at «analytic cosmopolitanism». The article challenges these characteristics of today's political science, thereby inviting a new generation of political scientists to new thematic and theoretical openness.

Keywords: political science; scientism; ethnocentrism; lessons from history; critical thought; role of political scientists.

I. Что за кризис?

Кризис в политической науке? Что еще за кризис?! Разве политическая наука не является прочно утвердившейся академической дисциплиной во всех плюралистических демократиях? Разве она не становится профессией даже в куда менее свободных обществах? Не существуют ли ассоциации политической науки в половине стран мира? Разве повсеместно не проходят политологические конференции? Не проводят ли политологи публичные дебаты во многих странах, причем зачастую с широким отражением в средствах массовой информации? Разве мало политологов выступают в качестве политических консультантов? Все это скорее свидетельствует об истории успеха, а не о кризисе!

Это всё так. Однако кризисы далеко не всегда легкоузнаваемы или драматичны. Надвигающиеся и долгое время остающиеся незаметными кризисы особенно опасны. Кризис возникает, когда нежелательные события объединяются в некую совокупность, хотя поначалу они были безвредны и не слишком связаны между собой. Таким образом заблуждения закрепляются как самоочевидности и направляют изменения в порочное русло. В итоге развивающаяся система может впасть в кризис или даже оказаться в тупике. Нечто подобное сегодня можно заметить в политической науке, хотя нет никаких проблем с материальными трудностями: мы не экономим на профессорах, не сокращаем исследовательские фонды и бюджеты конференций, занимаемся развитием профессии в менее свободных государствах. Эти трудности обусловлены внутренними проблемами политической науки.

Но можно ли в действительности назвать происходящее кризисом? Необходимо определить критерии для оценки такой ситуации. Возможно, следующие размышления могут послужить некоторому общему представлению о сложившихся обстоятельствах.

II. Вызовы политологам и их ответный долг

Западная политическая наука возникла во времена Платона и Аристотеля, во времена кризиса греческого полиса, который гордился гражданским правом на участие свободных людей, и была порождена этим кризисом. По существу, и азиатский аналог тому, что на Западе стало политологией, вырос из политического кризиса. Это было учение Конфуция и его учеников в ответ на распад имперских порядков династии Чжоу во времена Вёсен и Осеней, а затем Сражающихся царств. В обоих случаях речь шла о поиске политических решений для переделки становящихся неустойчивыми политических порядков в более основательные. Такие способы разрешения проблем можно выявить при помощи сравнительного наблюдения за существующим положением с учетом прошлых или изначальных альтернатив. В том смысле, чтобы суметь «изнутри» или «от оснований» целостно переосмыслить проблемы не только эмпирически, но прежде всего теоретически.

Критерием успеха политической науки, таким образом, станет ее способность получить качественно широкие и углубленные результаты, которые позволили бы ощутимо улучшить политическую практику. Однако коль скоро цепь последовательных взаимодействий между политическим познанием и практикой зачастую довольно длинна, требуется во всех ее звеньях как можно чаще доказывать «истории успеха» дисциплины. В то же время есть и мнение, что многие достигнутые учеными результаты исследований следует использовать для улучшения практики самой политики. Это подтверждают работы Августина и Фомы Аквинского, труды Никколо Макиавелли и Томаса Гоббса, Джона Локка и Жан-Жака Руссо, Карла Маркса и Макса Вебера, а также теории Джона Роулза и Юргена Хабермаса. Сегодняшняя политическая наука, теоретически или эмпирически ориентированная, видит себя именно в этой традиции. Политология не может не реагировать на кризисы своего времени. Первым делом нужно показать, суще-

ствуют ли они в действительности. Если это так, то какова добавленная ценность, которую политическая наука способна создать на фоне повседневного понимания политики?

Кризисов, а значит, и потребности в их научном изучении, сегодня более чем достаточно. Они варьируются от распада государств во многих частях мира до растущей нестабильности международных отношений и бесконтрольности «новых войн», которые происходят уже не между государствами, а между вооруженными группировками. Они усугубляют расширяющийся разрыв в уровне благосостояния между бедными и богатыми вкупе с увеличением миграционных потоков с глобального Юга на глобальный Север, выливающихся в эскалацию конфронтации Ислама и Запада. Обостряется кризис западного государства всеобщего благосостояния, лишённого комфорта надежных границ. Растет привлекательность обещающих надежное правление диктатур как альтернативы западной плюралистической демократии. Маячит призрак идеальной модели глобальной государственности.

Все это ставит не только основательные практические задачи для политики, но и бросает серьезные интеллектуальные вызовы политической науке, обращает политическую науку прямо к ее основаниям. Эта дисциплина до сих пор была тесно связана прежде всего с западной теорией государства и государственной практикой, в то время как лидирующее положение в международном устройстве в настоящее время обретает Китай. Западные представления о регулировании *международных* отношений проигрывают не только из-за своей деятельной самонадеянности, но и потому, что ослабевает влияние самих западных государств на международные отношения, подорванное той же самонадеянностью. Кризис также трансформирует *внутригосударственное* понимание политической науки как «науки демократии и для демократии» в той мере, в какой «современное западное государство» осознается как исключительный культурный и исторический феномен, а не как «необходимый стандартный случай». Это изменение в самовосприятии политической науки распространяется и дальше, поскольку эмпирическая и теоретическая политическая наука существует даже в авторитарных диктатурах и полусвободных обществах и обеспечивает там власть практическими знаниями «о господстве» подобно тому, как политическая наука в XVII в. обеспечивала усиление княжеской власти и восходящий абсолютизм.

Каковы в такой ситуации требования к политической науке и задачи политолога? Их можно свести к четырем пунктам, по которым можно было бы судить о реальном положении дел в политической науке, а затем и о глубине кризиса. Во-первых, необходим *космополитизм*, а не западный этноцентризм, иными словами – аналитическое мышление, основанное не исключительно на западном политическом опыте, а принимающее во внимание проблемные ситуации, например, в Африке и Азии. Во-вторых, требуется принятие *исторического холизма* вместо исключительного интереса к проблематике настоящего, т.е. необходимы: взгляд на всю совокупность форм правления в человеческих обществах и его «грамматику»; контекстуализация современного анализа, основанного на знаниях о том, в какие общие вневременные образцы могут быть встроены происходящие процессы. В-третьих, нужна *критическая политическая наука*, а не сочувственное отношение к настоящему, т.е. дисциплина, которая подвергает сомнению самоочевидные особенности современной политической мысли, тем самым поощряя реформы и изучение новых путей. В-четвертых, необходима *практическая наука* о политике, т.е. наука должна делать адресатом собственных исследований не только круг политологов, она также должна искать контакт с политической практикой и влиять на нее – как когда-то, хотя и в совершенно других условиях, делали Аристотель и Конфуций.

Разумеется, есть много политологов, которые уже выполняют свою работу в космополитической и сравнительно исторической перспективе, которые стремятся к критическому и практическому отношению к политике своей страны и своему времени. Поскольку такие ученые, разумеется, в разной степени и в разных областях формируют практику политологии, эта дисциплина имеет хорошую перспективу. Но там, где все эти четыре требования не выполняются, мы можем констатировать развитие кризиса.

III. Кризисные симптомы политической науки

1. *Сциентистская рутина вместо практической науки*

Та самая «поведенческая революция», которая после Второй мировой войны изменила (хотя и с задержкой в некоторых стра-

нах) всю политическую науку, привнесла с собой триумф действительно научного анализа политических институтов, процессов и их наполнения. Ключевой принцип заключался в том, что не существует логических различий с точки зрения проведения исследования между естественными, социальными и гуманитарными науками и что в лучшем случае те или иные методы сбора и анализа данных отличаются друг от друга лишь в зависимости от выбора предмета исследования. Тот факт, что этот принцип в дальнейшем стал распространяться на учебники и учебные программы, научные исследования и издательскую практику, воспринимался положительно. Представляется также правильным, что социально-научное учение о методах стало обязательной дисциплиной в рамках учебных программ по специальности «Политическая наука».

Наряду с традиционным взглядом на политическую науку как *мастерство*, которое постигается посредством обучения философии, юриспруденции и истории, и как *искусство* заниматься практическими политическими проблемами появилось представление о политической науке как о *ремесле*, постигаемом в соответствии с надежными процедурными правилами. Этот образ стал преобладающим и превратил политологию в нормальную дисциплину в рамках общественных наук. С тех пор она включала в себя теоретическую работу и как следствие – построение гипотез, тщательное составление выборки и исследуемых казусов, методологически обоснованный сбор и анализ данных, который больше не работает исключительно со средствами классической герменевтики, но также использует статистические данные и математическое моделирование. Кроме того, научные статьи по политической науке обрели четкую структуру: исследовательский вопрос, степень разработанности проблемы, выбор метода, представление результатов, интерпретация данных, выводы с точки зрения дальнейшего изучения и практики. Нет ничего ошибочного и вызывающего критику в такого рода «сциентизме».

Однако некоторые победы приносят и проблемы, если победитель сначала становится самоуверенным, а затем отказывается учиться. Такова была судьба политологического сциентизма везде, где он превратился в рутину и стал тривиальным. Последний наиболее отчетливо заметен в статьях, представленных в специализированных журналах. Довольно часто из высокоабстрактных теорий берутся гипотезы, выведенные лишь для того, чтобы их операцио-

нализировали и протестировали (видимо, для демонстрации соответствующих методологических возможностей). Эти гипотезы при этом зачастую выдвигаются без учета их научной или даже политической значимости. Например, предполагается, что в силу максимизации полезности единомышленники в парламенте (правда, при условиях X и Y) будут объединяться во фракции и таким образом достигать коллективных решений. Это утверждение проверяется на основании данных парламентского голосования, и в итоге мы получаем доказательство того, что каждый политический обозреватель и так знает: главным образом при парламентской форме правления парламентарии практикуют фракционную дисциплину! По сути дела, здесь заново получены давно проверенные повседневные знания, которыми владеют политики-практики. Иногда даже кажется, что некоторые авторы практикуют политологию, не будучи наделенными политологическим «музыкальным слухом», т.е. не имея интуитивного базового понимания своего предмета. Такие тексты затем приводят к «политической науке без политики», которая так же бессмысленна, как музыковедение без музыки. Конечно, нет ничего смертельного в том, чтобы «научно доказывать» уже известные вещи или объяснять их по-новому. Но большая часть исследовательской энергии тратится впустую, если при этом выявлено слишком мало чего-то действительно нового.

Шансы для достижения научного прогресса путем открытия нового значительно сокращаются, когда (и такое поведение часто представляют подрастающему поколению политических ученых в качестве само собой разумеющегося) осторожная дальнейшая проработка уже известных теорий заменяет собой смелые предположения, которые часто требуют смелости даже для их формулировки, не говоря уже о готовности подвергнуть их впоследствии тщательной проверке. Научный прогресс также не происходит, если искать эмпирические казусы, которые приводятся для демонстрации публикационной и профессиональной пригодности или наличия навыков и компетенций по теоретизированию, моделированию и статистике. Научный прогресс также не достигается, когда молодые ученые должны заботиться больше о приспособлении к установленным формам мышления и соответствующим возможностям публикации, вместо того чтобы находить академическую среду, в которой они получают отклик на готовность к анализу постоянно возникающих политических проблем и их возможных решений.

Тем не менее для нового зачастую может еще не существовать «проверенной теории», а для его анализа, возможно, совсем нет никакого «проверенного исследовательского подхода». Количественное исследование, как «жемчужина политологического сциентизма», не всегда возможно. Часто более уместен качественный подход, особенно если это касается выработки новых теорий, основанных на выявленных объективных фактах. Однако на репутационной шкале политической науки качественным исследованиям зачастую отводится место в самом низу, что в итоге создает невыгодные стимулы. В учебных программах полноценное образование вряд ли возможно, если обучать лишь количественным методам. Ощущается нехватка преподавания качественных методов исследования и обучения молодых ученых соответствующим навыкам. Заявление об использовании качественных методов зачастую воспринимается как привилегия, заключающаяся в возможности не соблюдать строгие научные правила. Некоторые воспринимают «качественное исследование» как применение интуитивной практики по принципу «сделай сам».

Кроме того, совершенно неверно ведут себя редакции политологических журналов и аттестационные комиссии. Зачастую ставка делается именно на конвенциональность, общепринятость. Приращение знаний относительно уже известного представляется более безопасным для академической репутации, чем открытие нового или даже комбинация далеко разбросанных исследовательских паззлов, что способно привести к новому образу или новому восприятию контекста. Во всяком случае, не стоит удивляться, что политологи, которые видят свою главную задачу в производстве мелкомасштабных «трудов» на второстепенную тематику, ограждают себя от интеллектуального дискомфорта прикладных политических вопросов, защищая свое узкоспециализированное.

К сожалению, к узкому исследовательскому горизонту причащают уже во время учебы. То, что начинается как изучение отдельных «образцов» без каких-либо претензий на аналитическое обобщение, зачастую продолжается как стремление к «специализации», причем еще до получения первой академической степени. Также поощряется, если бакалаврские и магистерские программы стремятся выработать такой образовательный подход, который ведет к тому, что специализированное содержание будет пересекать дисциплинарные границы. В итоге один становится специа-

листом по «европейским исследованиям», а другой – специалистом в области «администрирования». Однако лишь немногие становятся политическими учеными, которые понимают масштаб того, что действительно играет роль в политической деятельности или в функционировании институтов, т.е. то, что действительно значимо для преодоления аналитических и практических недостатков. Конечно, трансдисциплинарность и синергия нескольких дисциплин представляют важность, особенно когда речь идет о решении практических проблем. Однако невозможно представить, чтобы один ученый мог быть вполне компетентным более чем в двух или трех дисциплинах и иметь базовое понимание о подходах и результатах исследований всех других дисциплин. Предпосылкой транс- и междисциплинарности считается поэтому дисциплинарное (предметное) образование. Для политической науки это представляется особенно правильным, так как считают, что именно благодаря сциентизму она стала чем-то большим, чем «междисциплинарный» подход к политике, просто объединяющий точки зрения права, истории и философии. Продолжение такого подхода (что в настоящее время считается правильным) к «междисциплинарным учебным программам» может привести в скором времени к кризису политической науки по части отбора талантливых молодых ученых и их дисциплинарного самоопределения.

Только особые формы проблемного взаимодействия, где, с одной стороны, специализация, а с другой стороны, «междисциплинарность», представляют собой актуальный путь развития. Например, если предмет «Международные отношения» делают полностью самостоятельным и убирают из его учебной программы все, что связано с политической наукой, то это выглядит так, как если бы международные отношения считали стабильным объектом исследования без учета влияющих на их структуру воздействий государств и их функциональных эквивалентов. Существует и разделение между политической теорией и эмпирической политической наукой. При этом, с одной стороны, в области политической теории часто уклоняются от эмпирического обязательства проверять свои утверждения, заявляя: «Это только теория!», а с другой стороны, довольствуются иллюстрацией отдельных случаев, снимая с себя обязанности провести исследование в соответствии со строгими методологическими стандартами, заявляя: «Это всего лишь качественное исследование!» И возникает тенденция искать

важные проблемы политической науки в «дискурсах», которые благодаря их письменной форме гораздо легче понять и проанализировать, чем те социальные процессы, которые только отражаются в политических дискурсах, но не исчерпываются ими.

Усиление сциентизма в политической науке приводит и к разграничению роли ученого и гражданина. Для Платона и Конфуция было само собой разумеющимся использование такого стиля мышления, который включался в формирование сообщества и выходил за рамки просто политического мнения. С Макиавелли было то же самое. Он сильно страдал от невозможности перевести свои аналитические идеи (полученные как из современной ему, так и из римской истории) в некоторую сформированную им политическую практику. Безусловно, для появления столь желанной эмпирической науки о политике было полезно и даже необходимо понимание, что оценочные суждения о «должном» (*das Sollen*) никогда не смогут заменить знания о «сущем» (*das Sein*). Оценочные суждения в исследованиях не приводят к хорошему результату, потому что только сотрудничая и споря по сложным проблемам в рамках реальной совместной работы можно получить полезный результат. Но всё же из спроса на важную для политической науки свободу выражать оценочные суждения часто вытекает утверждение, что политологу позволительно излагать свои политические взгляды даже в том случае, когда он не может обосновать их научно «как правильные». Действительно, почему тот, кто более осведомлен с точки зрения политического содержания, процессов и структур, чем многие сограждане, со всеми своими знаниями в области политических наук, не должен участвовать в политических дебатах?

В сущности, сциентизм делает политическую науку стерильной, когда ставит знак равенства между отказом от оценочных суждений в процессе научного исследования и принципиальной обязанностью политологов отказаться от политического позиционирования. В конечном итоге это будет означать, что политолог должен стать «политическим евнухом»: либо прекратить свою политическую деятельность, либо, оставаясь в ней, не использовать свои специализированные навыки в области политологии. Однако первое приводит только к тому, что политическая наука вовлекается в политическую безответственность и ищет себя где-то между политическим наемничеством и аполитичным отрешением от всего

мира, а второе просто неустойчиво на практике, что приводит в лучшем случае к притворству или лицемерию.

2. Желание понравиться вместо критики системы и идеологии

Представляется желательным не только понять, но и из хороших побуждений принять тот факт, что политологи в диктаторских или полусвободных обществах стремятся оберегать свой подверженный опасности предмет (дисциплину) и даже свою собственную безопасность, осторожно избегая политических споров и вызовов власть имущим. В конце концов, свобода, здоровье и жизнь первостепеннее, чем свобода науки или стремление к самопознанию, иными словами – удовольствие от оригинального мышления и политической аргументации. Но в плюралистических демократиях нет оснований для такого плоского восприятия и отношения, однако даже там политические ученые не лишены политического оппортунизма. Нередко случается, что политологи следуют преобладающим политическим способам мышления и аргументации или, по крайней мере, стараются им не противоречить. Мотив заключается не в том, чтобы не задеть и не вызвать у кого-то неудовольствие, а чтобы обеспечить дружеские аплодисменты от тех, кто задал тон, особенно в тематических статьях и специализированных журналах. Это «позитивное» поведение, которое укрепляет существующие условия и уже запущенные политические дискурсы.

В этом нет ничего дурного до тех пор, пока существующие условия хороши, а соответствующие дискурсы рационально подкреплены и ориентированы на факты. Поэтому, если политологи положительно относятся к плюралистическим демократиям и их либеральным фундаментальным порядкам, это похвально. Только не существует «закона природы», что с точки зрения содержания или долгосрочной перспективы развития свободного общества является правильным все то, что думают, говорят, желают и делают представители и защитники таких обществ. Также возможно, что среди них могут стать нормой определенные привычки мышления и поведенческие практики, которые, хотя и появились из благих намерений, все же не служат продолжению существования поли-

тической свободы. Сегодня это тот случай, когда именно ради демократии мы сошлемся на совет Вольтера о том, что можно решительно бороться с политической позицией другого человека, если ты с ней не согласен, гарантируя в то же время, что эта позиция будет представлена в политической дискуссии. Только такое отношение делает возможным плюрализм и демонстрирует его преимущества, а именно то, что из спора по поводу фактов, логики рассуждения и ценностных оценок можно лучше узнать о слабых сторонах собственной позиции, а затем улучшить их. Понятно, что плюрализм нуждается в минимальном консенсусе, потому что без него желаемая дискуссия быстро превращается в борьбу, а обсуждение перерастает в насилие. Однако достигнутый консенсус должен быть действительно минимален. В сущности, он не должен охватывать больше, чем уважение прав человека (в том числе права на отличное от других мнение); принцип ненасилия; взаимное соглашение о том, на какую площадку должен быть вынесен тот или иной спор: какой будет решаться в суде, какой в парламенте, а какой – на улице во время демонстрации.

Однако всё чаще можно наблюдать, что в университетах препятствуют выражению противоположных мнений при участии самих политических ученых. Они требуют, чтобы не допускались ранее приглашенные докладчики, срывают их лекции, мешают проведению подиумных дискуссий с участниками по чисто политическим мотивам. Под такое отношение подводят отдельные спорные проблемы или позиции, которые считаются «политически некорректными», иными словами, они отвергаются по этическим или интеллектуальным причинам и поэтому не допускаются к обсуждению на равных. При этом на предметы, в отношении которых дается оценка как «политически корректных» или «политически некорректных», не распространяют принципы минимального плюралистического консенсуса. Хотя и заявляют, что «политически неверно» ограничивать права человека, имеющего отличное мнение, применять насилие в споре или умышленное уклонение от правил, предписанных отдельно взятой площадке для разрешения спора. Однако некоторые конкретные политические позиции делятся на «правильные» и «неправильные», а отстаивание «правильных позиций» само по себе является предпосылкой к политическому конфликту. Такое отношение вызывает проблемы, когда политические ученые требуют выработать ограничения на допуск

к дискуссии ввиду политической компетенции и авторитета, вместо того чтобы защищать право каждого на несогласие и альтернативное мышление, что, в свою очередь, является предпосылкой политической науки. На самом деле, немало политических ученых считают, что людям с «политически некорректными» позициями нужно не только противостоять, но и отнимать у них любую площадку для распространения своих взглядов. В принципе, считается необходимым вообще исключить их и их мнение из политического дискурса.

Такое отношение еще можно в определенной степени понять, принимая во внимание вынесение за скобки по политическим причинам споров по поводу тех вопросов, которые основываются на фактах. Например, действительно ли Холокост имел место и сколько миллионов людей в нем погибло. И хотя задача не политики, а только науки отвечать на вопросы о фактах, вопрос о действительности и масштабах Холокоста (по крайней мере, в Германии) зачастую бывает тесно связан с вопросом о свободной системе правления в целом. Отстаивание последней, безусловно, является задачей политологов, которые хотят внести позитивный вклад в общественную дискуссию своей гражданской позицией. В какой-то мере изоляцию инакомыслящих еще можно понять также в спорах о понятиях, имеющих сильную политическую нагрузку. В политическом дискурсе они могут разлагать или дезорганизовывать политическую власть, например, обсуждениями вопросов о существовании различных человеческих «рас» или «является ли отдельно взятое государство диктатурой». Здесь также стоит согласиться, что именно гражданские устремления политолога могут побудить его к попыткам одолеть инакомыслящего не с помощью аргументации, а путем исключения его из дискурса.

Однако в случае спорных вопросов, которые полностью подчиняются свободе выражения мнений, такое отношение не может быть понято так же легко. В качестве таких вопросов можно выделить, например, следующие: может ли миграция создавать проблемы для принимающего общества, и в частности: каково должно быть число мигрантов за один квартал или какие культурные различия и проблемы есть между мигрантами и людьми, уже долгое время проживающими в стране, какие формы и масштабы примут эти проблемы? Кроме того, это касается тех тем, в которых политическая наука может сделать важный вклад в объективацию

подобного рода дебатов. Большое влияние оказывают факты, вероятностные оценки и ценностные приоритеты с ориентацией на определенные интересы. Тем самым предоставляется возможность для научного разъяснения того, что действительно будет иметь место, или того, на что можно надеяться. Тем не менее именно в вопросах подобного рода наблюдается тенденция, когда политические ученые ориентируются на те позиции, которые в настоящее время преобладают в политике и общественном мнении. За правило поведения берется принцип: по возможности никому не перечить, не получать аплодисментов от «неправильной стороны», не рисковать, чтобы не выделяться. Однако такая оппортунистическая практика затягивает политическую науку далеко в сферу влияния культурной гегемонии и подчиняет ее доминирующим чисто политическим взаимосвязям. В случае, если исследовательская деятельность в области политических наук напрямую зависит от государственных (т.е. политически подконтрольных) субсидий, можно наблюдать, как финансовая сторона дела пронизывает поведение политической науки. В таких условиях политологи мало чем могут помочь по части урегулирования политических кризисов. Скорее, они становятся политическими и научными авторитетами, которые утверждают, что защитники тех, кто своими действиями вызвал те или иные кризисные явления, дают повод для нежелательной критики политической системы как «политически неправильной».

С таким приспособленческим отношением к системе и политике политическая наука становится покорной служанкой правящего политического класса. Это можно понять в диктаторских режимах; в плюралистических демократиях, однако, это поражает и вызывает недоумение. Наиболее подходящая задача для политической науки здесь – критика системы. Это означает: нужно задаваться вопросом о существующем (порядке), обнаруживать его слабые стороны, давать оценку конкретному политическому порядку и проводимой в его рамках политике на основании прозрачных и открыто обсуждаемых стандартов оценки, чтобы, в конечном счете, конкретные предложения по реформе могли быть рассмотрены с некоторой вероятностью на успех.

В 1960–1970-е годы, когда (нео)марксизм переживал ренессанс в политической науке, для многих коллег было почти само собой разумеющимся принимать исключительно критическое, а не

поддерживающее отношение к существующему экономическому, общественному и государственному устройству. Вероятно, во многом это было связано с тем, что тогда марксизм, отвергающий капитализм, был на волне популярности, а в соответствии с ним, чтобы быть критичным, не требовалось что-либо обосновывать. Между тем критически настроенное тогда поколение заняло ведущие позиции в обществе, политике и экономике и привело на влиятельные посты последователей, сформированных по их же образу и подобию. Достигшие тем самым своего культурного и руководящего положения лидеры, возможно, переживают, что критика системы (на сей раз прежде всего со стороны правых популистов) направлена против нее самой и ее политического наследия. Несомненно, в таких обстоятельствах прежнее удовольствие критиковать уступает место желанию сочувствовать всему тому, в создании чего сам принимал участие. Это ничем не отличается от поведения всех бывших, некогда могущественных, а затем почувствовавших закат своей эпохи, поколений. Словом, это вполне понятно, когда вместе со сменой политических поколений и сами политологи начинают колебаться между гражданской критикой и сочувствием.

Однако это далеко не первостепенная задача политологов – дрейфовать на таких волнах политико-культурной диалектики. Скорее критика в выше очерченном смысле является профессиональной долгосрочной задачей. Она проявляется не только как критика системы, но и как критика идеологии. Это подразумевает критику современного господствующего образа мысли, который направляет в определенное русло любую возможную политическую практику. Ведь для критической политологии постоянно необходима и критическая рефлексия по поводу особой перспективности, избирательности и нормативности собственного политического мышления. Критика, которая относится к личному политическому мышлению «с сочувствием», в принципе представляет собой не больше, чем экспрессивное желание. Это желание политолог может практиковать в роли гражданина страны, однако это оставит его позади всего того, что он как политолог мог бы сделать.

Чтобы предложить действительно полезную критику системы и идеологии, политическому ученому нужно выработать довольно твердую позицию, которая будет (насколько это возможно) независимой от специфической для конкретного времени полити-

ческой и дискурсивной моды. «Нормативная политология» (т.е. научная выжимка из политики, строящаяся на рациональном объяснении оценочных суждений) предлагает здесь предпосылки для оценочных суждений, помогающих политологу выйти за пределы того уровня суждений, которого уже не хватает в политическом повседневном дискурсе. В сущности, до Макиавелли политология в целом была такой нормативной наукой, при Аристотеле – наукой о «хорошей жизни» (благе), которую можно достичь через правильную политику. Но и Макиавелли формулировал оценочные суждения, даже если он относил их к эффективности политических мер: хорошо всё то, что позволяет достичь желаемой цели. Для политологов-марксистов «нормативное» тоже не было проблемой: «Политически было хорошо то, что возникло из партийной солидарности с целью освобождения от ненужного, особенно тисков капитализма». А для консервативного политолога Лео Штрауса релятивистская, либеральная политология, которая не ставила «должное» в центр политической мысли, была бессмыслицей.

Однако в понимании того, что из сущего может проистекать должное (во всяком случае, в чисто техническом, а не в этическом и, следовательно, политическом смысле), нельзя обращаться лишь к доводам разума. Поэтому *классическая* нормативная политическая наука уже невозможна. Но если бы политическая наука решила покончить с бывшей ролью «ориентирующей науки», которая обосновывала свою практическую ценность надежной постановкой норм и целей, то это была бы цена, которую нужно было бы заплатить за прорыв в научном исследовании политики. Однако еще не понятно, будет ли эта цена действительно заплачена. Скорее всего, нормативная политология будет основываться на новых принципах. И то, что на сегодня здесь имеется только программа, а не практика, также способствует кризису политической науки.

С одной стороны, на данный момент было бы лучше, если бы политическая наука исходила из эмпирически-антропологических, а именно: социально-биологических и эволюционно-психологических оснований. В этом случае такие понятия, как «нравственная интуиция», приобрели бы прочный эмпирический смысл, который вышел бы далеко за рамки статуса «философской концепции». То, что пытались измерить (понять) такие классики, как Аристотель или Гоббс, в своих размышлениях о «природе человека» путем сравнения небольшого количества наблюдений, а также сложных рассуж-

дений, уже давно можно объяснить эмпирически с точки зрения науки, хотя исследования всё еще далеки от полного осуществления этих познавательных интересов. Однако теперь ясно, что «моральное априорное знание» на индивидуальном уровне существует так же, как и «гносеологическое априорное знание», и оно является при этом *онтогенетическим* априорным знанием для отдельно взятого человека, но *филогенетически* оно является апостериорным (знанием, основанным на опыте), т.е. представляет собой результаты миллионов лет эволюции нашего вида. Осознание этого не отменяет никаких моральных или политических решений, так же как и знание эпистемологических априори не освобождает нас от выбора между конкурирующими теориями или методами исследования. Тем не менее ключевой интуитивный принцип классической нормативной политической науки, что не все нормы чисто произвольны, если впоследствии формируется «хорошая жизнь» или, по крайней мере, устойчивое развитие, по-видимому, подтверждается эмпирически.

С другой стороны, можно легко заметить логическую структуру оценочных суждений в политической науке, которая к этому стремится. Но это позволяет принимать меры по улучшению практики оценочных суждений. По существу, оценивание состоит из трех элементов.

Во-первых, существует свидетельство об оцениваемом объекте, а именно о его существовании и его свойствах. Такое свидетельство может быть чем-то, находящимся между эмпирически подтвержденным (истинным) и эмпирически опровергнутым (ложным). Во всяком случае, оно должно быть конкретизировано путем проведения научной работы до тех пор, пока оно действительно не совпадет с фактами, т.е. пока не станет истинным с эмпирической точки зрения. В противном случае оценка просто не достигнет результата, поскольку она будет относиться к несуществующему положению дел, которое не существует или основывается только на оценочном суждении.

Во-вторых, существуют критерии оценки, например, нормативной теории, в которой говорится, какое действие хорошо, а какое плохо. Такими теориями были бы теория справедливости Джона Ролза или утилитарные размышления Джереми Бентама. Конечно, убеждение может быть доказано, т.е. эмпирически может быть как истиной, так и ложью. И хотя нормативная теория может быть логически безошибочной, она также может быть эмпирически ни

истинной, ни ложной, потому что нет перехода между «сущим» и «должным». Во всяком случае, она может и должна быть по логике причинно-следственных связей «нормативно полезной», т.е. при исполнении того, что должно быть сделано, проявить именно те эффекты, которые она представляет в качестве «благоприятных». Таким образом, критерии оценки всегда могут быть включены в оценку только в результате принятия решения, а не эмпирического исследования. Поэтому выбор критерия оценивания всегда является спорным и обычно не безальтернативным. Здесь, следовательно, мы неизбежно покидаем сферу ответственности сциентизма.

В-третьих, подлежащие оценке факты и выбранный критерий оценки объединяются в оценочное суждение на том основании, что, подчиняясь требованию логической корректности, приводится аргументация того, в каком качестве оцениваемое положение дел выделяется в свете используемого критерия, а именно: как (скорее) хорошее или как (скорее) плохое. Оценка имеет очень сложную структуру, которую маскирует наша легкость при выражении оценочных суждений, но также указывает на то, что они находятся под определенным рациональным контролем. Это, в свою очередь, неблагоприятно для политической практики, потому что, с одной стороны, она во многом формируется оценочными суждениями в очень специфическом масштабе, но, с другой стороны, эти оценочные суждения часто бывают ошибочными. Что-то выбранное в рамках общественного развития как объект оценивания может быть взято ошибочно или в неполной мере; используемый критерий оценки может быть нормативно бесполезным или может быть подобран чисто интуитивно (на основании ощущений), а аргументация, лежащая в основе критерия оценки и объекта исследования, может оказаться логической ошибкой.

Таким образом, практика нормативной политической науки означает следующее: имеются практически полезные и нормативно применимые критерии оценки; значимые с практической точки зрения политические оценочные суждения принимаются на основании таких – вполне альтернативных – критериев оценивания и вводятся в политическую дискуссию; используемые в политическом дискурсе оценочные суждения подвергаются проверке на наличие вышеуказанных ошибок и при необходимости дорабатываются. С помощью всех этих достижений политическая наука сделала бы очень важный *критический* и при этом *конструктив-*

ный вклад в такие дискурсы, которые касаются нынешней политической практики. Она же страдает от того, что политическая наука ввиду неразвитости ее нормативной составляющей в направлении эмпирической политической науки не может сделать этот вклад заслуживающим доверия. При постановке политических целей это часто приводит либо к волюнтаризму, либо к оппортунизму – и демонстрирует политикам, что при принятии сложных политических решений им не стоит ожидать от политической науки чего-то, что может указать путь. За этим нередко следует демонстрация презрительного отношения к политической науке со стороны тех практиков, за которых также, в свою очередь, часто бывает стыдно.

Альтернативой становится так называемый политический акционизм политических ученых в партиях, ассоциациях и фондах, при котором ежедневно оглашаются политические позиции в средствах массовой информации, в интервью и комментариях. Ведут свою деятельность и политические консультанты, основываясь на политических предпочтениях или, в худшем случае, на оппортунизме. Это очевидно не самое лучшее представление политической практики. В отличие от эмпирического знания эти оценочные суждения и наставления не прорабатываются систематически и не тестируются на основе строгих критериев качества. Таким образом, политика лишается большей части «критических знаний об устройстве порядка», в которых политическая деятельность, несомненно, нуждается. В сущности, становится ясно, что исследовательская область классической нормативной политической науки еще не раскрыла потенциал далеко обогнавшей ее эмпирической политической науки. Однако тот, от кого профессия требует бежать, в то время как он пока не способен ходить на двух одинаково длинных ногах, может, вероятно, впасть в кризис: сначала в кризис своей работоспособности, а затем и в кризис профессии в целом.

3. Зацикливание на настоящем вместо исторического холизма

Политика существует с тех времен, как люди живут вместе в сложных общественных организациях. До момента появления передовых цивилизаций, государств и структур у них были предшественники. Однако врожденные физические свойства и эмоции,

познавательные способности и нравственные устои сегодняшних людей, похоже, остались неизменными в течение сотен тысяч лет эволюции. То же самое можно сказать и о многих проблемах, которые могут быть решены благодаря политике: рутинное обеспечение кооперации и случайное возникновение коллективных действий; приобретение и распределение продуктов питания или товаров для ежедневного использования; организация и разделение труда; защита от злоупотребления ресурсами; создание и поддержание институтов; защита против врагов; связь бытовой жизни через социальную организацию с религиозностью; обеспечение легитимности власти господства.

В разные времена на разных территориях объем знаний варьируется. Предыдущие проблемы решаются, новые возникают, — так меняется наша действительность. Аналогичным образом, в зависимости от географических и геополитических обстоятельств, общество или политическая система во всех странах обладают отличными друг от друга свойствами. Кроме того, недетерминированная трансформация этих взаимодействий в уже сформированный порядок всегда приводит к созданию конкретных способов регулирования власти, к определенным институциональным формациям. Каждый существующий политический процесс, структура сходны с человеческими языками, происхождение и развитие которых столь же непредсказуемы. Однако, как только язык становится известным, обычно можно узнать, какие правила следуют за формированием конкретных предложений, как формируются грамматика и синтаксис, которые ограничивают случайность при формировании предложений.

Аналогичным образом, изучая документально подтвержденную историю политической деятельности человека и формирование политической структуры и инструментов контроля, можно увидеть, какие «языки» или «грамматики» были созданы, т.е. как создать порядок при большом разнообразии повседневной политики и повседневной истории. Однако здесь требуется широкий взгляд на историю политики. Для достижения исторического холизма в политико-аналитическом представлении требования для политологов следующие: обширное историческое образование, а также владение теоретическими инструментами, которые повышают устойчивость результатов, несмотря на меняющиеся детали «histoire

événementielle»¹ (Фернан Бродель). Нужно понимание, что предмет политической науки должен быть не просто современной политикой, и тем более он не может быть ограничен в узком смысле политикой своей собственной страны. Скорее политическая наука, стремящаяся использовать свои аналитические возможности, должна учитывать совокупность всех проявлений политического содержания, процессов и структур *в прошлом и настоящем*. Если этого не сделать, а смотреть только на «интересные отдельные случаи», то их сложно интерпретировать. Велика вероятность, что что-то подобное уже происходило. Необходимо выявить общие черты политического, в этом случае вы получите политико-научные знания. Таким образом, политическая наука должна использоваться не только в сравнительной, но и в *историко-сравнительной* перспективе.

В то время как современная политологическая компаративистика является хорошо упорядоченной областью исследований, она совершенно отличается от историко-сравнительной политологии. Большинство политологов выбирают настоящее, с короткой историей или без нее, как свою реальную, даже единственную область работы. Всё остальное обычно оставляют историкам. Это звучит разумно тогда, когда речь идет о научном исследовании источников, т.е. о собственно исторических исследованиях. В то же время гораздо менее разумно исключать вторичный анализ или метаанализ исторических исследований из области политологии. Во всяком случае, это представляло бы явный разрыв с традицией в классической политической науке, которая была тесно связана с историческими взглядами. Для таких исследователей, как Макс Вебер или Эрик Фёгелин, вполне естественно сравнивать прошлые политические формы порядка с современными политическими системами. Новейший исторический институционализм в стиле Баррингтона Мура или Чарльза Тилли продолжил этот подход. Однако исследования, сосредоточенные на больших масштабах и основанные на исторических синтезах, такие как многотомная «История правительства» С.Е. Файнера, по-прежнему представляют собой исключительные достижения политической науки, основанной на исторических материалах. Пока это не изменится, наука

¹ История событий (фр.) – один из уровней рассмотрения действительности наряду с историей повседневности и с большой длительностью (*longue durée*).

о политике не сможет распознать «грамматику» и «синтаксис» политического и вряд ли сможет отличить новый тренд от повторяющихся «политических сценариев».

Теории истории, которые должны были извлечь текущую полезную информацию из того, что уже произошло, были довольно многочисленными. Они варьируются от «теории конституционных циклов» у Аристотеля и Полибия до социального дарвинизма у Герберта Спенсера и до непосредственно исторической теории исторического материализма. Все попытки политически понять будущее и, следовательно, придать событиям политическое значение ожидаемо потерпели неудачу: во-первых, исторические процессы не предопределены, а во-вторых, отсутствует предсказуемость нетривиальных и не краткосрочных политических событий. Возможность исторических пророчеств складывается из предсказуемости грамматики и синтаксиса языка говорящего. Однако такие прогнозы не являются даже лингвистикой, но невозможность предсказать будущие предложения никоим образом не мешает найти грамматику и синтаксис этого языка. Политология может извлечь из этого уроки. Нет никаких сомнений в том, что предпринимаемые попытки не смогли извлечь из исторического анализа информацию о политическом будущем. Но это не снижает когнитивную ценность исторического институционализма. Он позволяет лучше понять взаимосвязь между зависимостью исторического пути и трудностью предвидения посредством сравнительного исторического анализа; признать условия возможности возникновения «критических стечений обстоятельств» и в результате – получить идеи о политических пространствах возможностей. Тем более что для таких исследований было бы полезно понимание культурной и институциональной истории как эволюционного процесса в теоретическом значении этого термина (т.е. вариации, отбора, дифференциального удержания, динамики популяций и т.д.).

Не менее полезным было бы также использование морфологических концепций в историческом сравнительном системном анализе: гомология как сходство по общему происхождению, аналогия сходства, адаптация к тем же условиям окружающей среды, гомодинамика как подобие в силу тех же врожденных способностей. Но сегодняшняя политическая наука оставляет такие возможности в значительной степени неиспользованными и искренне боится быть наукой о политическом обрамлении настоящего и его

истории. Однако эта неуверенность постоянно всплывает, что особенно заметно, когда политики обращаются за советом к историкам, но не к политологам, обсуждая с ними, что следует сделать и как это отразится в ближней и дальней перспективе. Для политической науки с амбициями ее древних основателей такая реверсия должна быть сигналом кризиса.

4. Западный этноцентризм вместо аналитического космополитизма

Несомненно, политология по-прежнему остается наукой Запада, несмотря на институты политических наук и учебные программы на глобальном Юге. Кризис возникает из тех политических проблем, которые формируют сегодняшний «Запад»: индивидуализм против коллективизма, религия против политики, закон против суверенитета, свобода против государства. Ему подвержены идеи, в которых предстает эволюция «западного государства»: миротворчество, права человека, участие, демократия. Хотя было много отправных точек для появления отдельной науки политики как в китайской, так и в исламской культурной истории, сегодняшняя политическая наука появилась только на Западе. Помимо упадка Османской империи и Китая и мирового гегемонистского подъема Запада в конце XIX в., можно привести следующие причины этого: отсутствие традиции приоритета гражданского представительства по отношению к политической власти; отсутствие разделения религиозно-трансцендентного и чисто политического контекста; отсутствие идеи эмпирической науки, отличной от простого мастерства.

Не является парадоксом, что западный этноцентризм современной политической науки также в значительной степени способствует внедрению английского языка как международного научного языка. Использование английского языка сужает широту западного политического мышления и ориентирует его на разговор лишь с теми концепциями и утверждениями, которые соответствуют миру и представлению проблемы, уже семантически и синтаксически встроенному в английский язык. Этот специализированный язык, который также ограничен французскими, испанскими или немецкими размышлениями, становится узким местом, через которое дол-

жен проходить азиатский или африканский политический опыт. Большинство политологов работают в англосаксонских университетах, общение между экспертами проходит на английском языке, что сокращает горизонт интерпретации и объяснения политической науки в других языках.

В связи с этим неудивительно, что китайские идеи о дао, гармонии или существующие там обряды интересны для политологов, культурных антропологов или философов. Нечто подобное должно относиться и к политически важным концепциям исламских правовых школ. Таким образом, большая часть политического опыта отражается в незападных культурах, которые оторваны от того, что анализирует политический ученый. В этом случае рамки понимания западной политической науки накладываются на совершенно по-разному построенные в культурном смысле политические порядки.

Мы понимаем смысл политических структур через западную культуру. Именно Запад находился во главе мировой силовой пирамиды, строя и расширяя свою политическую науку. Европейские государства экспортировали свои институциональные формы в Северную и Южную Америку, политически реорганизовали Африку и Ближний Восток и свергли диктатуры в надежде на демократию, которая возникнет с их помощью, и сегодня призывают Россию и Китай сделать все возможное для продвижения их политических идей и установления порядка. В то же время западная политическая наука экспортировала свои концепции, теории и формулы дискурса для остального мира, пытаясь изменить систему и идеологически критическое мышление в других политических культурах. В настоящее время Запад всё более и более уменьшает свою регулирующую власть, в возникающие лакуны которой проникает, в особенности, Китай. С другой стороны, всё более предсказуемым становится то, что не только мусульманские интеллектуалы будут продолжать отвергать западное политическое мышление, но вскоре и их китайские коллеги начнут изживать западную политологию так же, как когда-то марксизм, а столетия назад – буддизм.

Перед лицом таких событий должны ли мы смириться с тем, что китайская политическая наука, претендующая на лингвистическое равенство, сталкивается с англоязычной западной политической наукой? Или было бы лучше начать с западной политической науки, пытаясь понять политическое мышление других культур и

интегрировать свои концепции самопознания и концептуальную карту в науку о политике для всех культур? Конечно, это было бы лучше, потому что тогда различные течения политической мысли могли бы объединиться. Это стало бы столь же плодотворным, как когда-то мысли о греческом полисе соединились с политическим мышлением римлян, основные идеи христианства соединились с варварским горизонтом мысли германских народов. Однако для того, чтобы политическая наука двигалась в этом направлении, сначала необходимо осознать, что ее дальнейшее развитие приведет к интеллектуальному тупику, если она останется только в нынешних «ветвях» западной мысли. Кризис в сосуществовании которые снова стали подчеркивать свои особенности после окончания западной гегемонии, сопровождается кризисом в самой науке, которая всегда хотела помочь его преодолеть. Мы не должны допустить этого, потому что необходимо взять курс на четыре охарактеризованных выше выхода из надвигающегося кризиса современной политической науки: мы должны использовать аналитический космополитизм, сделать предметом сравнительно-синтетических политических исследований всю историю форм политических порядков, улучшить наши возможности, разработав надежную системную и идеологическую критику, и поставить нашу рутинную научную деятельность на службу по-настоящему практической науке о политике.

РАКУРСЫ

М.М. Мchedlova*

БУДУЩЕЕ КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ (К ДИСКУССИИ О ХАРАКТЕРЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ)

Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы политической эпистемологии. Современное осложнение познавательных процедур, исчерпание традиционно действенных концептуальных подходов, трансформация смыслов и значений универсалий и политических понятий являются маркерами ситуации перестраивания всех несущих конструкций политической онтологии. Дискуссии о кризисе теории и новые политические реалии коррелируют с размытием линейных политических и идеологических проектов, принципиальной негетерогенностью мира и познания, отражая непроявленность будущего и тревожность ожиданий.

Ключевые слова: политическая наука; политическая эпистемология; универсалия; критерии истинности; неопределенность.

М.М. Mchedlova

The future as apprehension (debate about the crisis of political science)

Abstract. The article considers the basic problems of political epistemology. Modern complication of cognitive procedures, the exhaustion of traditionally-effective conceptual approaches, the transformation of the meaning of universals and of political concepts indicate the reshaping of all basic structures of political ontology. The debate

* **Мchedlova Мария Мирановна**, доктор политических наук, заведующая кафедрой сравнительной политологии РУДН, главный научный сотрудник Института социологии РАН, e-mail: mchedlova@yandex.ru

Mchedlova Maria, Peoples' Friendship University of Russia, Institute of Sociology of Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia), e-mail: mchedlova@yandex.ru

about crisis theory and the new political realities correlated with the linear erosion of political and ideological projects, the principal the heterogeneity of the world and knowledge, reflecting ambiguity of the future and the anxiety of expectations

Keywords: political science; political epistemology; universal; criteria of truth; uncertainty.

«Зыбкие контуры» знакомого мира

Проблема эффективности интерпретативных возможностей политического знания становится точкой пересечения современных теоретических и общественных дискуссий. Их участники признают, что считавшиеся действенными концептуальные подходы исчерпаны, что необходимо расширить концептуально-понятийные поля современных политических теорий за счет включения новых параметров, внеположенных собственно политическому. Однако при более пристальном взгляде становится понятно, что происходящие качественные изменения социальной и политической реальности высвечивают познавательную потребность в новой логике интерпретаций и нового действенного познавательного инструментария, способного обеспечить адекватность и результативность научного поиска.

Высокий уровень неопределенности, по мнению А.И. Неклесса, ведет к тому, что «осмысление глобальной трансформации является сейчас едва ли не основным интеллектуальным занятием гуманитарного научного сообщества» [Неклесса, 2000, с. 46]. В результате «социальные, политические, экономические мутации образуют семантические конструкции, структура звеньев которых в каждом отдельном случае может быть ясна, но общий смысл остается темен, а механизм действия нередко обескураживает» [Неклесса, 2004, с. 136]. Не случайно все больше онтологическими основаниями современной политики признаются война [Хардт, Негри, 2006], страх [Дуткевич, Казаринова, 2017], риск [Бек, 2004]. Ульрих Бек признает: «В эпоху, когда теряется вера в Бога, класс, нацию, правительство, осознаваемый и признаваемый глобальный характер угроз превращается в источник взаимосвязей, в поле которых вдруг плавают и изменяются константы и референции политического мира, казавшиеся прежде незыблемыми» [Бек, 2004, р. 92].

Расплывающиеся параметры мира политики провоцируют всё громче звучащие заявления если не о «смерти политической

теории», то о ее «кризисе». Ускользающие от традиционных форм рефлексии параметры структур современности порождают скорее шумность, чем внятность обсуждения. Интуитивно схватываемые изменения субстанции и атрибутов социально-политического континуума создают обманчивые впечатления, более того – иллюзии исчерпанности эвристического потенциала гуманитарного знания. Эта проблема глубока и универсальна. Она относится скорее ко всему знанию, чем к отдельной области политики. Констатация данной ситуации становится ключевой посылкой знаменитой работы И. Валлерстайна «Конец знакомого мира», провозгласившей конец традиционной рациональности: «Стоящий перед нами вопрос заключается в том, является ли текущий момент каким-то особенным в свете постоянной конкуренции парадигм и их отражения в структурах знания. Я полагаю, что является. Но думаю также, что его особенности можно увидеть, лишь преодолев узкие специализации, выйдя за границы социологии и даже за пределы общественных наук. Я считаю, что мы переживаем момент, когда декартова схема, которая легитимизировала всю нашу университетскую систему и тем самым всю структуру специализаций, впервые с конца XVIII века серьезно ставится под сомнение. Мне кажется, что в ближайшие пятьдесят лет ее пересмотр приведет к масштабной институциональной реструктуризации. Пожалуй, пришла пора, когда нам всем следует обратиться к основным эпистемологическим вопросам, подлежащим обсуждению, – т.е. отвлечься от наших узких специализаций в пользу проблем, волнующих всех ученых» [Валлерстайн, 2004, с. 219]. Новый тип рациональности коррелирует с активным статусом субъекта познания, ключевая роль которого во многом заключается в формировании объекта, конструировании социальной реальности.

Интуитивное схватывание качественного видоизменения реальности корреспондирует с эпистемологическими «метавопросами»: устаревание традиционного понятийного аппарата, насущная потребность новых референций и референтов универсалий, действенность критериев истинности, размывание незыблемости дизъюнкций в конструировании знания и политическом метанарративе, крах веры во всемогущество инструментальности рационального знания, конкурирующие модели ориентиров развития, порождающие конкурирующие и альтернативные концептуальные пространства и онтологии.

На пороге новой эпистемологии

Современные трансформации и изменения в мире одномоментны, нелинейны, быстротечны и всеобъемлющи: «Указатели поставлены на колеса и имеют дурную привычку исчезать из вида, прежде чем вы успеете прочитать то, что на них написано, осмыслить прочитанное и поступить соответственно» [Бауман, 2004, с. 113–114]. В социальном знании подобными указателями выступают понятия, определяющие предметные поля концептуальных построений, размывание содержания которых ведет к искажению познавательных процедур и адекватности результата. Путь «исправления имен» тяжел, но необходим.

Имманентная апостериорность гуманитарного знания (Д. Лукач) в условиях стремительно меняющейся современности обуславливает его опаздывающий характер интерпретации и, как следствие, возможность использования традиционных смыслов понятий в различных, порой диаметрально противоположных идеологических и концептуальных схемах, диверсифицируя и обесценивая как теорию, истину, мораль, так и несущие политические конструкции, метанарративы и идеалы. Традиционные понятия не объясняют происходящие изменения, делая туманной нашу рефлексию. Поскольку концептуализация феномена в гуманитарном знании происходит гораздо позже его возникновения (так, идея цивилизации родилась в глубокой античности, а само понятие возникло только в XVIII в.), то сегодняшние изменяющиеся, трансформирующиеся, исчезающие с необыкновенной быстротой референты понятий уменьшают действенность понятийного инструментария. Для преодоления данной ситуации возникают различные конфигурации, среди которых наиболее очевидны следующие три: первое – употребление понятий с атрибутивным уточнением; второе – экспансия пустых понятий; третье – популярность определения «гибридный».

Наглядным примером первого пути может служить судьба одного из основополагающих концептов политической теории – демократии, когда использование его с различными предикатами становится повсеместным: делиберативная, коммуникативная, мониторинговая, электронная, авторитарная, дутая и т.д. Только так возможно уловить сущностные изменения в организации политического структурирования общества: исчерпанность традиционного

понятия очевидна, а возникновение новых понятий для новых референтов пока глубоко сомнительно. В общей теории логики «пустые понятия» суть понятия, не содержащие элементов объема либо в силу сложившихся обстоятельств или законов природы (фактически пустые понятия); либо в силу логической противоречивости его содержания (логически пустые понятия). Манипулирование пустыми понятиями было характерно для символического политического дискурса постмодерна, однако сегодня идея из элитарного концептуального пространства стала технологией достижения политических целей: «пустыми» понятия становятся как из-за исчезновения референтов, так и из-за глобальных спекуляций и размывания непреложности бинарности «истина / ложь». Изменения референций понятий, создающих каркас концептуально-интерпретативных схем, центрирующихся вокруг данных понятий, вуалируют и диверсифицируют категориальные смыслы, как следствие, политические теории и практики, многие из которых исходят из «ничто» или конкретного целеполагания. Данная ситуация обеспечила взрыв «популярности» предиката «гибридный», функция которого состоит не только в том, чтобы совместить различные, порой несовместимые качества, но и подчеркнуть сущностные отличия описываемого феномена при ограниченности традиционного познавательного инструментария.

Проблема референциальных значений основополагающих политических категорий, прежде всего универсалий, во многом определяет как направленность научного поиска, так и политическую прагматику. Проблема универсалий связывает в единый семантический узел такие фундаментальные философские проблемы, как соотношение единичного и общего, абстрактного и конкретного, взаимосвязи денотата понятия с его десигнатом, онтологического статуса идеального конструкта. К ключевым универсалиям социально-политического знания, вписанного в политический метанарратив Модерна, можно отнести категории, которые претендуют на статус универсалий. Это пространство, время, власть, государство, суверенитет, демократия, религия, культура, прогресс, разум, свобода, – во многом они нашли отражение в основополагающей идеологической парадигме прав и свобод человека. Изменение статуса этих претендующих на роль универсалий понятий перекраивает наш когнитивный каркас политической реальности, имплицитно тупанность и неопределенность и отрицая познаватель-

ные схемы, основанные на резервуаре их смыслов, определявших нормативность теорий и практик сквозь призму «образцов».

Изменение смыслов универсалии *время* влечет за собой переустройство не только ценностных конструкций и иерархий. Прерывание временной континуальности, торжество «бездвременья» как имманентной характеристики политики воплощает в себе «тиранию реального времени», где то, что «есть», определяет то, что «было» и «будет», путем поглощения настоящим прошлого и будущего [Мартьянов, 2005, с. 147].

Всевластность настоящего, его возможности конструирования будущего маркируют разрыв с историчностью, потерю социокультурных координат общества. Подобная потеря исторических и ценностных координат – некой карты природного и социального мира – является основной причиной человеческой деструктивности [Фромм, 1997, с. 302–303].

Нельзя также сбрасывать со счетов совершенно новый для политической истории феномен коммерциализации политического времени, который не предполагает его объяснения. Возникает иллюзия элиминации традиционной рефлексии и апелляции скорее к психологии и «низшим жизненным паттернам». Таким образом, использование одного из ключевых мыслительных инструментов гуманитарного знания – метода аналогии – становится проблематичным, а изменение в одной глубинной основе (времени) воздействует на базовый инструмент, применяемый к другой глубинной основе – знанию [Тоффлер Э., Тоффлер Х., 2008, с. 168]. Семантический узел, состоящий из универсалий, ослабевает и объяснительные схемы теряют познавательную и смысловую эффективность.

Эпистемология центрируется на проблеме критериев истинности, смещение которых представляется трендом современной рефлексии. Проблема критериев истинности, достаточно вариативных в гносеологических контекстах в условиях современности пересекается с формированием политического поведения населения и общественных умонастроений. Э. Тоффлер предлагает шесть основных фильтров для оценки достоверности: консенсус, непротиворечивость, авторитетность, откровение, долговечность и наука. В зависимости от выбора варьируется и ответ на вопрос: «Во что люди верят?», поиск ответа на который является приоритетным для политических аналитиков и маркетологов [там же]. В данной классификации авторитетность, прежде всего персонали-

зированной – экономическая, политическая, религиозная, медийная, – абсолютизируется различными политическими, экономическими, религиозными акторами, делая неопределенным будущее политики и конструируя выгодное социально-политическое пространство. Чаще всего она основывается на видимости, авторитете авторитета. Не случайно выбор критерия истинности, в нашем случае авторитета, определяет вектор и параметры политического процесса.

В рассматриваемых координатах ключевое место начинает отводиться экспертным оценкам, которые во многом определяют истинность и достоверность знания. Доверие к экспертным мнениям становится первостепенным по важности условием достоверности знаний, аргументов и интерпретаций, меняя саму суть отличия мнения и знания, конструируя и объясняя картину мира и смыслозначимые координаты политической реальности в соответствии с запросами субъектов политического целеполагания. В данном ряду находится и акцентирование прогностических свойств – прогнозы, озвучиваемые экспертами и рейтинговыми агентствами, либо основанные на определенных концептуальных подходах социально-политического развития или математических моделях, спекулирующие на авторитете науки¹.

Обращение к иным областям знания как способу обеспечения истинности теории свидетельствует о неспособности или исчерпанности казавшихся имманентными критериев. Математика с ее точными формулами только вуалирует ускользающую реальность – пытаясь зафиксировать «рябь на воде», не обеспечивает эвристическую функцию, скорее налицо ситуация круга: формулы ради формул.

Кризис методологических парадигм в совокупности с фундаментальным противоречием современного глобального мира между формирующимся «обществом знания» (М. Кастельс) и потерей им сциентистского характера девальвирует как научный инструментарий, долгое время бывший эвристически оправданным, так и критерии истинности. Сциентистская познавательная оптика

¹ Эти положения были озвучены автором в рамках пленарного доклада «Эпистемологическая проекция феномена “постправда”» на Всероссийской научной конференции «Политика постправды и популизм в современном мире» в Санкт-Петербургском государственном университете 22.09.2017.

всё более разбавляется вкраплениями из других областей, включая теологию или образные представления.

Апостериорность гуманитарного знания вступает в противоречие с постоянными и быстрыми изменениями, которые становятся фундаментальной характеристикой современности. Данное противоречие ставит под сомнение неизменную инструментальность рационального знания, что дает основание Э. Тоффлеру сравнить современное знание с «чердаком тетушки Эмили», набитым устаревшими фактами, идеями, теориями и образами. «Ускоряя перемены, мы также ускоряем темпы, с которыми знание превращается в утиль... Базы данных оказываются устаревшими уже в тот момент, когда мы заканчиваем их комплектование» [Тоффлер Э., Тоффлер Х., 2008, с. 167]. С данным положением связан такой критерий истинности, как фальсификация. Жизнеспособность теории зависит от умения своевременно и адекватно реагировать на новые реалии, от постоянной готовности «переделявать теорию» [Дерлугьян, 2010, с. 9]. Более того, «теория представляется научной постольку, поскольку она может быть опровергнута, а существенный элемент прогресса – доказательство неправильности той или иной теории» [Кульпин, 1996, с. 28].

«Третья волна» принесла с собой «собственные представления о мире, со своими собственными способами использования времени, пространства, логики, причинности» [Тоффлер, 1999, с. 34], однако и они теперь опровергаются. Причем в первую очередь опровергаются «предположения, что данный принцип есть окончательное, абсолютное определение» [Гегель, 1932, с. 40]. Существует множество парадигм, но одни из них более действенны, чем другие. «Однако их действенность и полезность не остаются неизменными с течением времени, и поэтому сторонникам доминирующих парадигм не следует почивать на лаврах. Они должны ответственно относиться к любым интеллектуальным вызовам, и в случае серьезной критики переосмысливать свои фундаментальные основы» [Валлерстайн, 2004, с. 220].

Ярким примером данной ситуации служит опровержение, казалось бы, непреложного и универсального понимания прогресса как восходящего линейного развития, основанного на инструментальности человеческого разума. Возникновение в XIX – начале XX в. теории локальных цивилизаций (в различных философско-политических традициях), настаивавшей на прерывности истори-

ческого процесса и отрицавшей линейное универсальное понимание развития, можно рассматривать как эпистемологического предвестника плюрализма как принципа не только общественной и политической жизни и идеологии, но и построения рефлексии.

Место, где живут драконы

«Фундаментальный кризис классической политической эпистемы Запада, строившейся на основании таких дихотомий, как субъект – объект, цивилизованность – варварство, сознательное – бессознательность, разум – безумие, рациональность – чувственность и т.д.» [Мартьянов, 2005, с. 147], ставит вопрос о замене в теории дизъюнкции или / или на одновременность множества. Этим определяется не только появление плюральности, но и размывание бинарности «истина – ложь». Ложь становится уже не противоположностью истины, а скорее выступает легитимацией иной возможной реальности. Мультипликация возможностей предопределяет как конкуренцию множественности субъектов, так и наличие множества реальностей. Неслучайно сегодня существует множество историй, среди которых нет ни одной истинной (К. Поппер). Соответственно, возникает конкуренция различных политических субъектов и порождаемых ими идеологических и политических практик, что приводит к созданию наиболее удовлетворяющих ее запросам историй, создавая феномен «постправды».

Фиксируемый тренд ухода универсальности из мышления, отсутствие идей, сравнимых по масштабности с идеями Г. Гегеля или К. Маркса, воплощение которых было ориентиром в течение столетий, коррелирует с невозможностью создания сегодня универсальных философских или идеологических систем. Более того, в «современном мире идей действительность предстает как некое множество, которое нельзя непротиворечиво упорядочить на основе общих правил и подходов» [Кирабаев, 2010, с. 12].

Констатация принципиальной гетерогенности мира как глубинная посылка обуславливает и принципиальную множественность моделей познания, переход к иному типу рациональности с его акцентом на мозаичность и внутреннюю непривязанность восприятия и конструирования социальной реальности [McGrew, Held, 2007], а также ограничения универсальности возможностей

науки как формы познания, действенность которой становится возможной лишь в кооперации или, что еще более наглядно, в диффузии с другими областями человеческой когнитивности – от философии и теологии до образного и обыденного сознания.

Вероятно, одним из путей улавливания туманных очертаний будущего может служить принцип дополнительности В. Гейзенберга, перенесенный в область общественно-политических наук: «Одно и то же событие мы можем охватить с помощью двух различных способов рассмотрения. Оба способа взаимно исключают друг друга, но также дополняют друг друга, и лишь сопряжение двух противоречащих друг другу способов рассмотрения полностью исчерпывает наглядную суть явлений» [Гейзенберг, 1998, с. 205–206].

Расширение спектра познавательных возможностей и соединение разнородного порождает «неожиданные» конфигурации¹ интерпретаций и результатов, когда появляются новые логические цепи, аксиоматические постулаты и умозаключения, возникновение которых в познавательной логике конкретных традиционных областей науки было бы невозможным.

Уход «универсальности» мышления сопряжен с исчерпанием линейных парадигм интерпретации политического. «Размывание линейного и нормативного смыслового поля гуманитарных концептов свидетельствует о нелинейности их референтов, тогда как интерпретации последних имеют широкую вариативную шкалу, на крайних полюсах которой находятся традиционное понимание и требования современности, определившие включение в концептуальное поле философско-политических конструкций социокультурных и цивилизационных параметров» [Мчедлова, 2016]. В рамках данной тенденции «можно будет не уклоняться от решения сложной и противоречивой проблемы соподчинения стремлений к истине и благу» [Валлерстайн, 2004, с. 247].

Прогресс как универсалия западного политического метанарратива, порожденного Новым временем и Просвещением, столкнулся со становящимся гносеологически всеобщим признанием современной культурной диверсификации, включая повышение значимости символических, а не рационально-инструментальных коннотаций, актуализацию нравственного императива, основанного

¹ Данный принцип плодотворно используется отечественными исследователями В. Лапкиным и В. Пантиним.

на традиционных ценностях. Столкновения линейных нормативных и познавательных закономерностей с ценностными контекстами породили не только тревожность общественного сознания, для которого зеркало будущего оказалось мутным, но и вызвали кризис категориальных массивов и традиционно-действенных интерпретативных подходов, породив определенную растерянность внутри политического знания.

Критерии прогресса стали смысловым наполнением конфликтов: теоретических и реально-политических. Не случайно можно зафиксировать смену логики интерпретации модернизационного процесса от линейности к диверсификации и расщеплению конечного исхода на диаметрально противоположные, а также расширение концептуально-понятийного поля объяснительных схем, отталкивающихся не от институциональных, а социокультурных факторов в самом широком смысле этого слова.

Изменение политической онтологии имплицитно требует изменения политической эпистемологии и способов рефлексии. Сложившийся за долгое время способ построения гуманитарного знания столкнулся с изменениями референтных и референциальных значений категориального пространства [см.: McGrew, Held, 2007]. Сложно дающееся признание правомерности аффирмативности множества способов бытийности, квантификация и глубина альтернатив, размывание символического и логического континуума политической науки предупреждают о «незнакомом грядущем».

Список литературы

- Бауман З. Глобализация. Последствия для общества и человека. – М.: Весь мир, 2004. – 188 с.
- Валлерстайн И. Конец знакомого мира: Социология XXI века / Пер. с англ.; под ред. В.И. Иноземцева. – М.: Логос, 2004. – 368 с.
- Водопьянова Е. Концепция европейского исследовательского пространства как зеркало науки Старого Света // Свободная мысль. – М., 2006. – № 11–12 (1571). – С. 99–105.
- Гегель Ф. Лекции по истории философии // Гегель Ф. Соч.: В 14 т. – М.: Партийное издательство, 1932. – Т. 9: Лекции по истории философии, кн. 1. – 340 с.
- Некlessа А.И. A la carte // Полис. Политические исследования. – М., 2001. – № 3. – С. 34–46.

- Гейзенберг В. Физика и философия: Часть и целое / Пер. с нем. – М., 1989. – 400 с.
- Дерлугьян Г. Идеиная эволюция столетия крайностей // Эксперт. – М., 2010. – № 1[735], 27 декабря. – С. 7–10, 12–14.
- Дуткевич П., Казаринова Д.Б. Страх как политика // Полис. Политические исследования. – М., 2017. – № 4. – С. 8–21.
- Кирабаев Н.С. Кризис современности и современные проблемы философской методологии // Диалог цивилизаций и посткризисный мир / Под. ред. Н.С. Кирабаева, Ю.М. Почты, В.Г. Иванова. – М.: РУДН, 2010. – С. 63–71.
- Кульпин Э. Бифуркация Запад – Восток: Введение в социоестественную историю. – М.: Московский лицей, 1996. – 200 с.
- Мартыанов В.С. Постмодерн – реванш «проклятой стороны модерна» // Полис. Политические исследования. – М., 2005. – № 2. – С. 147–157.
- Мчедлова М.М. Социокультурные смыслы политики: Новая логика интерпретации и религиозные референции // Полис. Политические исследования. – М., 2016. – № 1. – С. 157–174.
- Некlessа А. Осмысление нового мира // Восток: Афро-азиатские общества: История и современность. – М.: Наука, 2000. – № 4 – С. 46–67.
- Некlessа А. Управляемый хаос: Движение к нестационарной системе мировых связей // XX век. – Ереван, 2004. – № 3 (5). – С. 133–151.
- Солоневич И. Народная монархия. – Минск: Луч, 1998. – 504 с.
- Тоффлер Э., Тоффлер Х. Революционное богатство. Как оно будет создано и как оно изменит нашу жизнь. – М.: АСТ, 2008. – 560 с.
- Тоффлер Э. Третья волна. – М.: АСТ, 1999. – 784 с.
- Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. – М.: АСТ, 1997. – 624 с.
- Хардт М., Негри А. Множество: Война и демократия в эпоху империи. – М.: Культурная революция, 2006. – 559 с.
- Beck U. La société du risque: Sur la voie d'une autre modernité. – Paris: Flammarion, 2004. – 521 p.
- McGrew A.G., Held D. Globalization theory: Approaches and controversies. – Cambridge; Malden, Mass.: Polity Press, 2007. – 273 p.

А.И. Соловьёв*

КРИЗИСЫ И «КРИЗИСЫ»: КАК ТРАКТОВАТЬ КОГНИТИВНЫЕ КОНФЛИКТЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ?

Аннотация. В статье раскрываются источники и факторы эволюции научного знания о политике, порождающие внутренние противоречия и кризисные ситуации в процессе обновления знаний о мире политики. Особое значение автор уделяет анализу противоречий, заложенных в политической рефлексии, в конфликтах онтологических, когнитивных и аксиологических оснований политических образов, а также в плюрализме концептуально-теоретических подходов. В этом контексте описаны некоторые ключевые особенности политической эпистемологии в современных условиях, обозначены условия парадигмальных трансформаций и текущего обновления знаний о политике. Определяются направления исследовательской деятельности, позволяющие преодолевать кризисные ситуации в эволюции политической науки с учетом национальных особенностей приращения знаний.

Ключевые слова: политическая наука; политическая рефлексия; политическая эпистемология; теоретическое моделирование; методы политических исследований.

* **Соловьёв Александр Иванович**, доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой политического анализа факультета государственного управления Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, e-mail: alesol@mail.ru

Solovyov Alexander, M.V. Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russia), e-mail: alesol@mail.ru

A.I. Solovyov

Crises and «crisis»:

How to treat cognitive conflicts of political science?

Abstract. The article reveals the sources and factors of evolution of scientific knowledge about politics that generate internal contradictions and crises in the process of updating the knowledge about the world of politics. Of particular importance the author gives the analysis of the contradictions inherent in the political reflection, the conflicts in the ontological, cognitive and axiological bases of political images and the pluralism of conceptual and theoretical approaches. In this context, describes some of the key features of political epistemology in modern terms, marked terms of paradigm transformations and the current update of knowledge about politics. Define the areas of research, allowing to overcome the crisis situation in the evolution of political science, taking into account national peculiarities of the increment of knowledge.

Keywords: political science; political reflection and political epistemology; theoretical modeling; methods of political research.

Развитие познавательных возможностей политической науки и неразрывно связанное с этим разнообразие концептуальных подходов, расширяющих тематические поля и площадки исследований, не только порождают различные концептуальные версии политики и столкновение их методологий, но и провоцируют весьма противоречивые оценки этого процесса. Как правило, такие суждения обретают остроту в связи с качественным усложнением политической жизни (обусловленным, к примеру, снижением роли иерархических структур, расширением гибридных форм организации власти, усилением нелинейного характера политических процессов, увеличением роли латентных структур и т.д.), изменяющим референции основополагающих политических явлений (власти, государства, демократии) и влекущим обогащение лингво-семантических конструкций. Свою роль здесь играют и сопутствующие обновлению научных знаний более обширные процессы – незавершенность антропогенеза, кризис экологии, культуры (составной частью которой является наука) и т.д. Все эти явления заставляют по-разному присматриваться к различным параметрам эволюции научного знания, усматривая в них то симптомы когнитивного апокалипсиса (подразумевающие подрыв базовых конструкций политологии как эпистемологической системы), то трактуя их как естественные формы познания политики (пусть даже и в кризисном социуме).

Применительно к отечественной ветви политической науки, такому разному в оценках есть свое особое объяснение, поскольку в последние годы отношение к развитию политологии в основном сосредоточивалось на институциональных проблемах (отсутствие внимания государства к научным исследованиям, сужение преподавания политологии в вузах, дефицит авторитетных школ и «точек развития», имитация научных исследований со стороны многочисленных дилетантов¹, сервилизм официальных «политологов» и т.д.), что затеняло собственно когнитивные проблемы научных исследований. И хотя многие эпистемологические проблемы отечественной политологии были известны и ранее (склонность к нормативизму и когнитивному империализму, догматическая приверженность к потерявшим эвристичность теоретическим конструкциям и проч.), сегодня отдельные аспекты познавательного процесса начинают восприниматься рядом исследователей как показатель кризиса, снижающего эвристичность научных знаний и создающего угрозы их будущему обновлению.

Впрочем, история науки как общественного института не раз давала примеры преодоления когнитивных проблем, сохранявших базовые параметры научной рефлексии и надежную эвристичность получаемых результатов. Учитывая, что такие механизмы преодоления кризисов срабатывают постоянно (независимо от отраслевых, темпоральных и средовых контекстов), важно обозначить общий фундамент оценивания политологических конструкций, сохраняющий эвристичность научных выводов и презумпций.

Политическая рефлексия как источник когнитивных конфликтов

Если рассматривать гипотетически возможный кризис политической науки с точки зрения научного знания как такового, легко увидеть, что человечество многократно сталкивалось с ослаблением ее познавательных способностей. Однако эти трудности

¹ К сожалению, стоит признать, что до сих пор в отечественных разработках можно найти факты элементарного мракобесия. Чего стоят хотя бы «теоретические» работы, оценивающие характер эволюции отечественного политического процесса по числу обнаруженных в стране чудотворных икон [см.: Сулакшин, Багдасарян, 2012].

(как правило, вызванные переходом к новым моделям мировосприятия, исчерпанием эвристических возможностей доминировавших подходов или различными формами деинституционализации научного знания) человечество успешно преодолевало за счет формирования новых парадигм (О. Конт) и разработки более релевантных теоретических подходов и методов исследования, которые позволяли науке сохранять и укреплять свои общественные позиции. В любом случае до сих пор наука успешно справлялась с критическими стадиями своей эволюции. Более того, опыт побуждал ученых своевременно улавливать симптомы наступления кризисных ситуаций и вырабатывать превентивные меры, предупреждающие и компенсирующие когнитивные риски.

Если отвлечься от вопросов социального позиционирования научного знания (порождающего кризис ее общественного функционала) и обратиться к собственно познавательным аспектам эволюции науки о политике, то можно увидеть весьма ограниченный перечень причин, постоянно провоцирующих волатильность ее когнитивных способностей и создающих риски получения достоверных знаний.

Прежде всего, это особенности самой политической мысли, той особой формы рефлексии, которая синтезирует результаты наблюдения, оценивания и анализа, одновременно увязывая друг с другом протологические, логические и постлогические формы отображения. Такая форма мировосприятия, прорастая в научное знание (фильтрующая обретенные знания по законам формальной логики), даже на более высоком уровне мышления обнаруживает широкие возможности для определенного сохранения смыслов, отражающих коннотации (и соответствующие лингвосемантические конструкции) фонового знания.

Такое положение вполне объективно ибо, строго говоря, логика формирования научных воззрений неизбежно предполагает наличие некоей философско-онтологической платформы, которая отражает особенности человеческого мировосприятия и предшествует гносеологическому выбору. Другими словами, эти ценностно-смысловые (этические по своей природе и сквозные для человеческого мышления в целом) координаты являются исходным и постоянно сопутствующим фактором осмысления и исследования политики. При этом от их удельного веса в известной степени зависит и характер, и набор исследовательских подходов.

Более того, без задействования этих компонентов политического мировосприятия наука способна всего лишь *объяснять* различные формы взаимозависимости человека и центров власти, но при этом лишается возможности *понимания* природы и сущности этих (переполненных различными экстрарациональными мотивами и намерениями людей) отношений. Не случайно В. Дильтей писал, что если природу мы объясняем, то духовную жизнь – понимаем. Однако аксиологические основания взаимосвязи политической власти и жизнедеятельности человека неизбежно порождают столкновение принципов научного мировосприятия (ориентированного на поиск истины) с особенностями политического мышления человека, направленного на бытование и поверхностное истолкование повседневности, осознание своей жизненной «правды».

Конечно, сенсорный баланс этики и логики является исключительно подвижной величиной в научном знании. В одних случаях он снижает, а в других (связанных, к примеру, с анализом различных версий политической идентификации, аномии, политико-культурных конструкций и пр.) повышает эвристический потенциал теоретических схем и их прикладных рекомендаций. Однако XXI век наглядно показал, что именно этические ориентиры (включая не только нигилистические или романтические, но и чело-веконенавистнические убеждения) становятся источником расширения объяснительных схем современного мира политики. Одним словом, ценностные платформы и этические фреймы мировосприятия ученых могут не только сопутствовать рациональным суждениям о мире политики, но и – задавая ложные ориентиры развития общества и демонстрируя безрассудность в построении теоретических моделей – способствовать возникновению низко релевантной и квазинаучной схематизации политических явлений.

Коротко говоря, обозначенные особенности политической рефлексии с неизбежностью демонстрируют исходную конфликтность этого типа мышления, отражающего *вербальный* (оценочный) характер политического явления (факта) как такового. Это показывает, что то или иное событие социальной жизни способно обрести политическое очертание только на определенной аксиологической основе (включающей особенности авторской нравственно-этической рефлексии), т.е. в рамках оценочного суждения актора (образующего самые общие рамки для выбора теоретико-методологических оснований анализа).

Концепт политической рефлексии демонстрирует еще один внутренний конфликт, который отражается на эволюции научного знания. Этот конфликт связан с пониманием / отрицанием специфики политической рефлексии как таковой. В частности, одни ученые растворяют в политической рефлексии все знания человека об окружающем мире. Например, трактуя политику «как сумму осознанных и целенаправленных изменений, формирующих будущее», эти теоретики интерпретируют политическую рефлексию как «мысль, ориентированную на решение проблемы места и роли человека в социуме, продиктованную интересом к данному предмету», что позволяет им констатировать, что «рефлексия не может быть иной, нежели политической» [Белоус, 2017, с. 9, 10, 13].

Впрочем, с логической точки зрения приведенное утверждение стоит ровно столько же, как и то, что рефлексия не может быть иной, нежели философской, морально-этической или какой-либо иной. И это обесценивает употребление предиката «политическое» как содержательной характеристики особого типа мышления. Другими словами, с собственно эпистемологических позиций это означает, что политическая рефлексия «не зависит от предмета» своего отображения [Белоус, 2017, с. 14]. Понятно, что такая форма рациональной интерпретации политического отражения мира не только смешивает его онтологические, когнитивные и аксиологические аспекты, но и трактует политическую рефлексию как результат механической проекции до-, пост- и рациональных форм мышления человека на всю область социальной и несочальной жизни.

Понимая основания такого подхода (отражающего трудности выделения предметного профиля мыслительного процесса), следует все же отметить, что подобные идеи выравнивают все смыслы человеческой активности, образующиеся в рамках взаимозависимости природы и общества, власти и безвластия и т.д. В свою очередь, это создает риски для научного уровня мышления, которое в таком случае утратит внутренние импульсы для выявления *особого круга явлений* (неважно, в рамках социальной или внесоциальной активности человека), рассматриваемых в качестве ее предметной области. Причем наиболее существенные потери в этом случае будет нести номотетическая когнитивная стратегия. Более того, с точки зрения прикладных последствий такого бесконечного расширения политической рефлексии снимаются и опреде-

ленные социальные функции научного знания, в частности задача формирования у людей политического сознания, понимаемого как достижение ими определенного *уровня* восприятия общественных отношений (предполагающего, к примеру, осознание людьми различных форм своей групповой принадлежности, противопоставления своих групповых интересов иным потребностям, понимание возможностей властей для их полного или частичного удовлетворения и т.д.).

Как бы то ни было, но обозначенные противоречия между мировоззренческими и рефлексивными параметрами отображения политики (способными образовывать синтетические или синкретические комбинации) показывают, что в науке о политике постоянно проявляются конфликты *базового* уровня, аттестующие соотношение онтологических, когнитивных и аксиологических оснований политической мысли. В этом смысле кризисные явления в эволюции науки могут касаться как дисбаланса интеллектуальных и ценностных компонентов мировосприятия, так и утраты каждой из них своего когнитивного функционала.

Таким образом, политическая рефлексия не только порождает постоянное столкновение обозначенных граней политического мировосприятия, но и демонстрирует конфликт различных типов рациональности, аттестующих характер мыслительной активности человека. Конфликт, который наиболее ярко проявляется в процессе теоретической схематизации и моделировании политических процессов.

Теоретические источники развития научного знания

Итак, политическая рефлексия порождает не только аксиологические конструкции, но различные типы рационализации мира политики, в свою очередь, служащие основанием его теоретизации. Однако теоретический способ отражения политики образуется только в рамках *предметного* профилирования объекта изучения. Другими словами, научная форма интерпретации политики предполагает непосредственную связь объяснения (понимания) ее природы и сущности с набором ограниченного по своему профилю класса явлений (демонстрирующему ограничения предметного поля исследований).

Другими словами, научное знание о политике – это не механическая проекция рационального мировосприятия человека на некую сферу человеческой жизни (усиливающая произвольный характер теоретической номинации «политики»). Научность измерения тех или иных явлений и процессов состоит в рационально-теоретическом вычленении из области социальных (или иных) взаимодействий того класса явлений, которые обладают собственной *specifica differentia*, позволяющей отличать их от иных – экономических, правовых, административных и др. – форм человеческой активности.

Как нам видится, большинство когнитивных напряжений в научном знании как раз и связано с изменением или уточнением сущностных параметров предмета политических исследований. Особенно в тех случаях, когда познавательные осложнения не удастся преодолевать за счет уточнения традиционных подходов и методологий.

Собственно, определение предметной области суть важнейший признак концептуальной и научно-теоретической интерпретации политики, придающий ей номотетический характер. В этом плане наука, как качественно иной уровень рефлексии, предусматривает теоретическое моделирование класса изучаемых объектов, в свою очередь, предполагающее – на основании применения адекватных когнитивных методов – получение аутентичных знаний об объекте, связывающих необходимые значения и смыслы [Knorr-Cetina, 2007]. Иначе говоря, научные формы интерпретации политики (как рационально-логической деятельности, использующей валидированные инструменты анализа, ориентированные на получение верифицированных знаний) только и позволяют маркировать политику как особый круг явлений, соотнесенных (по разным основаниям) с иными проявлениями жизни человека, общественными и природными явлениями. И только в этих рамках научное знание – синтезируя имеющиеся у исследователя картины мироздания и отвечая требованиям предметной спецификации особого круга явлений, – способно решать свою триединую задачу: объяснения, понимания и прогнозирования политических явлений. Применяя же релевантные – по отношению к разным сегментам предметного поля – средства теоретического моделирования, наука способна выявлять даже скрытые значения и смыслы политических процессов.

Однако на этом уровне анализа усиливается амбивалентная природа научного знания, поскольку плюрализация теоретических схем демонстрирует конфронтацию принципиально противоположных объяснительных моделей мира политики. Другими словами, наиболее существенные источники кризисного развития политической науки состоят в постоянном воспроизводстве *полярно* противоположных трактовок ее предмета, не исключающих при этом и асоциальные (!) интерпретации политических объектов.

Как показывает опыт, главная трудность научной идентификации политики состоит в том, что поле ее теоретических интерпретаций располагается за границами социальной сферы. Био- и геоцентричные, антропологические, гендерные, кибернетические и иные внесоциальные подходы дают на это свои весьма убедительные ответы. К примеру, если в 60-е годы XX в. Л. Колдуэлл писал, что биополитика отражает концентрацию усилий на «приведение социальных, особенно этнических, ценностей в соответствие с фактами биологии» [Caldwell, 1964, p. 3], то в настоящее время это зонтичное понятие превратилось в целое научное направление, которое изучает «всю совокупность социально-политических приложений наук о живом в плане как политической теории, так и практической политики», делая при этом упор на исследование форм человеческой агрессивности, эмоционального заражения акторов в рамках коллективных форм активности, витальной мотивации совместных поведенческих паттернов и пр. [Олескин, 2001, с. 400].

Легко заметить, что такая форма интерпретации политики теоретически и методологически слабо совмещается с ее пониманием как особой сферы государственной власти и управления. Столь же несовместимы такие воззрения и с пространственными трактовками политики, интерпретирующими ее как некую сферу (сектор, поле, площадку) – в основном социальных – взаимодействий, предполагающую качественное определение их границ, препятствующих процессам инклюзии [Mann, 1986]. Ну, а с суждениями об «отсутствии политики» – как формы публичной коммуникации – не только в современном российском обществе [Массовая политика... 2016, с. 258–260], но и в других европейских государствах [Рансьер, 2006, с. 21], такие воззрения не совмещаются вовсе.

Еще бо́льшую сложность концептуальному видению политики, предполагающему хотя бы приблизительное единство в подходах, создает тот факт, что ряд современных научных направлений

(в частности, популярные антропологические теории политгенеза) «развивались в известной степени независимо от теории политической науки» [Крадин, 2001, с. 1]. Понятно, что такое положение создает еще больший разброс теоретических расхождений и «отклонений» подобных моделей от доминирующих сегодня взглядов.

Впрочем, в политической мысли есть направление, которое внешне пытается снять издержки плюрализации научных представлений. Это, условно говоря, универсалистские подходы, рассматривающие политику как проявление «власти», «целенаправленной деятельности», «управления» и др. Очевидно, что в таком случае само употребление термина «политика» становится необязательным, а спецификация этого круга явлений объявляется ненужной. К такому же результату (за счет механической интерпретации термина «политический», в ряде случаев якобы выходящего за рамки политики) [Шабров, 2016, с. 52] приводит и необоснованное распространение данного понятия на не соответствующие его природе явления.

Следует признать, что в логическом пределе такие подходы демонстрируют явную незаинтересованность в спецификации критериев «политического» и предполагают в ряде случаев избирательное вычленение параметров, не согласующихся с атрибутивными характеристиками политики как определенного класса явлений. Понятно и то, что произвольно используемый предикат «политический» в принципе создает теоретически неуловимую реальность. Но отказ от предметной идентификации политики — это и отказ от понимания того, чем политика Аристотеля отличается от современного национального государства, или чем транснациональная борьба за контроль над центрами принятия политических решений отличается от властной конкуренции элит в более локальном пространстве.

Видимо, следует сказать и еще об одном варианте предметной спецификации политической науки. Речь идет о некоторых теориях среднего уровня, включающих в концептуальный образ политики различные инструменты и технологии этого типа активности. Такие подходы, идентифицирующие политику с точки зре-

ния прикладного значения научного знания, получают распространение в условиях ожидания практической эффективности разрабатываемых теоретических схем и их конкретных рекомендаций. В настоящее время такой подход особенно популярен, поскольку многими аналитиками «наука сегодня рассматривается как практическая деятельность», требующая сосредоточения внимания ученых на прагматических основаниях теоретического моделирования [Carrier, Nordmann, 2011, p. 1].

Однако следует признать, что даже в тех случаях, когда прагматические подходы опосредуют те или иные концептуальные образы политики (порой, лишая их интерперсонального содержания), все равно существует глубинная связь этих представлений с формальными правилами анализа и накопленным теоретическим опытом, которые неизбежно форматируют интуицию исследователей и их интерпретации политических явлений. Однако опасность «инструментально-прикладного» подхода (с точки зрения спецификации образа политики) состоит в усилении эрозии теоретических границ научной рефлексии, поскольку в этом случае во все формы концептуального видения политики неизбежно включаются те методы и технологии, которые отличают политическое регулирование от администрирования, силового принуждения, морального увещевания и других форм упорядочивания социальных связей. В результате в рамках такого типа теоретизирования предметных пересечений политики с другими сферами общественной жизни становится еще больше. Это, по понятным причинам, только увеличивает диверсификацию ее аналитических образов. Одним словом, сближение онтологического и прикладного (неразрывно связанного с отражением определенного комплекса практик и опытом проектировщиков политических процессов) уровней исследования только усложняет смыслы и лингвистические образы интерпретации политики.

Как бы то ни было, но в результате применения и правомерных, и неправомерных (нарушающих требования формальной логики) когнитивных подходов у политологии образуется весьма пестрое (если не сказать – клочковатое) предметное поле, демонстрирующее даже больший разрыв в подходах, чем в метафоре Г. Алмонда о «столиках в кафе». В этом смысле горизонт политической рефлексии и пространство научных изысканий никак не превращаются в территорию, хотя бы в самом общем плане ограниченную не-

кими общими теоретико-методологическими идеями и подходами. Постоянное умножение политологических концептов доказывает не только тот факт, что теоретическая унификация воззрений о политике не имеет исторических перспектив, но и то, что эволюции научного знания будет постоянно сопутствовать столкновение даже не подходов, а «эпистемологических культур» как прочно утвердившихся «моделей построения знаний» сторонниками тех или иных принципов и идей [Knorr-Cetina, 2007]. А то, что в большинстве своем политика рассматривается как явление сугубо социальное, игнорирующее весьма содержательные аналогии природного происхождения (на которые обращают внимание натуралистические концепты), позволяет говорить как о неполноценности научного знания о политике, так и об условности лидерства даже самых популярных современных теорий. Это, впрочем, не признак вульгаризации научного знания, но явный сигнал принципиальной неполноценности применяемых подходов, требующих некоего более органичного синтеза общественных и естественно-научных подходов.

И всё же: кризис или когнитивная волатильность?

Применительно к вопросу о признании / непризнании кризисов и когнитивных конфликтов в развитии науки о политике становится понятным, что на фоне непреодолимых разломов в понимании ее предметной области главную трудность такого оценивания составляет соотнесение — хотя бы основных — подходов в интерпретации ее природы и соответствующего набора атрибутов. Только так можно понять, *что* изменяется сегодня в этой интеллектуальной сфере и насколько наука способна адекватно отображать политическую реальность.

Как уже отмечалось, надеяться на какую-то общепризнанную унификацию подходов (на что все-таки рассчитывает ряд теоретиков [Шабров, 2016]) не приходится. Остается признать лишь то, что политическая наука в принципе неспособна достичь внутренней конвенции, предполагающей какие-то обобщенные оценки мира политики и прогнозы ее эволюции. В таком случае становится трудно добиться какой-то теоретической определенности при понимании того, что же меняется в политике и какие черты определяют ее нынешний облик.

Тем самым понятие «кризис» становится удобным олицетворением внутри теоретических конфликтов, той аттестацией и даже публичным имиджем политической науки, который демонстрирует принципиальную непреодолимость когнитивных противоречий. Причем как в ретроспективном, актуальном, так и в перспективном форматах. И все же это не тот кризис, который способен обрушить интеллектуальный функционал научного знания. Так что речь уместнее вести о различных стадиях когнитивной волатильности, которая если и позволяет говорить о потере эвристичности отдельными теоретическими моделями, но не науки в целом.

Думается, большинство политологов все же согласно в том, что и внутренние конфликты политической рефлексии, и поливариативность теоретического моделирования политики являются постоянными, но *позитивными* источниками развития науки. Развития, способного на тех или иных этапах эволюции порождать некие внутренние кризисные ситуации. Но эти ситуации – суть не что иное, как естественные проявления процесса обновления научного знания, обусловленные конфликтом методологий, снижением эвристичности отдельных моделей, неэффективностью конкретных методов исследования. Поэтому на маршруте развития науки всегда будут свои стадии подъема и упадка, опережения или отставания от требований дня.

При этом следует иметь в виду и то, что на ряде политических площадок научное знание просто обречено на создание исключительно общих, приблизительных, ориентационных суждений и выводов. Показательно иллюстрирует такое положение процесс принятия политических решений, содержащий массу латентных явлений, скрытых от общественности акторов, их подлинных замыслов и целей. В этом смысле даже опытное (инсайдерское) знание относительно этой зоны политики или применение сложных аналитических схем (например, теории квантов [Алексеева, 2017]) заставляют сомневаться в аутентичности получаемых выводов и мало что дают, кроме обогащения исследовательской риторики или констатации непознаваемости изучаемых процессов. Одним словом, в этой зоне исследований даже конфиденциальная информация не дает возможности понять, как теоретические модели преобразуются в политические решения [Adjusting to policy expectations... 1999]. Мало того, эта «серая» зона дефицита информации и неопределенности становится границей столкновения научного

знания с конспирологическими и криптологическими конструкциями, уводящими науку в сторону от поиска истины.

Такие примеры показывают, что увеличение удельного веса «ненаблюдаемых сущностей» и расширение гипотез (с учетом персонального опыта и воображения ученых) усиливает двусмысленность научных выводов, расширяя неэффективность методов учета «подобия» объектов и проводимых сравнений. Впрочем, когнитивные риски, демонстрирующие, что даже при применении валидированных теоретических инструментов накопление знаний не ведет к усилению научных презумпций и выводов, надо воспринимать как вполне естественное положение вещей. Тем более что, как было отмечено ранее, эволюция поля политики демонстрирует устойчивое увеличение нелинейных процессов при применении власти, расширение зоны латентных коммуникаций, усиление вариативности различных форм управления государством и другие явления, которые обуславливают нарастание хаотизации и возникновение «смутной политики», сполна проявляющей свой собственно человеческий характер. А возникновение такой «неполной ситуации» исследования (Дж. Дьюи) и не позволяет ученым «действовать разумно» [Smith, 2011].

Частично снизить негативный эффект изучения такого рода явлений можно за счет более точного *зонирования* поля политики, т.е. выявления тех «дискурсивных пространств», на которых могут быть установлены некие общие договоренности [Evans, 2000], в том числе и включающие признание неспособности релевантного отображения политических процессов. Учитывая же, что дискретный характер политических процессов ослабляет применение идеалтипических моделей, хорошо работающих лишь в рамках анализа институализированной политики (отражая ограниченность классических – системных и структурно-функциональных моделей), видимо, для снижения критичности в обновлении научных знаний следует использовать более надежные познавательные приемы. Представляется, что к таким инструментам можно отнести:

– формирование новых аналитических моделей на основе сочетания методов, тяготеющих к получению представлений о глубинных источниках «человеческой» активности в сфере политики (например, дискурсивный институционализм, психологизм, коммуникативизм, антропологизм и пр.);

– более полное использование когнитивного потенциала общенаучных (синергетических, коэволюционных и пр.) и универсалистских (семиотических, морфологических) методов познания, позволяющих достичь нужного сочетания конкретно-индуктивных, дедуктивно-системных и историографических (С.А. Токарев) методов исследований;

– более разностороннюю разработку методологий, ориентированных на переход от систем и структур к нелинейным схемам анализа, основанным на выделении кластеров, комплексов, потоков и типизации индивидуальных практик¹.

Представляется, что эти направления относятся к неким универсальным требованиям развития науки и снижения неопределенности ее выводов. Однако существуют и специфические параметры развития научного знания, отражающие особенности национальной саморефлексии по поводу политических объектов. В данном контексте, несколько перефразируя мысль Т. Кнуутилы, можно сказать, что каждая национальная школа политической науки формирует и соответствующие культурные формы политической эпистемологии, типичные познавательные паттерны и те устойчивые теоретические модели, которые рассматриваются как некие когнитивные артефакты [Knuuttila, 2011, p. 62–271]. В этом смысле российским ученым еще предстоит найти более адекватные исследовательские приемы, наследующие позитивные традиции отечественной политической мысли.

Расширяя представления о моделях и приемах исследования, можно углублять анализ универсальных и специфических источников амбивалентной логики развития науки о политике. Однако, повторимся, в целом все же понятно, что кризисный характер ее эволюции в первую очередь связан с нарастанием теоретических риск-рефлексий, расходящихся с динамикой предмета исследований и предлагающих человеку неадекватные образы подчас даже ключевых процессов. Однако частичные потери в достоверности и аутентичности теоретических схем и моделей и, как следствие, аналогичная утрата эвристичности и посюсторонности ее отдельных выводов и рекомендаций – это не столько проявления ее внут-

¹ Так, *кластеры* позволяют агрегировать множества однотипных и в то же время отличных друг от друга явлений; *комплексы* обобщают профильные идейно-поведенческие акции и интеракции ключевых и второстепенных акторов, а *потоки* сочетают разнородные типы активности, нормы, установки и пр.

ренного кризиса, сколько отражение естественных противоречий между объектом и субъектом познания. Говоря иначе, логика обновления познавательного аппарата, даже порождая многочисленные конфликты (нормативных и эмпирико-аналитических, парадигмальных и контекстуальных, теоретических и описательных, семантических и семиотических) аспектов познания политики не должна рассматриваться как источник ослабления ее общественного функционала. Это – не маркеры кризиса, понимаемого как угроза научному знанию и результат накопления непереносимых для нее разрушительных процессов, а источник развития науки. Повседневное разрешение этих конфликтов суть постоянное совмещение классических и инновационных подходов к анализу тех или иных политических явлений (не исключая, кстати, и решительного разрыва с ранее доминировавшими идеями). В этом смысле «кризис» политической науки является вполне воображаемой величиной, свидетельствующей лишь об ограниченности отдельных познавательных моделей и методов исследования.

Представляется, что нынешняя ситуация позволяет с оптимизмом смотреть в будущее, ясно осознавая потенциал теоретического моделирования мира политики, являющегося – при всей его противоречивости – показателем потребности человека узнавать все больше и больше о самом мощном способе применения власти и гибком регуляторе общественных отношений. И хотя современная политика наследует далеко не все черты и параметры различных стадий своего исторического самовоплощения, тем не менее современная наука обладает вполне релевантным эпистемологическим потенциалом для того, чтобы идентифицировать политику, развести общие и особенные характеристики этого явления в рамках политгенеза.

Список литературы

- Алексеева Т.А.* Политические науки на фоне меняющихся картин мира // Политическая рефлексия, теория и методология научных исследований: Ежегодник РАПН 2017 / Под ред. А.И. Соловьева. – М.: РОССПЭН, 2017. – С. 48–64.
- Белоус В.Г.* Самопознание политики (о контурах теории политической рефлексии) // Политическая рефлексия, теория и методология научных исследований. Ежегодник РАПН 2017 / Под ред. А.И. Соловьева. – М.: РОССПЭН, 2017. – С. 8–21.

- Крадин Н.* Политическая антропология: Учеб. пособие. – М.: Ладомир, 2001. – 213 с.
- Олескин А.* Биополитика. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2001. – 459 с.
- Массовая политика: Институциональные основания / Под ред. С.В. Патрушева. – М.: Политическая энциклопедия, 2016. – 286 с.
- Рансьер Ж.* На краю политического / Пер. с фр. – М.: Праксис, 2006. – 240 с.
- Сулакишин С.С., Багдасарян В.Э.* Высшие ценности Российского государства. – М.: Научный эксперт, 2012. – 624 с.
- Шабров О.Ф.* Понятие политического: возможна ли политическая наука // Власть. – М., 2016. – Т. 24, № 9. – С. 51–61.
- Adjusting to policy expectations in climate change modeling: An interdisciplinary study of flux adjustments in coupled atmosphere-ocean general circulation models / S. Shackley, J. Risbey, P. Stone, B. Wynne // Climatic change. – Dordrecht-Holland; Boston, 1999. – Vol. 43. – P. 453–454.
- Caldwell L.K.* Biopolitics: science, ethic and public policy // Yale review. – Oxford, 1964. – Vol. 54, N 1. – P. 1–16.
- Carrier M., Nordmann A.* Science in the context of application: Methodological change, conceptual transformation, cultural re-orientation // Science in the Context of Application / Ed. by M. Carrier, A. Nordmann; Boston studies in the philosophy of science. – Dordrecht: Springer, 2011. – P. 1–7.
- Evans R.* Economic models and economic policy: What economic forecasters can do for government // Empirical models and policy-making: Interaction and Institutions / Ed. by F. den Butter, M.S. Morgan. – L.: Routledge, 2000. – P. 206–228.
- Joas H.* The creativity of action. – L.: Polity Press, 1996. – 336 p.
- Knorr-Cetina K.* Culture in global knowledge societies: Knowledge cultures and epistemic // Interdisciplinary science reviews. – L., 2007. – Vol. 32. – P. 361–375.
- Knuuttila T.* Modeling and representing: An artefactual approach // Studies in history and philosophy of science. – Oxford, 2011. – Vol. 42. – P. 62–271.
- Mann M.* The sources of social power. – Cambridge: Cambridge Univ. press, 1986. – Vol. 1: A history of power from the beginning to AD 1760. – xxvii, 549 p.
- Smith Ch.W.* Coping with contingencies in equity option markets: The rationality of pricing // The worth of goods: Valuation and pricing in the economy / Ed. by J. Beckert, P. Aspers. – Oxford; N.Y.: Oxford univ. press, 2011. – P. 272–294.

ИДЕИ И ПРАКТИКА

Б.И. Макаренко*

ТЕОРИЯ ПАРТИЙНЫХ СИСТЕМ ПОЛВЕКА СПУСТЯ

Аннотация. Статья рассматривает эволюцию партийных систем развитых демократий в свете известной теории М. Липсета и С. Роккана. Анализ современных праворадикальных партий приводит к выводу, что современный правый радикализм можно назвать реакцией западных обществ на «кризис постмодерна», но вероятность их сползания в авторитаризм принципиально ниже, чем в межвоенный период.

Ключевые слова: политические партии; партийные системы; постмодерн; популизм.

B.I. Makarenko

Theory of party systems half a century later

Abstract. The article analyzes evolution of party systems in Western democracies in the light of the seminal theory of Martin Lipset and Stein Rokkan. Analysis of contemporary rightist radical parties leads the author to the conclusion that this phenomenon can be interpreted as a reaction of Western societies to the «crisis of postmodern world», yet it is unlikely to provoke authoritarian relapse like the interwar period.

Keywords: political parties; party systems; postmodern society; populism.

* **Макаренко Борис Игоревич**, кандидат политических наук, профессор департамента политической науки Национального исследовательского университета Высшая школа экономики, председатель правления Фонда «Центр политических технологий», e-mail: bmakarenko@yandex.ru

Makarenko Boris, National Research University Higher School of Economics; Center for Political Technologies (Moscow, Russia), e-mail: bmakarenko@yandex.ru

Классическая работа Сеймура Мартина Липсета и Стейна Роккана [Lipset, Rokkan, 1967], задавшая концептуальный подход к анализу партий и партийных систем, вышла в свет ровно полвека назад. Юбилей пришелся на время, когда политологи обсуждают тектонические сдвиги в конфигурации политических сил в крупнейших демократиях, резкий подъем популистских, праворадикальных партий. Неожиданные победы популистов: успех референдума Брекзит, исход президентских выборов в США, поражение и право- и левоцентристских партий на президентских и парламентских выборах во Франции – лишь наиболее яркие и недавние события, которые заставляют политологов говорить о кризисе или даже угрозе привычной модели демократии, и естественно, что в этих обсуждениях теория Липсета – Роккана упоминается достаточно часто.

Прошедшие полвека эта работа служила отправной точкой для анализа партийных систем – как сравнительного, так и в кейсах отдельных стран. Когда исследования вышли за рамки круга «традиционных», «старых» демократий, часто указывалось на ограничители и существенные отличия в становлении более новых партийных систем. Например, Барбару Геддес анализ парадигм развития латиноамериканских стран привел к выводу, что становление в них партийных систем следовало иной парадигме, отличной от логики работы Липсета и Роккана [Geddes, 2003]. Убедительно обосновывался и иной характер развития многопартийности в посткоммунистических государствах, в которых описанные Липсетом и Рокканом размежевания много десятилетий подавлялись авторитарным режимами [Tavits, 2013; Zielinski, 2002; Партии и партийные системы, 2015].

Еще ранее, фактически с начала 1970-х годов, интерпретации теории стали упоминать о новых размежеваниях, порожденных постиндустриальной (постматериалистической, постмодерной) эпохой. Как мы покажем ниже, «карта» партийных систем, представляющая в современных компаративистских работах на эту тему, весьма далека от изначальной – простой и кажущейся линейной – схемы, предложенной Липсетом и Рокканом. Тем не менее значимость этой теории не отрицает никто из тех, кто существенно ее видоизменяет или указывает на ограничители. В чем причины ее «живучести»? Если ответить одним словом – в «современности».

Во-первых, за счет широчайшей научной и профессиональной эрудиции оба автора в основу своей теории положили глубокие знания из разных общественных наук: социологии, истории, страноведения, хотя понятие «междисциплинарность» в те времена вряд ли использовалось. Во-вторых, оба были среди пионеров применения в политической науке количественных методов: Роккан «освоил» применение компьютерных подсчетов, Липсет собрал в работе «Политический человек» (сложно представить, сколь трудоемкой была эта работа в эру «до Интернета») электоральную и демографическую статистику за многие десятилетия XX века и по многим странам. В-третьих (и это, пожалуй, главное), теория Липсета и Роккана – не «закрытая» схема, а скорее логика анализа расколов в обществе и парадигма отражения этих расколов в партийных системах, т.е. развитие теории в ней заложено изначально.

В заключительном разделе книги Липсет и Роккан предположили наступление серьезных изменений в партийных системах, – и начало таким изменениям положил следующий за выходом их работы год, когда студенческие волнения в Париже и антивоенное движение в США ознакомили серьезный сдвиг в конфигурации общественных сил в традиционных западных демократиях.

Рассуждая о современном применении теории Липсета и Роккана, мы хотели бы привлечь внимание к тому, как Мартин Липсет описывает в одном из главных своих произведений – «Политический человек» [Липсет, 2016] – истоки и социальную базу фашизма и других правых экстремистских течений межвоенной эпохи. Мы попытаемся сравнить этот феномен с аналогичными характеристиками современных правых и популистских движений.

Наша гипотеза: наблюдаемые в последние годы явления на партийных аренах многих стран Европы и в США – порожденное случайным сочетанием нескольких факторов обострение кризиса постмодерна. Причем в полном соответствии с логикой теории Липсета – Роккана, качественный сдвиг произошел скачкообразно, хотя его предпосылки складывались десятилетиями. Поэтому для обоснования нашего предположения – следуя логике и теории Липсета – Роккана и во многом упомянутой другой работы Липсета, – представим краткий очерк развития партийных систем «старых демократий» в послевоенный период.

«Классические размежевания» в замороженном состоянии

Описывая партийные системы 1960-х годов, Липсет и Роккан отмечают, что «за несколькими, хотя и важными исключениями» они «отражают структуру размежеваний 1920-х годов», т.е. «в большинстве случаев партийные организации старше, чем бо́льшая часть избирателей» [Lipset, Rokkan, 1967, p. 43], – собственно, на этом и строится их посылка о том, что партийные системы отражают значимые и устойчивые водоразделы в обществах. Однако внимания заслуживает не то, что партии межвоенной эпохи смогли «пережить» или возродиться и после авторитарно-фашистского отката демократии в 20–30-е годы прошлого века и Второй мировой войны, а сохранность этой системы за два первых послевоенных десятилетия, на которые пришлось тектонические сдвиги и в экономике, и в социальных системах, и в социально-классовых структурах западных обществ.

Они стали следствием взаимосвязанных процессов, на первое место из которых – в логике актор-ориентированных факторов – мы бы поставили «социальную инженерию» с целью недопущения повтора ситуации, которая привела ко Второй мировой войне. Политический класс Запада 1940–1960-х годов – это поколение, испытавшее все ужасы войны. Основной стержень социальной политики послевоенных десятилетий – создание того, что американский историк А. Шлезинджер [Schlesinger, 1949] назвал *vital center* – жизненный центр: сближение умеренных сил консервативного, либерального и социал-демократического лагерей против экстрем-праворадикалов, несущих опасность фашизма, и коммунистов. Примечательно, что выстраивание этого «центра» – разумеется, не как институционализированной политической структуры, а согласия этих сил о стратегических целях и ограничителях политического развития, – затронуло обе «оси», по которым С. Липсет, а вслед за ним и большинство других исследователей, классифицировали политические партии: главную ось – «лево-правую», и дополнительную, которую Липсет описал на примере Германии и других стран в межвоенный период: «политическая демократия в противовес тоталитаризму», причем «налево» голоса избирателей уходили, в его трактовке, к коммунистам, «направо» – к фашистам [Липсет, 2016, с. 268–269].

А главное – социально-экономическое – размежевание в первые послевоенные десятилетия испытывало перемены. Восстановление разрушенной войной Европы в рамках «плана Маршалла» шло в русле неолиберальных принципов рыночной экономики, но с неперменным признанием роли государства и его социальной функции. Именно тогда возникает «государство всеобщего благоденствия» (welfare state), в создании которого участвуют и право- и левоцентристские силы. С этого момента именно государство начинает нести основное бремя расходов по социальной поддержке малоимущих, пенсионной системе, страховой медицине и т.п.

Разумеется, преувеличивать, тем более абсолютизировать роль акторных факторов было бы неправильно: все эти целенаправленные усилия дали бы весьма ограниченный результат, если бы в эти годы не произошел значимый подъем экономик стран Запада, который, во-первых, повысил уровень жизни основной массы населения; во-вторых, существенным образом переопределил и структуру занятости за счет развития сервисных секторов и, соответственно, существенного повышения доли среднего класса; в-третьих, дал ресурсы для функционирования welfare state. Изменилась и «внешняя рамка», в которой оказались граждане стран Запада: в условиях холодной войны и глобального биполярного противостояния прежние антагонизмы между этими странами сменились их военно-политическим союзом и началом процессов экономической интеграции.

Тем самым и структурные, и актор-ориентированные факторы работали на смягчение классового конфликта. Как отмечает М. Липсет, «35 лет после Второй мировой – самый долгий период существования без депрессии, время устойчивого роста, экономическое недовольство не служило поводом для подъема экстремизма» [Липсет, 2016, с. 528–529]. Как много позже отмечал британский политический философ Дж. Данн, «в течение двух последних третей столетия такого рода сочетание политического и экономического устройства предложило... основания для удовлетворенности большему количеству людей на больших территориях, чем любые другие устройства прежде» [Данн, 2016, с. 17].

Нарисованная выше картина социально-экономического развития, разумеется, предельно упрощена, однако общий его вектор был проложен именно так и сохранялся неизменным долгие десятилетия. Его эффекты в политическом пространстве проявились

фантастически быстро по историческим меркам – за одно послевоенное десятилетие: острота классового конфликта, отражающаяся в партийном пространстве в противостоянии левых и правых партий, существенно снизилась. Липсет описывает этот феномен ссылками на дискуссии на авторитетном по составу участников конгрессе «Будущее свободы» (Милан, 1955), где большинство делегатов сошлось во мнении, что «традиционные вопросы, размежевывающие левых и правых, отошли на второй план» [Липсет, 2016, с. 474], и на исследования британского политолога Джона Томаса, который на большой выборке доказал, что «не левые» (консерваторы, либералы, христианские демократы) «между 1890-ми и 1960-ми годами неизменно, а порой совершая резкие скачки, смещались влево», а лейбористы снижали радикализм, и что из десяти промышленно развитых стран в девяти (кроме США) «партийные расхождения по всем вопросам сократились» не только между главными партиями, но и всеми партиями с более чем 5% поддержки [там же].

Что означали эти перемены для партийных систем? Во-первых, то, что «старые» (в большинстве, но не во всех случаях) партии смогли существенно изменить свою повестку дня, сохранив базу своей поддержки, т.е. партии и общество эволюционировали в одном направлении. Именно такой вывод сделал М. Липсет, интерпретируя исследования Дж. Томаса: «”не левые” сдвинулись влево сильнее, чем “левые” вправо... Причина в том, что сам истеблишмент сместился влево, поэтому сдвиги в партийных позициях следовали за консенсусом и оказывались незаметными» [там же]. Сказалась и традиционная для устойчивых электоратов инерционность в лояльности партиям, и то, что (еще одно утверждение М. Липсета) такие партии (и левые, и правые) почти никогда не отказывались от своего «главного мифа», идеологического ярлыка как главного идентификатора, но стали относить его на отдаленную перспективу [там же, с. 475], – что помогало сохранить лояльность избирателей. Важно и то, что основная масса избирателей, как и политическая элита, принадлежала к тому же «военному поколению», которое интуитивно испытывало ту же потребность – не допустить повторения ужасов войны.

Во-вторых, произошло переопределение главных осей политического размежевания. Споры о том, сдвинулась ли главная ось

влево или вправо, продолжают по сей день, чаще утверждается (см. выводы Дж. Томаса), что вектор перемен был направлен влево, хотя есть и иная точка зрения¹. Оговоримся, что такие рассуждения неизбежно носят характер относительный и субъективный. Субъективный потому, что каждый оценивающий неизбежно привносит свою интерпретацию «левого» и «правого» в зависимости в том числе и от собственных убеждений. Сошлемся, например, на ламентацию М. Липсета о «триумфе и трагедии» консерваторов, вынужденных реализовывать более левую повестку дня, чтобы не допустить еще более левых перегибов и при этом жертвуя своими ценностями [Липсет, 2016, с. 338–339]. Относительность же оценок проявляется в том, что хотя исследователи (и Дж. Томас, и современные базы данных типа YouGov или Project Manifesto) выстраивают «лево-правую» шкалу на основании субстантивных индикаторов (типа анализа партийных программ и / или иных документов). Такая шкала позволяет оценивать сдвиги только внутри одной партийной системы, т.е. одной страны, сравнительные же оценки вряд ли возможны, поскольку понятия «левое» и «правое» могут существенно отличаться от страны к стране и в разные временные периоды.

Однако еще более существенно то, что оси, по которым производятся оценки, не параллельны, а порой ортогональны друг другу. Если говорить о «классовом компромиссе», приведшем к сглаживанию градуса противоречий между левыми и правыми, то он не сводится к сближению позиций по социально-экономическим вопросам (объем перераспределяемых государством средств в целях социальной защиты, налоговое бремя, степень и формы государственного вмешательства в экономику), но включает и темы, скорее относящиеся к другой «липсетовской оси» – «либерализм – авторитаризм». К тому же, например, если в экономике понятие «либеральный» (в современных условиях чаще – «неолиберальный») обычно ассоциируется с правым флангом, то в политической и гуманитарной сферах «либеральное» – это скорее «левое», связанное с правами меньшинств, гражданскими свободами и т.п.

Общие параметры «партийного сдвига» этого периода можно резюмировать следующим образом. Во-первых, произошло «сжа-

¹ Американский политолог А. Пшеворский в переписке с автором в феврале 2017 г.

тие» лево-правой оси. Идеино-политическая дистанция между правым и левым центрами сократилась, образовался широкий центристский мейнстрим, правая и левая составляющие которого чередовались у власти единолично или в составе более широких коалиций, не исключая в некоторых странах и «больших коалиций» обоих сегментов центра. Партии этого центра разделяли принципы рыночной экономики с надежными социальными гарантиями. Во-вторых, этот консенсус разделял ценности либеральной демократии и классового мира. На эти позиции перешли и социал-демократы, отказавшиеся от революционной марксистской фразеологии, и консерваторы, еще недавно ностальгировавшие по патриархальному укладу. Радикализм и экстремизм, противоречащие этим принципам, оказались на далекой обочине партийных систем. Парадоксальным образом, партии с либеральными платформами в большинстве стран в этот период отошли на вторые роли, однако и консерваторы, и социалисты стали разделять основные ценности либерализма.

В-третьих, «замороженность» партийных систем, описанная Липсетом и Рокканом, отнюдь не означала их иммобильности или стагнации. Как показано выше, в этот период Запад переживал бурное социально-экономическое развитие, сопровождавшееся существенными изменениями в структуре и ценностях общества, и политический класс, объединенный в партии, в целом уверенно управлял этими процессами.

«Размораживание» партийных систем, или Этапы «тихой революции»

Качественные подвижки в партийных системах начались в конце 60-х годов прошлого века. В классической работе Липсета и Роккана адекватно описаны предпосылки этой ожидаемой перемены – государство всеобщего благосостояния, распространение массовой культуры, повышение уровня образования. Однако предсказание «эффекта» этих предпосылок у них оказалось верным по вектору, но не конкретному сценарию. Они ожидали обострения конкуренции за власть (частых смен правительств) и усложнения коалиционных стратегий, но не упоминали возможности появления принципиально новых партий [Lipset, Rokkan, 1967, p. 43–44].

Несколькими годами позже на тех же основаниях авторитетные авторы отмечают закат традиционной системы размежеваний – «диссипацию [рассеяние] религии, увядание национализма, упадок (если не полное исчезновение) идеологии, основанной на противостоянии классов» – и предполагают, что «партии – политическая форма, специфически приспособленная к нуждам индустриального общества», а потому «переход к постиндустриальной фазе развития... означает конец привычной партийной системы» и угрозу самому институту политического участия [Crozier, Huntington, Watatani, 1975, p. 91].

Симптомами перемен стали студенческие движения во Франции и США, достигшие пика в 1968 г. и бросившие вызов традиционному истеблишменту, его ценностям и образу жизни. На политической арене впервые появилось послевоенное поколение, ставшее бенефициаром экономических, политических и культурных достижений того самого истеблишмента, против которого оно восстало.

Новые ценности, исповедуемые этим поколением, получили название *постматериалистических* (у Липсета, а впоследствии и в известной концептуальной работе А. Лейпхарта [Lijphart, 1999, p. 80–81]) или *постиндустриальных* (в работах Р. Инглхарта). Именно они, как отмечает Липсет, стали основой антиистеблишментной политики 1960-х годов. Инициировалась эта политика представителями имущих классов (чаще – молодыми), а сопротивление их продвижению оказывали «менее процветающие, менее образованные граждане, занимающие более низкое социальное положение». В первую очередь это отразилось на левой части политического спектра. Липсет пишет: «Левых сейчас двое – “материалист” и “постматериалист”». Второй из них принадлежит к «более богатым и лучше образованным слоям», а «ответный социальный консерватизм способствовал формированию поддержки для правых-от-центра партий со стороны менее привилегированных и менее образованных слоев общества», что, по его мнению, не отменяло базового размежевания на левых и правых [Липсет, 2016, с. 536–546].

Этот процесс Р. Инглхарт в 1971 г. назвал «тихой революцией» [Inglehart, 1971], имея в виду прежде всего революцию ценностей нового поколения, но революционными стали и ее последствия для партийных систем. Фактически впервые – возможно, с

начала XX в., – появилось новое значимое размежевание, которое в соответствии с духом, если не буквой теории Липсета и Роккана, потребовало и новых представителей в политическом пространстве.

Именно на этой хронологической точке начинаются принципиальные подвижки в партийных системах. «Ортогональность» прежних – построенных на «лево-правой» шкале, – и новых, постматериалистических размежеваний и ценностей общества приводит к новым расколам, появлению движений «одного вопроса». Как отмечает М. Липсет, «из-за перекрестного давления несхожих позиций в отношении экономических и социальных ценностей уменьшилась значимость верности партиям, ранее связанным со структурными источниками раскола в индустриальном обществе» [Липсет, 2016, с. 535]. Этому процессу активно способствовали сдвиги и в социальной структуре общества – рост удельного веса среднего класса и людей с высшим образованием, и в механизмах социальной мобилизации. Липсет писал, что в последние десятилетия XX в. значительно снизилась массовость организаций, в прошлом игравших роль связующих звеньев между партиями и избирателями – профсоюзов «слева» и церковных организаций – «справа» [там же]. По наблюдениям авторов современной типологии партийных систем, партийные организации становятся «тоньше», т.е. менее массовыми по членству, менее плотной сетью партийного аппарата и актива [Gunther, Diamond, 2003, p. 171–173].

«Активной стороной», породившей этот сдвиг, стала левая часть политического спектра, поскольку именно она «впитала» новые ценности и расширила свою массовую базу. Сдвиг начался с упомянутых студенческих движений, чуть позже – в начале 1970-х годов – возникают первые «новые левые» партии – «Зеленые» в Германии, постматериалистические партии в Бельгии и Нидерландах. Однако масштаб этого сдвига остается умеренным: лишь в 1983 г. немецкие «Зеленые» первый раз преодолевают 5%-ный барьер и попадают в Бундестаг. Много позже, в конце века, А. Лейпхарт отмечает наличие значимого, т.е. существенно влияющего постматериалистического размежевания лишь в четырех из 36 анализируемых им демократий, причем только в Нидерландах это влияние оценивалось как сильное [Lijphart, 1999, p. 80–81]. В 1970–1980-е годы появляются первые «новые правые» партии, в том числе –

французский Национальный фронт, но они остаются аутсайдерами партийной политики.

Почему же, в отличие от прошлых лет, на партийной арене появляются новые партии? Первая причина в том, что у традиционных партий программы оказались «прилипчивыми» (sticky): их было трудно изменить без риска потери мотивации и партийного актива, и массового избирателя [Hooghe, Marks, 2018]. Эти партии пытались адаптироваться к новым ценностям: левые и центристы стали уделять больше внимания природоохранной тематике, «правые» получали голоса тех, кого новые ценности отталкивали (например, в том же знаковом 1968 г. рабочие и традиционные избиратели Демократической партии США – вопреки электоральной традиции – поддерживают консерваторов де Голля и Г. Уоллеса [Inglehart, Norris, 2016, p. 21]), но все же новое размежевание потребовало иного проводника интересов. Еще одна причина в том, что в прежние эпохи партии возникали при уже сложившихся размежеваниях; сдвиги в них происходили синхронно с расширением избирательного права и / или социальной эмансипацией низших классов, и новые группы активных избирателей «вписывались» в уже сложившуюся конфигурацию партийных систем, лишь постепенно меняя расклад сил в ней. Именно так происходил постепенный подъем социал-демократических, а порой – и коммунистических партий. В современную же эпоху, при полноценном избирательном праве, те же избиратели – или их новое поколение – формулируют иной запрос, т.е. новые партии возникают под вновь образовавшееся размежевание, являются функциями от них [Hooghe, Marks, 2018].

Современные интерпретаторы теории Липсета и Роккана подчеркивают, что партийные системы изменяются не эволюционно, а скачкообразно, дискретно [Hooghe, Marks, 2018]. В определенном смысле это несомненно: изменения проявляют себя на выборах, которые происходят один раз в несколько лет. Общий масштаб сдвига также свидетельствует о значительности изменений. Голосование за умеренные политические партии снизилось в среднем по Европе с 75% на первых выборах после 2000 г. до 64% на последних выборах перед 1 января 2017 г. [ibid.]. При этом политическое влияние партий, относимых к популистским авторитетными экспертами, действительно выросло с 1960-х годов по 2016 г.: вдвое – по голосам из-

бирателей (с 5,1 до 13,2%), второе – по местам в парламентах (с 3,8 до 12,8%) [Inglehart, Norris, 2016, p. 2].

Таблица 1

Динамика показателя эффективного числа парламентских партий в десяти странах Европы (1950–2017)

	1950–1980	1981–1990	1991–2000	2001–2010	2010–2014	2015–2017
Австрия	2,28	2,53	3,00	3,00	4,44	
Бельгия	3,65	5,35	6,90	7,61	7,99	
Великобритания	2,08	2,14	2,19	2,32	2,57	2,46
Германия	2,60	3,05	2,99	3,78	3,78	4,65
Греция	2,06	2,27	2,28	2,40	3,91	
Испания	2,88	2,67	2,68	2,44	2,60	4,15
Нидерланды	4,86	3,75	4,65	5,52	6,22	8,11
Португалия	3,07	3,09	2,46	2,73	2,96	2,71
Франция	4,13	3,40	3,26	2,79	2,67	2,98
Швейцария	4,97	5,34	5,90	4,93	5,57	5,23

Примечание: в столбцах – среднеарифметический показатель эффективно-го числа парламентских партий на всех общенациональных выборах, состоявшихся за соответствующий период.

Источник: рассчитано автором на основе базы данных исследовательского проекта по функционированию политических партий НИУ ВШЭ (по 2013 г. включительно) [Партии и партийные системы, 2015] и электорального архива Адама Карра – за 2014–2017 гг.¹

Однако абсолютизировать это утверждение было бы неправильно. Колебания партий по лево-правой шкале относительно невелики и носят во многом конъюнктурный характер, что продемонстрировано недавнее исследование Р. Далтона и Я. Макаллистера [Dalton, McAllister, 2015]. Как показано в таблице 1, из десяти «старых» европейских демократий средний показатель эффективного числа парламентских партий (ЭЧПП) значительно вырос в шести, причем этот рост происходил по хронологически разным сценариям: в Австрии, Греции и Испании (во всех этих системах действительно обозначилась сильная «новая партия») – во втором десятилетии XXI в.; в Бельгии и Германии – плавно на протяжении более длительного периода; в Нидерландах – экспонентно – с начала нынешнего века.

¹ Adam Carr's election archive. – Mode of access: <http://psephos.adam-carr.net/>

Отметим еще одну особенность: в обеих странах этой выборки, использующих мажоритарную избирательную систему (равно как и в не включенных в нее США), показатель ЭЧПП не претерпел резких изменений, в том числе на знаковых выборах 2016–2017 гг., несмотря на то что расклад партийно-политических сил в них существенно изменился. Это утверждение особенно значимо для Франции, где фактически развалилась прежняя партийная система, строившаяся вокруг правого и левого центров. Это означает, что при пропорциональной избирательной системе фрагментация партийных систем действительно возможна – при наличии объективных к тому предпосылок, но может происходить как скачкообразно, так и плавно (или не происходить вообще, как в Португалии или Швейцарии), а при мажоритарной системе (даже двухтуровой, как во Франции) более вероятны сдвиги в политических платформах традиционных партий – принятие евроскептической позиции Консервативной партией Великобритании или сдвиг в правый популизм в Республиканской партии США, либо перформативное ключевых игроков – появление во Франции крупной новой партии «на медиане» лево-правой шкалы при провале традиционного левого и сдаче позиций традиционным правым центрами партийной системы.

Эта тенденция к фрагментации партийных систем, порожденной постматериалистическим размежеванием, носит долгосрочный характер. М. Липсет четверть века назад предсказывал ей устойчивость, объясняя это наличием у постматериалистических ценностей множества структурных компонентов, которые в совокупности соревнуются за приоритетность с ценностями материальными [Липсет, 2016, с. 545].

Новые размежевания добавляются к прежним, образуя различные – порой неожиданные и внешне противоречивые сочетания в программах и «старых» и в особенности – «новых» партий. Как отмечают исследователи, результатом этого процесса становится не перегруппировка позиций партиями, а усложнение, разрастание (accretion) системы представительства интересов.

Попытки качественно охарактеризовать новое размежевание, описать его содержательное наполнение и соотношение с социально-экономическим (с долей упрощения – «лево-правым») размежеванием продолжают уже несколько десятилетий, особенно активно – в последние годы. В некоторых из подобных ин-

терпретаций противопоставляют «прогрессивные» ценности «традиционным»; не менее редко в качестве «оси» между новыми левыми и новыми правыми называются либерализм и, соответственно, авторитарность или антилиберализм – в полном согласии с описанной выше «дополнительной осью» у М. Липсета. Наиболее последовательно эта классификация проводится в работах исследовательского центра Университета Северной Каролины, который ввел понятие размежевания TAN (traditional-authority-nationalism) – GAL (green-alternative-libertarian) [Hooghe, Marks, 2018].

Однако обращает на себя внимание то, что в фокусе наиболее острых противоречий между новыми акторами на партийной арене многие исследователи видят проблемы не внутривнутриполитические, которые традиционно определяли сценарий межпартийной борьбы в каждой стране, а международные.

Такое развитие событий диктовалось бурно развивавшимися процессами глобализации и европейской интеграции, во многом обеспечивавшими социально-экономический подъем Запада и распространение новых ценностей. По оценкам авторов, введших в научный оборот понятие «транснациональное размежевание» [Hooghe, Marks, 2018], в 90-е годы прошлого века нараставший «транснационализм» консенсусно поддерживался как левыми, так и правыми традиционными партиями: на росте открытости и интегрированности экономик строились все социально-экономические стратегии. Однако, как заметил Р. Инглхарт еще в конце прошлого века, у новых партий позиции по «открытости» или «закрытости» страны перед лицом интеграции и глобализации (соответственно, национализм или «многосторонность») тесно коррелируют с более общими проблемами: либеральная демократичность или склонность к авторитарности или популизму, традиционными или современными ценностями – это размежевание обозначено у него как «космополитичный либерализм против популизма» [Inglehart, 1997, p. 245]. Чаще популизм оказывается «правым», а либерализм – центристским или левым, однако это не классическая «право-левая» ось, в основе которой – материальные ценности и социально-экономическое размежевание. Инглхарт описывает немецкую Партию демократического социализма (ныне – «Левая партия»), которая сочетает антилиберализм с крайне левой позицией [Inglehart, 1997, p. 245]; аналогичный пример – болгарская партия «Атака» [Ganev, 2017]. Оба этих случая объясняются наследием коммунистической – ра-

дикально антилиберальной традиции. «Левым» в последние годы оказался и популизм в странах Южной Европы, особенно сильно пострадавших от последствий социально-экономического кризиса – Греции (СИРИЗА) и Испании («Подemos»).

Питер Майр, один из авторов теории «картельных» партий, отрывающихся от общества и сращивающихся с государством [Katz, Mair, 1995], экстраполировал свою гипотезу об увеличивающемся разрыве между обществом и его партийным представительством в политическом пространстве. С делегированием части полномочий от суверенных европейских государств Евросоюзу, согласно его трактовке, партии частично утрачивают одну из своих главных функций: представительства интересов избирателей в исполнительной власти и участия в балансе сдержек и противовесов, поскольку исполнительные органы ЕС формируются не через прямые выборы, а Европейский парламент ограничен в сфере своей компетенции. При действующей институциональной системе невозможна оппозиция «внутри» ЕС, т.е. выражение у избирательных урн несогласия с интегрированным политическим и социально-экономическим курсом – от фискального до политики в области иммиграции, меньшинств и т.п. В таком случае на национальном уровне неизбежна «оппозиция против ЕС», т.е. против политики национальных правительств, участвующих в выработке курса ЕС. А поскольку в большинстве случаев и правый, и левый центры политического спектра придерживаются «проевропейской» позиции, то голоса «против ЕС» или всего того, что с ним ассоциируется, уходят новым популистским партиям. В трактовке Майра возникает – если вернуться к теории Липсета и Роккана – новое измерение размежевания «центр – периферия», где «центр» – это брюссельская бюрократия, а «периферия» – национальные государства. Конфликты здесь возникают и по поводу *policies* (распределение ресурсов), и по поводу идеологических ценностей.

Партии и кризис постмодерна

Итак, можно считать сложившейся – хотя и продолжающей достаточно активно развиваться – новую парадигму общественно-политических размежеваний. В приведенных выше рассуждениях политологов о характере ее эволюции период с конца 60-х до на-

шего времени рассматривается как единый, разумеется, с выделением этапов и описанием ускорения определенных трендов, например, подъема популизма в последние годы. Такой подход вполне допустим: в основе этого тренда – один и тот же набор явлений и предпосылок.

Но правомерен скорее несколько иной подход: если на развитие партийных систем воздействуют процессы, выходящие за рамки национальных государств, – глобализация, распространение ценностей постмодерна, массовые миграции, то большую часть рассматриваемого периода эти процессы развивались «по восходящей» и приносили основной массе населения ощутимые дивиденды в росте качества жизни. Даже перелом этого тренда в начале XXI в., после которого рост показателей уровня жизни сменился стагнацией, не привел к синхронному росту антиистеблишментных партий. Положение изменили лишь экономический кризис 2008–2009 гг. и последовавшая за ним затяжная рецессия практически во всех странах Запада. Подробное описание экономического кризиса и его социальных последствий не входит в задачи настоящей статьи. Упомянем лишь такие факты, как замедление экономического роста в странах – «старых» членах ОЭСР – примерно с 4% в первые послевоенные десятилетия до 2% в год в XXI в., увеличение разрыва в доходах, снижение занятости в традиционных отраслях. Все это не могло не отразиться на настроениях граждан стабильных западных демократий. По данным Pew Research Center, в Европе и США доля граждан, считающих, что следующее поколение будет финансово менее обеспечено, чем они сами, превышает 60% (обратной точки зрения придерживаются вдвое меньше респондентов), тогда как в Латинской Америке, Азии и Африке пропорция практически обратная. И в том же исследовании зафиксировано положительное отношение к «евроскептическим» или националистическим партиям в большинстве европейских стран [Global attitudes survey, 2015].

Как отмечал по итогам 2013 г. аналитический отдел журнала *The Economist*, последствия кризиса «привели к обостренному ощущению разочарования народных масс и усугубили негативные тенденции политического развития... общественное недовольство демократией проявилось в подъеме популистских и протестных партий, которые в Европе бросили вызов устоявшемуся политическому порядку» [Economist democracy index, 2014].

Набор этих кризисных явлений и реакция на них обществ в виде повышения поддержки антиистеблишментных, преимущественно правых и антилиберальных партий, обладает чертами сходства с тем, как у М. Липсета описаны и проанализированы корни и массовая база поддержки фашистских и других крайне правых режимов в межвоенный период. Насколько нам известно, до сих пор в литературе если и проводилась такая параллель, то лишь применительно к социально-демографическому профилю электоратов или сходству в политической стилистике современных «новых правых» с фашистами [Pasieka, 2017].

Как нам представляется, параллель гораздо более существенна. Подъем фашизма – это реакция общества на явления завершающего периода «классической» модернизации – переход от аграрного общества к индустриальному. Об этом писал и сам М. Липсет: в качестве важнейшего фактора, определяющего политическое развитие Европы межвоенного периода, он называл «великую трансформацию», описанную М. Вебером и К. Поланьи, указывающих, что естественное развитие капиталистических отношений требовало «отмены внутренних границ», создания открытого международного рынка, т.е. своеобразной «глобализации» [Липсет, 2016, с. 163]. Эту мысль М. Липсета многие годы спустя Р. Инглхарт и П. Норрис интерпретировали как объяснение подъема фашизма реакцией против модернизма, вклинившегося между большим бизнесом и организованным трудом [Inglehart, Norris, 2016, p. 10].

С акцентом на внутривнутриполитическое развитие те же модернизационные процессы проанализированы в классическом труде Б. Мура [Мур, 2016], описавшего процесс модернизации как «три пути в современность» – через демократию, фашизм и коммунизм соответственно.

Развернутое сравнение модернизационных процессов первых десятилетий прошлого и нынешнего веков вряд ли уместно в рамках нашей статьи. Однако очевидны совпадения таких тенденций, как интенсификация процессов трансграничной торговли, появление новых отраслей и видов занятости, порождающих сдвиги в социальной структуре. В обоих случаях качественный скачок в развитии социально-экономической среды и следующие из него сдвиги в культуре порождали в обществе раскол между общественными слоями, поднимающимися благодаря новому экономиче-

скому укладу, и менее мобильными гражданами, которых эти перемены лишали уверенности в завтрашнем дне.

Конкретная конфигурация «проигравших» от перемен, разумеется, существенно различается. Но именно они становятся массовой базой для правого радикализма. М. Липсет разбирает эту тему весьма подробно. Фашизм для него – «экстремизм центристского толка» [Липсет, 2016, с. 158–161], трактуемый весьма расширительно: он преимущественно «правый» – наряду с Гитлером, Муссолини и Франко Липсет относит к этой категории М. Хорти, Э. Дольфуса и А. Салазара. Со ссылкой на другие авторитеты он приводит похожие лаконичные определения массовой базы фашизма: «восстание деклассированных» (В. Сауэр), «психологическое обеднение низших частей среднего класса» (Г. Лассуэл) [там же], «нерассосавшаяся фрустрация тех, кто чувствовал себя отрезанным от основных трендов современного общества». Эти слои – мелкие собственники, крестьяне, ремесленники, малый бизнес, жители депрессивных районов (т.е. не только люди определенных профессий, но целые сообщества и регионы); источник их бед – индустриализация, механизация и концентрация производства (они проигрывали рабочему классу и более крупным буржуа) [там же, с. 517].

Липсет резюмирует: конкретные обстоятельства делают таких людей сторонниками «иррациональных идеологий протеста – регионализма, расизма, супернационализма, антикосмополитизма, маккартизма, фашизма» [там же, с. 205]. И он же сам сравнивает этот подъем правого радикализма с более современными феноменами, также бросившими «моральный вызов традиционной религии и патриотизму... Тенденции, конечно, не новые. Они напоминают изменения, которые отождествлялись с модернизмом, инновациями и оскорбляли традиционалистов и правых экстремистов в первые десятилетия XX в.». Еще в 1970-е годы на этих настроениях и с опорой на мелкую буржуазию, село, недавно переселившихся в города поднялись такие более узкие, более «дремучие» силы, как «Сельская партия» в Финляндии и пужадисты во Франции, но уровень их поддержки оставался низким. Отмечая это сходство, к которому мы вернемся несколько ниже, М. Липсет считал невозможными последствия, сопоставимые с подъемом фашизма, отмечая категорическую неспособность этих движений мобилизовать массовую поддержку. Но одну важную

оговорку он все же сделал, и именно она имеет отношение к сегодняшнему дню: «Кажется маловероятным, чтобы в условиях, когда отсутствуют серьезные экономические кризисы или главные международные вызовы национальной безопасности, в развитых странах снова возникли правые экстремистские партии в качестве основной угрозы демократическому процессу...» [Липсет, 2016, с. 524–529].

Как раз такой кризис и случился в 2008–2009 гг., его последствия на Западе до сих пор не преодолены, а порожденные им протестные настроения и фрустрации многократно усилил массовый поток миграции с Ближнего Востока и из Африки, достигший пика в 2016 г. Наступление «постмодерна» породило – на достаточно поздней фазе развития – значимую ответную реакцию «проигрывающих» слоев общества в виде подъема антиистеблишментных настроений, преимущественно правого толка. В этих двух протестных волнах можно найти как сходства, так и различия.

По главному параметру сравнения двух кризисных ситуаций – социальной базе таких настроений – можно найти как сходства, так и различия. Совпадает главная качественная характеристика: это «проигрывающие» слои общества, уже потерявшие что-то в материальном положении и социальном статусе, но главное – опасющиеся потерять еще больше в будущем. Это – как и в межвоенный период – не «самый низ» социальной и доходной пирамиды, а «предпоследние двадцать процентов [по уровню доходов] постмодернистского общества, слой, относительно защищенный от бедности, но все же боящийся еще что-то потерять» [Minkenberg, 2000, p. 187]. Протестные настроения порождает не столько абсолютная, сколько относительная депривация, согласно известной теории – главный триггер протестных настроений [Gurr, 1970].

Современные исследования [Inglehart, Norris, 2016, p. 16–27] в качестве наиболее склонных к поддержке правых радикалов выявляют старшее поколение, мужчин, религиозных, принадлежащих к этническому большинству, мелкую буржуазию и самозанятых. Проживание на селе или в малом городе, в депрессивном экономическом районе также повышает вероятность голосования за правых радикалов. Как мы видим, эти факторы схожи с межвоенным периодом. Единственное значимое различие: поддержка радикалов низка среди низкоквалифицированных рабочих, но остальной рабочий класс скорее склонен за них голосовать. Дело,

очевидно, в том, что современный квалифицированный рабочий и по уровню дохода, и по образу жизни (а значит, и социальному статусу) приблизился к среднему классу, т.е. ему «есть что терять», а отсюда и страхи. К тому же, хотя в разных странах картина существенно различается, ослабли массовость и влияние профсоюзов, которые в прошлом были одними из главных инструментов электоральной мобилизации за традиционных левых. Но, повторим, главное совпадение – утрата уверенности в завтрашнем дне, трансформирующаяся в политическом поведении в недоверие истеблишменту, будь то левому или правому.

Второй параметр для сравнения – целеполагание радикальных партий. И в прошлую, и в нынешнюю эпоху праворадикальные партии обладают признаками того, что М. Липсет, ссылаясь на работу З. Ноймана (Neumann, 1932), называл «интеграционностью» – стремлением «привести мир в... соответствие со своей базовой философией, ярыми приверженцами и фанатичными бойцами» за которую они являются. Схожие, но не идентичные тенденции у «новых партий», причем не только правых, отмечают и современные исследователи: в отличие от более крупных партий, стремящихся максимизировать свой успех на выборах (vote-seeking в духе теории Э. Даунза), радикальные партии стремятся к максимальному продвижению своей программы (policy-driven), т.е. проявляют идеологическую жесткость [Dalton, McAllister, 2015, p. 760–765]. Однако в «чистом виде» такая «упертность» присуща только крайним маргиналам наподобие партий Йоббик в Венгрии или «Золотая заря» в Греции, набирающим на выборах небольшую долю голосов. Другие же радикальные партии все же усвоили электоралистскую (в смысле упоминавшейся выше типологии Гюнтера и Даймонда) повадку, более того, после первых успехов порой идут на смягчение своих позиций, понимая, что это единственный способ расширить свой электорат, такую эволюцию мы отмечаем, например, у «Национального фронта» во Франции или «Партии независимости» в Великобритании [Консерватизм и развитие, 2015, с. 56].

В этом – главное отличие, точнее, главный итог политического развития Запада: снижение остроты классового конфликта, обострить который на былом уровне у радикалов не получается, поскольку классовые противоречия относятся скорее к основной, «право-левой» оси, а на ней существенных сдвигов не происходит. Иными словами, даже такие радикальные силы не могут выйти за

рамки писаных и неписаных правил консолидированной демократии как «единственной игры в городе» [Linz, Stepan, 1996, p. 5], даже при том, что это выражение стало модным ставить под сомнение или подвергать насмешкам¹.

Относительное снижение значимости «классовой» оси, разделяющей левых и правых, – причина того, что в сегодняшнем кризисе левого радикализма гораздо меньше. Современного аналога «ленинистского» (в терминологии Гюнтера и Даймонда) левого антилиберализма практически не существует. Левее истеблишментной социал-демократии располагаются «зеленые», массовую базу которых составляет «другой левый», описанный выше со ссылкой на М. Липсета, и иные группировки, утратившие свой «интеграционистский пыл». Самые заметные из «новых левых» – это греческая СИРИЗА, испанское «Подemos» и потенциально – «Непокоренная Франция» Ж.-Л. Меланшона. Они радикальны, но практически не имеют авторитарного начала. Действительно авторитарные силы слева почти отсутствуют, возможно, за исключением болгарской «Атаки».

Во всем остальном месседж и стилистика правых действительно имеют немало общего с предшественниками – как в основных программных установках, так и в деталях и символах, порой – случайных, порой – намеренно заимствованных «правыми»². А реальные программы всех правых радикалов отличают такие общие черты, как плебисцитарность и популизм, национализм, фобии к «иным», т.е. этническим и религиозным меньшинствам, евроскептицизм.

Наконец, есть еще один параметр, по которому возможно сопоставление двух праворадикальных «подъемов», – международная рамка. Не останавливаясь подробно на связях между фашистскими и подобными им режимами в межвоенный период, отметим, что антагонистическое противостояние между коммунизмом и капитализмом, непреодоленное наследие Первой мировой войны, скорее способствовало приходу и закреплению у власти подобных сил, а во Второй мировой войне страны, управляемые такими режимами,

¹ См. например, известное утверждение политолога И. Крастева: «...но что делать, если играть в эту игру никто не хочет?» [Krastev, 2012].

² Обзор таких заимствований см.: [Pasiека, 2017].

оказались союзниками или, во всяком случае, дружественными друг другу.

Нынешняя ситуация принципиально отлична. И институциональная рамка Европейского союза, и ценностная основа европейских государств построены на принципах либеральной демократии. Примеры «прямого воздействия» Объединенной Европы на правых радикалов – обструкция европейских государств правительству Австрии, когда в него в 1999 г. вошла «Партия Свободы»; нынешнее противодействие Брюсселя антидемократическим и антилиберальным мерам, предпринимаемым правопопулистскими кабинетами Польши и Венгрии. Важна – хотя требует отдельных исследований – и роль всего политического класса Запада, осуждающего и критикующего праворадикальные тенденции. Правые радикалы и популисты из разных стран также стремятся к сотрудничеству между собой, однако его формат ограничен и в основном сводится к дружественным отношениям между лидерами таких сил. Не случайно в Европейском парламенте такие силы распределяются между тремя разными депутатскими фракциями, наиболее заметна «Европа наций и свобод», в которую, в частности, входят австрийская и голландская «Партии свободы» и французский «Национальный фронт».

Кратко резюмируя это сопоставление, можно сказать, что «кризис постмодерна», выразившийся в подъеме праворадикальных популистских сил, действительно имеет место. В таблице 2 зафиксирован рост популярности таких партий со второй половины прошлого десятилетия и по середину текущего. Хотя 2017 г. не принес этим силам таких значимых успехов, как предыдущий («успех» референдума о Брексите, победа Д. Трампа в США) – ни «Партия свободы» в Нидерландах, ни «Национальный фронт» во Франции не приблизились после недавних выборов к вхождению во власть, – говорить о прекращении этой тенденции было бы преждевременно. Даже упомянутые поражения на выборах продемонстрировали, что голландские и французские популисты имеют внушительную электоральную базу. Популистский подъем отражает и кризисные тенденции в восприятии демократии обществами, и дает повод опасаться эрозии демократических институтов [Foa, Mounk, 2016].

Таблица 2

Динамика электоральных показателей правопопулистских партий в Европе, % (1990–2017)

Партия (страна)	1990–1995	1996–2000	2001–2005	2006–2010	2011–2015	2016–2017
Партия независимости Соединенного Королевства		0,30	1,90	3,10	12,60	1,80
Национальный фронт (Франция)	12,40	15,30	11,30	4,30	13,60	13,20
Альтернатива для Германии					4,70	13,3
Лига Севера (Италия)	8,60	10,10	3,90	6,40	4,00	
Шведские демократы				4,30	12,90	
Истинные финны		1,00	1,60	4,10	18,50	
Датская народная партия		7,40	12,60	13,90	12,30	
Партия свободы (Нидерланды)				10,70	10,10	13,10
Партия Свободы (Австрия)	20,30	26,90	10,00	14,60	20,50	
Фидес (Венгрия)		28,20	41,10	47,75	44,50	
Йоббик (Венгрия)				16,40	20,50	
Право и справедливость (Польша)			18,25	32,10	33,75	
Среднее	13,77	12,74	12,58	14,33	17,33	9,73

Примечание: в столбцах – среднеарифметический показатель результата партии на всех общенациональных выборах, состоявшихся за соответствующий пятилетний период.

Источник: рассчитано автором на основе базы данных исследовательского проекта по функционированию политических партий НИУ ВШЭ (по 2013 г. включительно) [Партии и партийные системы, 2015] и электорального архива Адама Карра – за 2014–2017 гг.¹

Такие силы, во-первых, остаются партиями меньшинства и в большинстве случаев не располагают – в категориях Дж. Сартори [Sartori, 1976] – «коалиционным потенциалом», т.е. не рассматриваются другими политическими силами как потенциальные партнеры по правительственной коалиции. Но еще более важно другое: сравнение кризисных ситуаций эпох «модерна» и «постмодерна», произвести которое нам помогли «празднующая юбилей» работа М. Липсета и С. Роккана и политологическая литература, во многом основывающаяся на их теории, дает почву для определенного оптимизма. Принципиальными преградами на пути авторитарных и правых тенденций остаются «классовый компромисс», устранивший антагонизм «право-левого» противостояния прошлой эпохи,

¹ Adam Carr's election archive. – Mode of access: <http://psephos.adam-carr.net/>

и консолидация демократии в странах Запада, не допускающая сильного роста авторитарных тенденций. Все эти явления – предмет дальнейших исследований, опирающихся на полувековой давности работу М. Липсета и С. Роккана.

Для политической науки история применения теории М. Липсета и С. Роккана – очевидная «история успеха». Даже те авторы, которые ее критиковали или дополняли, «стояли на плечах гигантов», если вспомнить известное объяснение И. Ньютоном своих достижений; ее концептуальный подход доказал возможность применять ее в самых разных исторических и географических контекстах для анализа явлений, которые авторы не могли предвидеть полвека назад. Однако нельзя не заметить и естественного ограничителя этой теории: она сама допускает «ортогональность» общественно-политических размежеваний, наличие наряду с главной – «лево-правой» – осью еще и дополнительной, а механизм появления «на пересечениях» этих осей нескольких партий у авторов теории (в частности, в многократно цитировавшейся работе М. Липсета) иллюстрируется конкретными примерами, но не получает всеобъемлющего разъяснения. В условиях постматериалистического мира эти пересечения еще более многочисленны и разнообразны – в нашей статье использовано лишь несколько примеров, приводимых современными авторами. Задача политической науки – найти развитие теории М. Липсета и С. Роккана, которое позволило бы анализировать, а в идеале и предсказывать, какие изменения в системе размежеваний оказывают воздействие на сдвиги в партийных системах в конкретных странах и в странах с развитым политическим плюрализмом в целом.

Список литературы

- Данн Дж. Не очаровываться демократией / Пер. с англ. И. Кушнareвой. – М.: Изд-во Ин-та Гайдара, 2016. – 160 с.
- Консерватизм и развитие: Основы общественного согласия / Под ред. Б.И. Макаренко. – М.: Альпина Паблишер, 2015. – 332 с.
- Липсет М. Политический человек: Социальные основания политики. Расширенное издание / Пер. с англ. Е.Г. Генделя, В.П. Гайдамака, А.В. Матешук. – М.: Мысль, 2016. – 612 с.
- Партии и партийные системы: Современные тенденции развития / Под ред. Б.И. Макаренко. – М.: Политическая энциклопедия, 2015. – 303 с.

- Баррингтон М.* Социальные истоки диктатуры и демократии. Роль помещика и крестьянина в создании современного мира / Пер. с англ. А. Глухова; под науч. ред. Н. Эйдельмана. – М.: НИУ ВШЭ, 2016. – 488 с.
- Crozier M., Huntington S., Watanuki J.* The crisis of democracy. – N.Y.: New York univ. press, 1975. – 227 p.
- Dalton R., McAllister I.* Random walk or planned excursion? Continuity and change in the left-right positions of political parties // Comparative political studies. – Thousand Oaks, CA, 2015. – Vol. 48, N 6. – P. 759–787.
- The economist democracy index. – 2014. – Mode of access: <http://www.sudestada.com.uy/content/articles/421a313a-d58f-462e-9b24-2504a37f6b56/democracy-index-2014.pdf> (Accessed: 17.09.2017.)
- Foa R.S., Mounk Y.* The democratic disconnect // Journal of democracy. – Baltimore, 2016. – Vol. 27, N 3. – P. 5–17.
- Ganev V.* «Neoliberalism is fascism and should be criminalized»: Bulgarian populism as left-wing radicalism // Slavic review. – Cambridge, 2017. – Vol. 76, N S1. – P. S9–S18.
- Geddes B.* Paradigms and sand castles: Theory building and research design // Comparative politics. – Ann Arbor: Univ. of Michigan press, 2003. – P. 148–173.
- Global attitudes survey / Pew research center. – 2015. – Spring. – Mode of access: <http://www.pewglobal.org/2015/06/02/faith-in-european-project-reviving/eu-lede-graphic/> (Accessed: 17.09.2017.)
- Gunther R., Diamond L.* Species of political parties: A new typology // Party politics. – Cambridge, 2003. – Vol. 9, N 2. – P. 167–199.
- Gurr T.* Why men rebel. – Princeton: Princeton univ. press, 1970. – 423 p.
- Hooghe L., Marks G.* Cleavage theory meets Europe's crises: Lipset, Rokkan, and the transnational cleavage // Journal of European public policy. – L., 2018. – Vol. 25, Iss. 1. – P. 109–135.
- Inglehart R.* The silent revolution in Europe: Intergenerational change in post-industrial societies // American political science review. – Cambridge, 1971. – Vol. 65, N 4. – P. 991–1017.
- Inglehart R.* Modernization and postmodernization: Cultural, economic and political change in 43 societies. – Princeton: Princeton univ. press, 1997. – 453 p.
- Inglehart R., Norris P.* Trump, Brexit, and the rise of populism: Economic have-nots and cultural backlash // Faculty research working paper series. – Cambridge, Mass., 2016. – August. – 53 p.
- Katz P., Mair P.* Changing models of party organization and party democracy: The emergence of cartel party // Party politics. – Cambridge, 1995. – Vol. 1, N 1. – P. 5–28.
- Krastev I.* Can democracy exist without trust? – 2012. – Mode of access: https://www.ted.com/talks/ivan_krastev_can_democracy_exist_without_trust (Accessed: 12.12.2017.)
- Lijphart A.* Patterns of democracy: Government forms and performance in thirty-six countries. – New Heaven: Yale univ. press, 1999. – 351 p.
- Linz J., Stepan A.* Problems of democratic transition and consolidation. – Baltimore: Johns Hopkins univ. press, 1996. – 479 p.

- Lipset S.M., Rokkan S.* Party systems and voter alignments: Cross-national perspectives. – N.Y.; Toronto: The Free Press, 1967. – 61 p.
- Minkenberg M.* The renewal of the radical right: between modernity and anti-modernity // Government and opposition. – Cambridge, 2000. – Vol. 35, Iss. 2. – P. 170–188.
- Neumann Z.* Die Deutschen Parteien: Wesen und Wandel nach dem Kriege. – Berlin: Junker und Dunnhaupt Verlag, 1932. – 139 S.
- Pasieka A.* Taking far-right claims seriously: Anthropology and study of right-wing radicalism // Slavic review. – Cambridge, 2017. – Vol. 76, N S1. – P. S19–S29.
- Sartori G.* Parties and party systems. – Cambridge: Cambridge univ. press, 1976. – Vol. 1: A framework for analysis. – 368 p.
- Schlesinger A.M.Jr.* The vital center: The politics of freedom. – Boston: Houghton Mifflin Company, 1949. – 274 p.
- Tavits M.* Post-Communist democracies and party organization. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2013. – 289 p.
- Zielinski J.* Translating social cleavages into party systems: The significance of new democracies // World politics. – N.Y., 2002. – Vol. 54, N 2. – P. 184–211.

Е.Ю. Мелешкина*

ОТВЕРГАЯ СИМВОЛИКУ ПРОШЛОГО: ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА ПРИНЯТИЕ ЗАКОНОВ О ДЕКОММУНИЗАЦИИ¹

Аннотация. В фокусе внимания статьи – принятие законодательных норм о запрете коммунистических символов в посткоммунистических странах. Выявляются условия, в которых происходило появление соответствующих юридических норм. С помощью качественного сравнительного анализа выделяются типы стран, одоббивших запрет на коммунистическую символику, их отличия по совокупности условий.

Ключевые слова: коммунистические символы; законы о декоммунизации; посткоммунистические страны; качественный сравнительный анализ.

E.Yu. Meleshkina

Rejecting symbols of the past: Impact of political conditions on decommunization laws

Abstract. The article focuses on legal prohibition of communist symbols in post-communist countries. Conditions of the prohibition are highlighted. The author applies qualitative comparative analysis to create a typology of countries had bent the communist symbols. The typology is based on varieties of sets of the conditions.

* **Мелешкина Елена Юрьевна**, доктор политических наук, заведующая отделом политической науки ИНИОН РАН, профессор кафедры сравнительной политологии МГИМО (У) МИД РФ (Москва), e-mail: elenameleshkina@yandex.ru

Meleshkina Elena, Institute of Information on Social Sciences of the Russian Academy of Sciences, (Moscow, Russia); Moscow State Institute of International Relations, MFA Russia (Moscow, Russia), e-mail: elenameleshkina@yandex.ru.

¹ Исследование выполнено на средства гранта Российского научного фонда (проект № 17-18-01589) в Институте научной информации по общественным наукам РАН.

Keywords: communist symbols; decommunization laws; post-communist countries; qualitative comparative analysis.

Прошло больше 20 лет после падения коммунистических режимов в странах Восточной Европы и бывшего Советского Союза. Несмотря на ряд сходных черт в начале нового пути, обусловленных коммунистическим прошлым, эти государства сейчас различаются по качеству государственного управления, специфике политического режима, внешнеполитическому курсу и ряду других характеристик. Различия траекторий развития во многом определяются проводимой в этих странах политикой по отношению к прошлому, в том числе к существовавшим в коммунистический период институтам, включая их символическое и кадровое наполнение.

Интерес к политике памяти в посткоммунистических странах со стороны политологов и представителей смежных дисциплин довольно высок. За последние десять лет было опубликовано немало монографий и статей на эту тему¹. Вместе с тем среди них мало работ, в которых осуществляется систематический кросснациональный сравнительный анализ «политики памяти» или ее отдельных компонентов. Среди таковых выделяются, пожалуй, две монографии.

Первая – коллективное исследование «режимов памяти», сложившихся после падения коммунистических режимов. Результаты проекта нашли отражение в коллективной монографии «Двадцать лет после коммунизма: Политика памяти и коммеморации» под редакцией М. Бернарда и Я. Кубика. Помимо фокусированных сравнений, в ней с помощью качественного сравнительного анализа (QCA) исследуется влияние различных факторов на типы «режимов памяти» [Twenty years after, 2014].

В данной работе используются два основных понятия: «режим памяти» и «мнемотические акторы», участвующие в соревновании за государственную власть и удержание ее в своих руках. Учитывая занимаемую политическими силами позицию по отношению к определенному историческому периоду или событию, авторы определяют типы «мнемотических акторов». В зависимо-

¹ См., например: [Past and making, 2007; History of Communism in Europe, 2010; Memory and change, 2015; History, memory and politics, 2014; Историческая политика, 2012].

сти от конфигурации «мнемотических акторов» выявляются типы режимов памяти. С помощью качественного сравнительного анализа исследователи пытаются решить достаточно сложную исследовательскую задачу формализации элементов символической политики и выявления отдельных групп посткоммунистических стран, отличающихся совокупностью условий существования разных типов «режимов памяти».

Исследование интересно как в плане типологии режимов, так и в части выводов относительно групп стран. Однако допущения авторов и выводы не бесспорны. Во-первых, вызывают некоторое сомнение принципы типологизации самих режимов на основе преобладания «мнемотических акторов» того или иного типа. Несомненно, характер основных акторов – важный фактор, однако тип режима определяется также условиями, в которых они действуют (в частности, значимо согласие по базовым принципам функционирования политики), и взаимоотношения между ними. Во-вторых, вызывает сомнение узкое понимание «режима памяти» как явления, выстраивающегося вокруг какого-либо события. Под политическим режимом в политической науке принято понимать явление более высокого уровня обобщения, включая принципы, нормы, правила и практики, регулирующие взаимодействие акторов в определенной сфере. Режим предполагает определенную степень институционализации и длительности. В рамках одного «режима памяти» может быть несколько значимых событий, в которых проявляется его суть, а отношения между акторами вокруг них могут отличаться.

Анализируя данный коллективный труд, следует сделать следующую оговорку. Задача типологии режимов памяти в более широком понимании, их операционализация, формализация признаков и сведение их в группы со значениями, которые могут использоваться для QCA, – довольно сложная, требующая не только большой концептуальной работы, но и, вероятно, более углубленных казусно-ориентированных исследований. Принимая во внимание это обстоятельство, следует, вероятно, признать описанный опыт проведения качественного сравнительного анализа успешным, открывающим перспективы дальнейших сравнительных исследований в этой области.

Вторая монография – исследование Н. Копосова, посвященное «законам памяти» [Korosov, 2017]. Автор сравнивает характер

«законов памяти», отмечая различия в функциях, которые эти акты выполняют в Западной и Восточной Европе. Он показывает, как в Западной Европе законодательство о Холокосте служило целям интеграции Европы, предупреждению национальных и этнических конфликтов, борьбе с расизмом. В Восточной Европе, напротив, «законы памяти» способствуют созданию нарратива, выгодного отдельным государствам и охраняющего память о виновниках преступлений наряду с их жертвами. Н. Копосов показывает, как эволюционировала политика в отношении этих законов в посткоммунистических странах, выявляет причины этого процесса, включая изменения международной среды и некоторые внутриполитические факторы.

Хотя работа Н. Копосова и не содержит такого исследовательского инструментария, как монография под редакцией М. Бернарда и Я. Кубика, позволяющего на систематической основе сравнивать казусы в малых выборках, а географический охват исследования ограничен странами Западной и Восточной Европы, ее значение для исследования посткоммунистической политики, включая ее символическую составляющую, сложно переоценить. В частности, эта работа убедительно показывает, что «законы памяти», в том числе законы о декоммунизации, являются важным инструментом политического соревнования. Специфика законов о декоммунизации, история их принятия и реализации позволяет судить об особенностях «политики памяти» в той или иной стране и сделать предположения о характеристиках этой политики, объединяющих некоторые страны в типологические группы.

В фокусе внимания данной статьи также находятся законы о декоммунизации в посткоммунистических странах. Однако мы рассматриваем не все эти законы, а только принятие законодательных норм о запрете коммунистических символов. Основное внимание при этом уделяется условиям, в которых происходило появление соответствующих юридических норм. На основе сравнительного анализа в работе выявляются типы стран, одоббивших запрет на коммунистическую символику, их отличия по совокупности этих условий.

Исследовательская стратегия и описание выборки

Для определения влияния совокупности условий на принятие декоммунистических законов использовались два метода: метод качественного сравнительного анализа (QCA)¹, который отчасти позволяет преодолеть размежевание между сторонниками количественных и качественных методов изучения относительно исследования причинно-следственной связи [Mahoney, Goertz, 2006], и метод фокусированного сравнения стран, принявших соответствующее законодательство.

Качественный сравнительный анализ был выбран с учетом трех обстоятельств.

1. Он изначально появился как ответ на вызовы, связанные с ограниченными познавательными возможностями количественных и качественных методов. Логика анализа, характерная для первой группы методов, предполагает прежде всего выявление общезначимых или даже универсальных тенденций. Индивидуальные особенности казусов для этого оказываются неважны, как и их целостность и уникальность. В то же время ориентированность качественных методов на углубленное исследование отдельных казусов предполагает слабую формализацию, что осложняет сравнение казусов между собой и их обобщение. Качественный сравнительный анализ позволяет сохранить казусную ориентированность и задачи формализации и сравнения.

2. Непросто выделить причины рассматриваемого явления и их иерархию в силу сложности самого объекта исследования (принятие решений относительно запрета коммунистической символики – многоаспектный процесс, имеющий не только функциональное, но и большое символическое значение). Наиболее адекватной исследовательским задачам представляется логика качественного сравнительного анализа, предполагающая исследование казуса в его целостности и совокупности, без однозначного разделения на зависимые и независимые переменные, и учитывающая возможность сочетания условий, в которых изучаемое явление наблюдается в разных казусах.

¹ О QCA см. подробно, например: [Ragin, 1987; Ragin, 2008, *Configurational comparative methods*, 2008; Rihoux, Marx, 2013].

3. Качественный сравнительный анализ позволяет работать с малыми и средними выборками, для анализа которых редко подходят количественные методы, а применение качественных методов оставляет много нерешенных вопросов сравнения и обобщения.

Применяя QCA в нашем исследовании, мы учитывали обозначенные особенности этой стратегии. В частности, мы надеялись получить не данные об общих тенденциях, а выявить различия между странами на основе сходных для небольших групп совокупностей условий, в которых произошло исследуемое событие. В работе используется *crisp set QCA*, который основан на бинарном оценивании признаков на основе истинности или ложности высказывания относительно них.

В нашей работе в качестве результата (или «отклика» – в терминах QCA) рассматривается не тип режима памяти, а факт принятия или непринятия запретительных норм относительно коммунистической символики, который лишь косвенно может характеризовать «режим памяти».

В фокусе внимания статьи находятся посткоммунистические государства. В выборке 25 стран: были включены не все посткоммунистические страны, а только те, по которым имелись данные по всем используемым в исследовании переменным-условиям. В частности, в выборке нет некоторых государств, в отношении которых отсутствуют данные индекса институциональных и экономических реформ (об использовании индекса в исследовании см. ниже). Это некоторые страны постюгославского пространства и Монголия. Не была включена бывшая ГДР по причине ее объединения с ФРГ.

Запрет на коммунистическую символику был введен в семи посткоммунистических странах (Польша, Венгрия, Литва, Латвия, Молдова, Грузия и Украина), и в одной (Эстония) соответствующие законодательные нормы были одобрены в первом чтении в парламенте¹. В некоторых других странах (например, в Албании, Чехии и Словакии) были приняты законы, запрещающие тоталитарную идеологию и ее символы, однако специального упомина-

¹ По причине успешного прохождения законодательных норм в парламенте в первом чтении мы условно включили Эстонию в группу стран, запретивших коммунистическую символику. Бывшую ГДР, где был введен запрет на коммунистическую символику, мы, напротив, не рассматриваем по причине объединения с ФРГ в единое государство.

ния коммунистической идеологии и ее символов в этих документах нет, поэтому мы не относим эти страны к группе, где был введен специальный запрет на коммунистические символы. В 2005 г. и 2007 г. соответственно в Чехии было выдвинуто предложение дополнить законодательство запретом пропаганды коммунизма и коммунистических символов, однако эти попытки не имели успеха. Возможный запрет красной звезды как символа Югославской народной армии во время гражданской войны обсуждается в настоящее время в Хорватии, однако пока это не привело к появлению законодательного запрета на коммунистические символы.

Из тех стран, которые ввели запрет на коммунистическую символику, только в двух (в Венгрии и Латвии) соответствующие законы были приняты сразу после свержения коммунистического режима. В остальных государствах этот запрет ввели позже. Это было связано с изменением характера политики памяти, который произошел во многих посткоммунистических странах в середине – второй половине 2000-х годов. Как отмечает Н. Копосов, ситуация с политикой памяти в Восточной Европе существенно изменилась в 2004–2008 гг. Н. Копосов связывает это с рядом факторов, среди которых усиление популярности крайне правых политических сил в Европе, вступление некоторых посткоммунистических стран в Европейский союз, консолидация политического режима в России, российской внутренней (включая политику памяти) и внешней политики (в том числе усиление вмешательства во внутренние процессы соседних стран, в первую очередь Украины) [Koposov, 2017, p. 170]. И действительно, в новых условиях в середине 2000-х годов активизировались споры о прошлом между Россией, Украиной, странами Балтии и Польшей. Эти «войны памяти» способствовали формированию нового климата отношений внутри стран в Восточной Европе, между государствами и в регионе в целом.

Симптоматично, что характер принимаемых законов относительно запрета коммунистической символики во второй половине 2000-х годов и в последующее десятилетие был строже. Новые законы или поправки включали в себя больше ограничений или санкции за нарушение норм. Это согласуется с выводами Н. Копосова об общем характере эволюции в отношении к «законам памяти» как инструменту политики памяти в середине – второй половине 2000-х годов. Изменения касались не только географического распространения этих законов (в основном в странах, граничащих

с Россией), но и их модели. В них более отчетливо прослеживались идеи виктимизации соответствующих стран и их населения, а также криминализации отрицания преступлений не только фашистского режима, но и коммунистического [Korosov, 2017, p. 173–176].

Первой ввела запрет Латвия. Коммунистическая символика там была запрещена в 1991 г. Произошло это на фоне событий переходного периода, когда советский режим на территории государств Балтии был признан оккупационным, а его символы – проводниками и символами идеологии коммунизма и тоталитарной власти. Согласно принятым законодательным нормам, максимальное наказание для физических лиц составляло 250 латов либо 15 суток ареста, для юридических – штраф в 2,5 тысячи латов.

В первоначальном виде запрет не распространялся на праздничные мероприятия. В 2013 г. Сейм Латвии ввел поправки к законодательству, которые запрещают, за некоторыми исключениями, использовать советскую и нацистскую символику на публичных праздничных, памятных и развлекательных мероприятиях. Поправки накладывают запрет на использование, в том числе в стилизованном виде, флагов, гербов, гимнов и символики бывших СССР, ЛатССР и нацистской Германии, униформ, нацистской свастики, знаков SS, советского серпа и молота и пятиконечной звезды. Исключение составляют ситуации, когда цель использования этой символики не связана с прославлением тоталитарных режимов или оправданием их преступлений, например в кинематографе.

Венгрия – вторая страна, где коммунистическую символику запретили после смены режима, в 1993 г. В 2000 г. в стране было введено уголовное наказание за использование коммунистической символики (серп и молот, красная звезда). Практика применения этой нормы вызвала возражения Европейского Суда по правам человека. В 2008 г. Суд осудил Венгрию за уголовное наказание заместителя главы Рабочей партии Венгрии, который прикрепил к одежде красную звезду во время публичной демонстрации. Аналогичное решение было вынесено в 2011 г. В феврале 2011 г. Конституционный суд страны признал эти нормы неконституционными. В апреле 2013 г. была принята новая редакция закона в соответствии с решением Европейского Суда по правам человека.

В других странах запрет на коммунистическую символику относится к концу 2000-х – началу 2010-х годов. В Литве соответствующий закон приняли в 2008 г. Было запрещено использование

советской и нацистской символики, гимнов, формы и изображений лидеров национал-социалистов Германии и КПСС. Известны случаи наказания за соответствующие действия физических и юридических лиц, включая газету «Комсомольская правда в Литве» за символику на главной странице издания.

В Эстонии советскую символику хотели запретить с 2007 г. Согласно предложенным поправкам к Уголовному кодексу, наряду с фашистской символикой под запрет попадали демонстрация и продажа флагов, гербов и других атрибутов, связанных с существованием СССР, союзных республик СССР и Коммунистической партии Советского Союза. За нарушение предусматривались штрафы и административные аресты, а также лишение свободы до трех лет, в случае если разжигание розни с помощью символики приведет к «тяжелым последствиям». Проект преодолел первое чтение в парламенте. В ходе предварительного обсуждения поправок к положению о наказаниях канцлер права Эстонии (омбудсмен) А. Йыкс высказал мнение, что законопроект необоснованно ограничивает свободу выражения мнений, слишком расплывчато формулирует признаки действий, которые следует считать запрещенными. В 2016 г. общественный деятель и юрист С. Середенко обратился за разъяснениями в Министерство внутренних дел Эстонии о наличии запрета коммунистической символики, где ему был дан ответ об отсутствии такового.

В Польше коммунистическая символика запрещена с 2009 г. Соответствующий закон предусматривал штраф или лишение свободы до двух лет за их хранение, приобретение и распространение. В 2011 г. Конституционный суд признал незаконным наказание за хранение и распространение символики. В 2016 г. в Польше был принят закон, запрещающий пропаганду коммунизма и любого другого тоталитарного строя, предполагающий, что никакие строения, дороги, улицы, мосты и другие объекты в публичном пространстве не могут носить напоминающих о коммунизме названий или символов. В середине июля 2017 г. президент страны Анджей Дуда подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают снос советских памятников на польской территории.

Следующей в хронологическом порядке страной была Грузия. Там запрет коммунистической символики был законодательно закреплен в 2011 г., однако первоначально этот документ не предусматри-

вал наказания. Нормы, устанавливающие наказание, вступили в силу в 2013 г. За первое нарушение предусматривалось предупреждение, за последующие – штраф в 1 тыс. лари. На сегодняшний день неизвестно о каких-либо случаях применения закона.

В Молдавии закон, запрещающий использование коммунистических символов в политических целях, в том числе и во время избирательных кампаний, а также пропаганду тоталитарной идеологии, был предложен в 2009 г. и принят в 2012 г. За нарушение он предполагал штраф до 10 тыс. леев. Однако в 2013 г. Конституционный суд страны обратился в Венецианскую комиссию с просьбой оценить этот закон. Комиссия сообщила о нарушении статей Европейской конвенции по правам человека и отсутствии связи между тоталитарной коммунистической идеологией и символами серпа и молота, которые использует Партия коммунистов Республики Молдова. В июне 2013 г. Конституционный суд Молдавии признал неконституционным запрет коммунистической символики.

Последняя страна, в которой введены соответствующие законодательные нормы, – Украина. Там попытка запретить советскую символику была предпринята еще в 2006 г. Соответствующий законопроект внесли в Верховную раду депутаты фракции БЮТ. В нем также предлагалось изменить советские названия улиц и демонтировать памятники и мемориальные доски бывшим руководителям СССР и КПСС. Однако тогда этот проект не был рассмотрен.

В 2015 г. были приняты четыре закона из «декоммунизационного пакета» («Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945»; «О доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917–1991 гг.»; «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрете пропаганды их символики»; «О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в XX веке»). Они осуждали коммунистический режим, декларировали открытие архивов советских спецслужб, запрещение советской символики, необходимость переименования населенных пунктов. Устанавливалась уголовная ответственность для лиц, открыто выражающих коммунистические взгляды и отрицающих «преступления коммунистического тоталитарного режима». За пропаганду коммунистических (герб, флаг, также гимн СССР) и нацистских символов предполагалось

одинаковое наказание в виде тюремного заключения сроком до пяти лет. В 2015–2016 гг. наказаний за использование коммунистической символики не было, первый приговор вынесен в 2017 г.

Условия принятия декоммунистических законов

Нами был выделен ряд факторов-условий, потенциально способных, как мы предполагали, повлиять на принятие законов о запрете коммунистической символики.

Первый фактор-условие – это опыт существования в качестве составной части Российской империи и (или) СССР, унаследовавшего многие черты имперской организации [см., например: Мелешкина, 2013 а; 2013 б] (условие С). Это отразилось не только на специфике институциональных традиций: в этих государствах сохраняются потенциальная открытость и несогласованность границ различного рода (территориальных, политических, культурных, экономических), сопровождающиеся рассеиванием контроля центра и отсутствием согласия населения по «устанавливающим» вопросам [см., например: Мелешкина, 2012; 2013 а; 2013 б]. Нерешенные проблемы национального и государственного строительства обуславливают использование при формировании идентичности «негативной» аргументации: отвержение символов, традиций, норм, носителем которых выступает или выступал бывший имперский центр.

Второй фактор-условие – наличие традиций собственной государственности в XX в., которая имеет особое значение по следующей причине. Именно в XX в. международное сообщество стало позиционировать себя как мировое; были выработаны во многом евроцентричные требования и нормы в отношении новых государств и разработаны основные механизмы контроля за реализацией этих норм. Помимо этого, в XX в. европейские страны наиболее отчетливо столкнулись с одновременным соревнованием между различными моделями организации власти (между имперской формой и современным государством, между авторитарными формами и демократией), и это соревнование распространилось на весь мир.

Посткоммунистические страны, имевшие опыт самостоятельной государственности, формирования нации и демократиза-

ции в XX в., демонстрируют склонность к воспроизводству некоторых институтов управления, правовых норм и в целом некоторые черты организации власти межвоенного периода [Stark, Brust, 1998; Crzymala-Busse, 2002 и др.]. У них имеются более развитые основания для общегосударственной идентичности граждан. Отсылка к этому опыту, его противопоставление более позднему периоду существования в составе СССР или даже в рамках Варшавского договора могут использоваться в качестве важного элемента преодоления институционального и символического наследия. Поэтому в качестве одного из гипотетических условий, способных в совокупности с другими повлиять на принятие законов о запрете коммунистической символики, мы использовали в нашем исследовании оценку истинности высказывания относительно наличия опыта самостоятельной государственности (условие А). Истинным это выражение считалось только в том случае, если независимая государственность существовала такое количество времени, которое позволило наработать собственный опыт институционального строительства в области государственного управления, формирования нации и т.п. На постсоветском пространстве только страны Балтии обладали таким опытом в межвоенный период.

Кодируя это условие для России, мы учитывали, что в XX в. Россия выступала преимущественно как центр СССР – государственного образования, обладавшего многими чертами имперской организации власти. Опыт строительства институтов современного государства и нации в нынешних границах у России был крайне ограниченным и сопоставимым с некоторыми другими республиками будущего СССР, соответствующее высказывание в отношении которых оценивалось как ложное. Поэтому и в отношении России мы оценили это высказывание как ложное.

Третий фактор-условие – характер переходного периода, точнее, соотношение сил между режимом и оппозицией в этот период. Как отмечал еще С. Хантингтон, реакция нового режима на прошлое и соответствующие варианты развития событий зависят от модели трансформации старого режима и роли взаимодействий между основными политическими силами (например, переговоров) [Хантингтон, 2003].

Эту идею довольно плодотворно, на наш взгляд, развивает Х. Вэлш. Она отмечает значимость такого фактора, как смена элит и расстановка политических сил в начале демократизации и на

всем ее протяжении. В частности, особое значение, по ее мнению, имеют отказ сторонников старого режима от внутренних изменений и переговоров с другими политическими силами, а также потеря их влияния на политические события после поражения на учредительных выборах. Вэлш также обращает внимание на важный фактор времени, отмечая, что со временем отношение к прошлому режиму может стать инструментом в борьбе за власть, используемым для ослабления политических соперников. Этот фактор играет особую роль, если сторонникам старого режима удастся внутренняя трансформация и они остаются популярной политической силой [Welsh, 1996].

При отборе факторов-условий, которые возможно учесть при проведении качественного сравнительного анализа в нашем случае, мы остановились на соотношении сил в период смены режима. Эта характеристика носит универсальный характер в силу ясности временно́го отрезка и может быть применена ко всем странам выборки, как принявшим запретительные нормы, так и не сделавшим этого. В отличие от нее, внутренняя трансформация сторонников старого режима и их популярность сложнее поддаются формализации в первую очередь в силу неопределенности временного промежутка: в одних странах выборки запреты были введены в определенное время, в других – не были. Однако Х. Вэлш, несомненно, права, утверждая, что когда сторонники старого режима эволюционируют и остаются влиятельной политической силой, отношение к прошлому режиму может выступать инструментом в борьбе за власть. Однако мы использовали этот фактор только при анализе группы стран, введших запреты на использование коммунистической символики.

При формализации соотношения сил в период смены режима мы опирались на анализ, проведенный М. Макфолом, который показывает, как тип возникающего режима во многом определяется тем, откуда шел импульс политических преобразований. М. Макфол выделяет три варианта соотношения политических сил, повлиявших на «выбор» различных траекторий режимных преобразований: перевес в политическом противоборстве на стороне радикальных реформаторов, опиравшихся на поддержку «снизу» и действовавших «извне» властвующей элиты; сила на стороне представителей старого режима, которые «сверху» навязывали новые правила игры; относительно длительный период баланса сил [McFaul, 2002]. По мне-

нию М. Макфола, только первый вариант создает наиболее благоприятные условия для демократизации. Поэтому в нашем исследовании разнообразие вариантов расстановки политических сил в период режимных перемен сведено к двум вариантам: доминирование реформаторов и остальные типы (фактор-условие D). Оценки по странам были выставлены с учетом данных М. Макфола.

Четвертый фактор-условие – отсутствие конкуренции внутриэлитных групп и возможность ресурсного обеспечения доминирования одной группы (концентрации ресурсов в руках одной элитной группы вне зависимости от их количества) (фактор-условие E). Этот фактор имеет особое значение для определения природы конкурентной среды и необходимости использования символических действий в конъюнктурных целях для борьбы с соперниками. Кроме того, как показал М. Макфол, переход к авторитарному режиму обычно осуществляется при доминировании сторонников старого режима. Логично предположить, что эти силы вряд ли будут использовать запрет символов прошлого как инструмент политической борьбы.

Данный фактор-условие кодировался на основе экспертной оценки. При этом истинным высказывание считалось тогда, когда в той или иной стране одна политическая группа доминирует в течение длительного времени. Так, для России данное выражение оценивалось как истинное (при этом мы учитывали, что в 1999–2000 гг. не произошло смены власти), в то время как для Грузии и Украины, например, как ложное, несмотря на доминирование отдельных политических сил в тот или иной период времени (в обеих странах власть менялась неоднократно, доминирующим акторам не удавалось сосредоточить в своих руках ресурсы, необходимые для сохранения власти). Относительно Беларуси данное высказывание оценивалось как истинное, при этом мы учитывали длительность периода существования режима А. Лукашенко.

Пятый фактор-условие – это характер осуществляемых в переходный период после падения коммунистического режима реформ (F и G). В отношении некоторых других процессов, например, институционального развития и преодоления институционального наследия прошлого, данный фактор играет важную функциональную роль. В частности, для трансформации политических институтов существенное значение имеют периоды «критических развилок», во время которых наиболее явно проявляется влияние

агентивных факторов. В эти моменты политического развития возрастает неопределенность, и акторы побуждаются к выбору альтернативных институциональных решений. В то же время решения, принятые в период «критических развилок», и их последовательность формируют паттерны последующего институционального развития той или иной страны, задают последующую логику воспроизводства институтов. Поэтому этот фактор приобретает самостоятельное значение для определения характера и результатов институциональных изменений. В нашем же случае (принятие запретительных норм) данный фактор имеет скорее символическое значение, косвенно указывая на намерение акторов преодолеть институциональное и, возможно, символическое наследие прошлого режима или сохранить его.

Опираясь на наши предыдущие исследования [Мелешкина, 2012; Мелешкина, 2016], мы выделили три варианта осуществления институциональных реформ. Первый: радикальная смена старых (в том числе имперских по сути) институтов, полный слом старой структуры управления и правил и попытка их замещения новыми (или / и, применительно к некоторым посткоммунистическим странам, заимствованными из прошлого довоенного опыта). Второй: сохранение преемственности между старыми и новыми институтами. Третий: непоследовательное осуществление институциональных реформ. Этот вариант предполагает сосуществование старых и новых норм, правил и механизмов, часто противоречащих друг другу, усиление ситуации неопределенности, обострение противоречий между формальными и неформальными нормами и процедурами.

Для учета типа стратегии реформ мы обратились к подсчетам Т. Фрая, использовав исчисленный им на основе данных ЕБРР за период с 1990 по 2004 г. с помощью метода главных компонент индекс институциональных и экономических реформ [Frye, 2010, p. 75]. При этом все страны разбиты нами на три группы. В первую группу попали страны, индекс которых не превышал значения 5,5 (государства, сохранившие высокую институциональную преемственность). Во вторую группу вошли страны со значением индекса в промежутке от 5,51 до 8. Третья группа включала те страны, значение индекса у которых превышало 8 (условно государства с радикальной стратегией реформ).

Поскольку таблицы истинности требуют бинарных категорий анализа, переменная, отражающая стратегии реформ, была разбита на две (стратегия реформ 1 – F, стратегия реформ 2 – G). Что касается первой переменной (F), то высказывание оценивалось как истинное, если страна относилась к группе стран с высокой степенью институциональной преемственности. В остальных случаях высказывание оценивалось как ложное. По переменной G высказывание оценивалось как истинное относительно стран, где осуществлялась радикальная стратегия реформ (страны третьей группы). У остальных оно оценивалось как ложное.

Шестой фактор-условие – это люстрация (H). Учитывая, что серьезная люстрация была проведена лишь в некоторых посткоммунистических странах («пионером» является Чехия), а в остальных она носила скорее символический характер, ее нельзя рассматривать как мощный инструмент смены элит. Скорее этот фактор, как и предыдущий, имеет больше символическое значение, обозначая стремление правящих кругов к отказу от наследия прошлого режима.

И, наконец, седьмой фактор – это вхождение в Европейский союз (условие V). В данном случае факт вхождения в Евросоюз интересует нас не столько с точки зрения того, какие рамки это накладывает на страны-члены и какие возможности предоставляет, сколько как свидетельство геополитического выбора государств. В 2004 г. в ЕС вступили Венгрия, Польша, Латвия, Литва, Эстония, Словакия, Словения, Чехия. В 2007 г. к ним присоединились Болгария и Румыния, в 2013 г. Хорватия. Молдавия, Украина и Грузия не стали членами ЕС, однако имеют с ним соглашения об ассоциации, как и не входящие в ЕС страны бывшей СФРЮ и Албания.

Результаты эмпирического анализа и их интерпретация

Для выявления совокупности условий принятия законов, запрещающих коммунистическую символику, в соответствующих странах и выявления отличий между ними был проведен качественный сравнительный анализ.

Результаты классификации стран на основе выделенных выше условий и результатов (запрещение коммунистической символики) представлены в таблице. Прописной буквой обозначены

положительные ответы на вопросы об истинности высказываний относительно определенного условия, строчной буквой – отрицательные.

Логическое уравнение для стран, где были приняты законы о запрете коммунистических символов, выглядит следующим образом:

$$J=A+aB+bC+cD+defG+gH.$$

Как следует из уравнения, законодательство о запрете коммунистических символов принималось под влиянием совокупности разных условий в разных странах. Однако можно выделить ряд общих характеристик, отличающих государства, где были приняты законы о запрете коммунистической символики.

Таблица

Таблица истин

Количество казусов	А Традиции независимой государственности в 20 в.	В Внешняя рамка (членство в ЕС)	С Вхождение в состав Российской империи или СССР	Д Характер переходного периода (соотношение сил)	Е Доминирование одной элитной группы	F, G Радикализм реформ	Н Принятие законов о люстрации	Ж «Выход»
4	A	B	C	D	e	f, G	H	J
3	a	B	C	D, d	e	f, G	H, h	J
1	A	B	C	D	e	f, G	H	J
7 ¹	a	B	C	D	E	F, f, g	H	J
3 ²	a	B	C	D	e	f, G, g	H	J
3 ³	A	B, b	C	D	e	f, g	H, h	J
2 ⁴	a	B	C	D, d	e	f, g	H	J
1 ⁵	a	B	C	D	e	f, g	H	J

¹ Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Россия, Беларусь, Таджикистан, Туркмения.

² Словакия, Словения, Хорватия.

³ Албания, Болгария, Румыния.

⁴ Армения, Киргизия.

⁵ Македония.

Во-первых, почти все эти страны ранее входили в состав СССР или были частью Российской империи. Исключение составляет Венгрия. Вместе с тем Венгрия во второй половине XX в. входила в Организацию Варшавского договора и находилась в зоне влияния СССР. Кроме того, в 1956 г. в страну были введены советские войска для подавления выступлений против коммунистического режима.

Во-вторых, все эти страны отличаются определенной степенью радикализма реформ, осуществленных после падения коммунистического режима. Реформы здесь носили радикальный либо непоследовательный характер. Ни в одной из этих стран не реализовывался курс на сохранение старых институтов, пусть и в измененном виде.

Все эти страны объединяет также отсутствие доминирования одной политической силы на основе концентрации в ее руках ресурсов, позволяющих поддерживать такое доминирование длительное время. Все эти страны имеют конкурентные режимы, что предполагает возможность использования политики памяти как одного из действенных инструментов политической борьбы.

Еще одна объединяющая эти государства характеристика – это принятие законодательных норм, предусматривающих люстрацию. Исключение составляет Молдавия, где с 1999 г. было несколько предложений принять соответствующий закон, но парламент не поддержал их. Важно отметить, что люстрация в большинстве посткоммунистических стран нашей выборки (кроме Чехии) носила сравнительно мягкий характер и имела скорее символическое значение.

Еще одна объединяющая эти страны характеристика – членство в Европейском союзе или договор об ассоциации с ним. Членами ЕС с 2004 г. являются Венгрия, Латвия, Литва, Польша и Эстония. Грузия, Молдавия и Украина заключили с ЕС договоры об ассоциации. Эти документы вступили в силу позже принятия законодательства о запрете коммунистических символов, однако их подписанию предшествовал подготовительный этап. Сам факт их заключения свидетельствует об определенном геополитическом выборе этих стран.

Показательно, что такие характеристики, как тип коммунистического режима и характер переходного периода во время смены старого режима, не являются объединяющими для этих стран

условиями. Отчасти это можно объяснить тем, что в большинстве этих государств соответствующие запретительные меры принимались начиная со второй половины 2000-х годов, когда политическая ситуация в значительной степени поменялась, некоторые страны пережили гражданские войны и «цветные» революции, а на повестку дня вышли другие, более значимые проблемы.

Внутри группы стран, принявших запретительные нормы относительно коммунистических символов (как оговаривалось выше, мы условно относим сюда и Эстонию), можно выделить три подгруппы.

Первая подгруппа – это страны Балтии и Польша.

Логическое уравнение применительно к этим странам с использованием характеристик, указанных в таблице, выглядит следующим образом:

$$J = ABCDefGH.$$

Как следует из этого уравнения, это наиболее гомогенная группа: для них характерно наибольшее количество общих условий. Помимо отмеченных в уравнении, можно выделить еще ряд характеристик, объединяющих эти страны. Это немалый опыт самостоятельной государственности в XX в. и менее длительный период коммунистического правления. Вероятно, обе эти характеристики также способствовали формированию благоприятных условий для принятия норм, запрещающих коммунистические символы. В этих странах еще и сейчас есть живые носители опыта политического развития докоммунистического периода. Для политической риторики этих стран характерна апелляция к опыту самостоятельного государственного и национального строительства.

Вторая группа стран – это Украина, Молдавия и Грузия. Она также отличается относительной компактностью в плане сходства характеристик. Однако в этих странах несколько больше внутренних различий, а также есть особенности, отличающие их от стран первой группы.

Логическое уравнение для этой группы стран выглядит следующим образом:

$$J = abCefg.$$

Для этих стран также характерна объединяющая черта – наличие сецессий и, соответственно, нерешенного вопроса консолидации территориальных, национальных и политических границ.

В отличие от Азербайджана, речь идет об отделившихся территориях, официально признанных или получивших поддержку Российской Федерации. Вторая общая особенность – произошедшие «цветные» революции, которые фактически можно рассматривать как вторую попытку смены режима.

Наконец последняя группа представлена всего одной страной – Венгрией. Здесь логическая формула выглядит следующим образом:

$$O=ABcDefGH.$$

Отличия Венгрии от других стран, введших запрет на использование коммунистической символики, были описаны выше. По выделенным нами характеристикам Венгрия демонстрирует некоторое сходство с Чехией, в которой законодательство прямо не запрещает коммунистическую символику. Однако в Венгрии и Чехии были применены разные модели смены политического режима. Если в Венгрии принимали активное участие левые силы и «партия-наследница», сохранившая свое влияние в дальнейшем, большое значение имели круглые столы, то в Чехии смена осуществлялась более радикально. После «бархатной революции» была осуществлена люстрация. Эти события, а также проведение достаточно радикальных реформ и маргинализация компартии в Чехии отчасти сняли вопрос об институциональном и символическом коммунистическом наследии.

Пример Венгрии показывает, какое большое значение для принятия законодательства о запрете коммунистических символов имело обострение политической конкуренции. Во всех отобранных нами странах принятие соответствующих норм служило одним из инструментов политической борьбы и усиления влияния отдельных политических сил.

Как отмечалось выше, впервые коммунистическая символика была запрещена в Латвии. Запрет вступил в силу в 1991 г. под влиянием целого ряда ярких политических моментов, начиная с январского противостояния между демонстрантами, властями страны и советским ОМОНОм и заканчивая голосованием в парламенте за реставрацию довоенной независимости Латвии. Закон принимался в атмосфере не только противостояния республики и советского федерального центра, но и значительных разногласий между коммунистической партией Латвии и другими политическими силами по вопросу о независимости.

В 2013 и 2014 гг. упомянутые выше поправки к законодательству были введены также в условиях политического противостояния. Незадолго до этого партийная система Латвии претерпела изменения. В 2010 г. несколько партий объединились в более крупные, а в 2011 г. бывший президент республики создал Партию реформ Затлерса, занявшую второе место на внеочередных выборах. 2013 год был насыщен различными политическими событиями. Это кризис в правящем блоке политических партий, конфликт между правящим «Единством» и президентом по поводу отказа последнего утвердить отличающегося националистическими высказываниями министра обороны на посту премьер-министра и победа представителя оппозиционного блока «Центр Согласия» / «Честь служить Риге», поддерживаемого русскоязычным меньшинством, на выборах мэра латвийской столицы. К ярким событиям можно также отнести проведение в марте 2013 г. учредительного съезда Конгресса неграждан Латвии и выборов в Парламент непредставленных (лишенных гражданства и права участвовать в выборах и референдумах), а также активную деятельность членов Конгресса неграждан и Парламента непредставленных в международных организациях. И еще одно важное событие, уже 2014 г., выборы в Европарламент и Сейм Латвии и, соответственно, предвыборные кампании и подготовка к их проведению. На этих выборах активно обсуждалась тема влияния Москвы. Перед выборами в Европарламент Полиция безопасности даже опубликовала специальный отчет о «русской угрозе». Противостояние перед выборами и выход на первый план разногласий по вопросам национально-государственного строительства также было актуализировано принятием «латышской» преамбулы Конституции и заявлением правительства о ликвидации русских школ к 2018 г.

В Эстонии принятие поправок к Уголовному кодексу в 2007 г. происходило в атмосфере приближающихся выборов в Рийгикогу и обострившихся споров вокруг памятника воину-освободителю в центре Таллина, перемещение которого началось в конце апреля 2007 г. и сопровождалось активным противостоянием сторонников и противников этого действия с участием полиции. Параллельно ряд эстонских партий в октябре 2006 г. предложили законопроект о защите воинских захоронений. Соответствующий закон был принят парламентом в январе 2007 г. Закон дает основания для перезахоронения останков военнослужащих, которые по-

коятся в несоответствующих местах, а также в местах, где невозможно обеспечить надлежащий уход воинским захоронениям.

Законодательные нормы о запрете нацистской и советской символики в Литве также принимались на фоне приближающейся предвыборной кампании в сейм и соответствующего обострения политического противостояния между левоцентристскими и правыми, правоцентристскими партиями. Как и в Венгрии, в Литве партия – наследница коммунистической – активно участвовала в процессе демократизации и сохранила свое влияние в дальнейшем, что, по мнению Х. Велш, является одним из благоприятных условий использования отношения к прошлому режиму как инструмента в борьбе за власть.

Закон о запрете коммунистической символики был подписан президентом Польши Лехом Качиньским в 2009 г., в предпоследний год его президентства, когда перспектива его переизбрания на следующий срок не была очевидной. Принятие запретительных норм происходило на фоне политического сосуществования «Гражданской платформы» (партия большинства в парламенте и премьер-министр от партии) и «Права и справедливости» (президент – представитель партии). Напомним, что при Лехе Качиньском существенно обострились отношения между Россией и Польшей.

В Грузии соответствующие запретительные нормы принимались во время противостояния между президентом Михаилом Саакашвили и оппозицией, в атмосфере продолжающегося обострения отношений между Москвой и Тбилиси и в преддверии парламентских выборов 2012 г., имевших особое значение в связи с принятием в 2010 г. новой конституции.

В Молдавии принятие соответствующего закона также происходило на фоне политического противостояния между коммунистами и правящим альянсом. С одной стороны, коммунисты объявляли бойкот парламентских заседаний и проводили субботние акции протеста, а с другой – был закрыт подконтрольный коммунистам телеканал NIT. Этот период был также отмечен ослаблением Партии коммунистов в связи с выходом из ее рядов некоторых членов и дальнейшей борьбой между основными силами правящего альянса.

На Украине законы о декоммунизации принимались в апреле 2015 г. под влиянием событий 2014 – начала 2015 г. и обострения отношений с Россией: расстрел Майдана и бегство Виктора Януко-

вича, присоединение Крыма к России и война на Востоке Украины, досрочные выборы президента и Верховной рады в 2014 г.

В отличие от других стран, где была запрещена коммунистическая символика, в Венгрии не наблюдается такой прямой связи между выборами и принятием запретительных норм. Однако следует предположить, что, в отличие от 1993 г., когда запрет символики без санкций был закреплен в условиях относительного консенсуса основных политических сил по поводу смены режима и имел больше символическое значение, введение санкций за нарушение запрета в 2000 г. стало скорее инструментом в политической борьбе, которую вели Фидес и его лидер В. Орбан против своих политических соперников. В 2000 г. со вступлением в Европейскую народную партию и Европейский демократический союз завершилось преобразование возглавляемой им партии из либеральной в консервативную. В. Орбан, став премьер-министром после первой победы своей партии на выборах в парламент в 1998 г., стремился укрепить свою личную власть и власть партии, в риторике которой отсылки к прошлому коммунистическому режиму и связи с ним венгерских социалистов занимали существенное место. Несмотря на то что следующие выборы прошли в Венгрии в 2002 г., логично предположить, что закрепление санкций за нарушение нормы о запрещении коммунистической символики могло также служить инструментом политической борьбы.

* * *

Проведенный качественный сравнительный анализ показывает, что, несмотря на сходство некоторых характеристик, совокупность условий, в которых произошло принятие законов о запрете коммунистической символики, несколько различается в выделенных нами группах стран. Это полностью согласуется с представлениями о сложности и неоднозначности причинно-следственных связей в политической жизни, в которой разные сочетания условий могут привести к одинаковому результату.

Исследование показало, что введение норм о запрете коммунистических символов было инструментом политической борьбы, а сам факт их принятия и их характер зависели не только от внутриполитических разногласий и противостояния, но и от изменений на международной арене, в том числе в отношениях этих стран с Россией.

Список литературы

- Историческая политика в XXI веке: Сб. ст. / Под ред. Миллера А., Липман М. – М.: Новое литературное обозрение, 2012. – 648 с.
- Мелешикина Е.Ю. Государственное строительство и институциональная трансплантация в посткоммунистических странах // Политическая наука / РАН. ИНИОН. – М., 2016. – № 4. – С. 186–213.
- Мелешикина Е.Ю. Постимперские пространства: Особенности формирования государств и наций // Политическая наука / РАН. ИНИОН. – М., 2013 а. – № 3. – С. 10–29.
- Мелешикина Е.Ю. Советский эксперимент: Между империей и современным государством // Труды по руссификации: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН. – М., 2013 б. – Вып. 4. – С. 325–338.
- Мелешикина Е.Ю. Формирование новых государств в Восточной Европе / РАН. ИНИОН. – М., 2012. – 252 с.
- Хантингтон С. Третья волна. Демократизация в конце XX века. – М.: РОССПЭН, 2003. – 368 с.
- Configurational comparative methods / Ed. by B. Rihoux, C.C. Ragin. – Thousand Oaks; L.: Sage, 2008. – 209 p.
- Confronting the past: European experiences / Ed. by D. Pauković, V. Pauković, V. Raos. – Zagreb: Political science research centre, 2012. – 432 p.
- Frye T. Building states and markets after communism: The perils of polarized democracy. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2010. – 296 p.
- History of Communism in Europe. Vol. 1: Politics of memory in post-Communist Europe. – Bucharest, 2010. – 302 p.
- History, memory and politics in Central and Eastern Europe: Memory games / Ed. by G. Mink, L. Neumayer. – Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014. – 288 p.
- Grzymala-Busse A. Redeeming the past: The regeneration of the communist successor parties in East Central Europe after 1989. – N.Y.: Cambridge univ. press, 2002. – xviii, 341 p.
- Koposov N. Memory laws, memory wars: The politics of the past in Europe and Russia. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2017. – 340 p.
- Mahoney J., Goertz G. A tale of two cultures: contrasting quantitative and qualitative research // Political analysis. – Oxford, 2006. – Vol. 14, N 3. – P. 227–249.
- McFaul M. The fourth wave of democracy and dictatorship: Noncooperative transitions in the post-communist world // World politics. – N.Y., 2002. – Vol. 54, N 1. – P. 212–244.
- Memory and change in Europe: Eastern perspectives / Ed. by Pakier M., Wawrzyniak J. – N.Y.; Oxford: Berghahn books, 2015. – 388 p.
- Past in the making: Historical revisionism in Central Europe after 1989 / Ed. by Kopecek M. – Budapest: Central European univ., 2007. – x, 264 p.
- Ragin C.C. The comparative method: Moving beyond qualitative and quantitative strategies. – Berkeley: Univ. of California, 1987. – 185 p.
- Ragin C.C. Redesigning social inquiry: Set relations in social research. – Chicago: Univ. of Chicago press, 2008. – 225 p.

- Rihoux B., Marx A.* QCA, 25 years after «The comparative method»: Mapping, challenges, and innovations // *Political research quarterly*. – Salt Lake City; Utah, 2013. – Vol. 66, N 1. – P. 167–235.
- Stark D., Bruszt L.* Post-socialist pathways: Transforming politics and property in East Central Europe. – N.Y.: Cambridge univ. press, 1998. – 284 p.
- Twenty years after communism: The politics of memory and commemoration / Ed. by Bernhard M., Kubik J. – N.Y.: Oxford univ. press, 2014. – 362 p.
- Welsh H.* Dealing with the communist past: Central and East European experiences after 1990 // *Europe-Asia studies*. – Abingdon, 1996. – Vol. 48. – P. 419–428.

А.Ю. Мельвиль*

МОГУЩЕСТВО И ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ГОСУДАРСТВ В УСЛОВИЯХ МЕНЯЮЩЕГОСЯ МИРОВОГО ПОРЯДКА: НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ¹

Аннотация. В статье рассматривается ряд теоретических и методологических вопросов, связанных с изучением состояния и динамики традиционных и новых компонентов и факторов могущества и влияния государств в современном мире. Предложены варианты их концептуализации с учетом выделения потенциалов могущества и влияния и их реальных эффектов, мощи как атрибута и как отношения особого рода, различных типов и инструментов могущества и влияния. Предложены новые подходы к определению эмпирических индикаторов могущества и влияния и методов их обработки для формирования композитных индексов. Определены перспективы дальнейших эмпирических исследований.

Ключевые слова: государства; могущество; влияние; сила; мировой порядок; концептуализация; измерение; индикаторы; количественные и качественные методы; индексы; сети.

*** Мельвиль Андрей Юрьевич**, доктор философских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, декан факультета социальных наук, руководитель департамента политической науки НИУ ВШЭ, e-mail: amelville@hse.ru

Melville Andrei, National Research University Higher School of Economics (Moscow, Russia), e-mail: amelville@hse.ru

¹ Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 17-18-01651). Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». При участии Ф.Т. Алескерова, М.В. Ильина, М.Г. Миронюка, И.М. Локшина, Ю.А. Полунина, К.А. Толокнева, А.М. Мальцева, М.С. Кураповой, С.В. Швыдуна, Д.Б. Ефимова и Е.Ю. Николаева. Отдельная благодарность моему научному ассистенту Е.Ю. Николаеву за помощь в работе с литературой и базами данных.

A.Yu. Melville

**Power and influence of modern states within the changing world order:
Some theoretical and methodological aspects**

Abstract. This article deals with some theoretical and methodological issues, related to the study of the state and dynamics of traditional and new components and factors of power and influence of modern states in the world. Approaches to their conceptualization are suggested with the focus on potentials of power and influence and their actual effects; power is interpreted as an attribute and a relationship of specific sort, different types and instruments of power and influence are analyzed. New approaches towards definitions of empirical indicators of power and influence are suggested as well as methods of their processing for creation of composite indices. Prospects for future research are presented.

Keywords: states; power; influence; world order; conceptualization; measurement; indicators; quantitative and qualitative methods; indices; networks.

1. Вводные соображения

*Могущество, власть, сила, влияние*¹ – едва ли не ключевые термины в международных исследованиях и политической науке в целом. По сути дела, было и по-прежнему остается еще со времен Фукидида и даже раньше и вплоть до сегодняшнего дня. Казалось бы, все великие политологические умы прошлого и современности так или иначе затрагивали проблематику власти, могущества и влияния – от Платона, Аристотеля и Н. Макиавелли до М. Вебера, Р. Даля, Г. Лассуэлла, Г. Моргентхау, К. Дойча, К. Уолтца и Дж. Миршаймера. Эти дискуссии особенно активны в русле традиции так называемого реалистического подхода, который сегодня едва ли не доминирует в международных исследованиях, а также для так называемого неолиберального подхода, конструктивизма и других течений.

Мощь и сила, как ни относиться к этим понятиям – концептуально и / или оценочно, остаются центральными и сегодня в политическом анализе любого уровня и конкретизации. Тем не менее в литературе нет какого-либо теоретического и методологического единства относительно содержания и способов операционализации этих важнейших понятий. В контексте основной темы данного вы-

¹ Соответствующие слова и понятия принадлежат к одному концептуальному пространству. Они близки и пересекаются друг с другом, но тем не менее не синонимичны и различаются и по смыслам, и по референции.

пуска «Политической науки» это одна из отличительных черт современного состояния неопределенности и развилок в развитии мировой политической науки в целом.

Традиционно, по крайней мере, в последние едва ли не полстолетия, национальная мощь понималась в международных исследованиях и политической науке как своего рода совокупное производное от сочетания территории, населения, экономического и военного потенциала, а также стратегии и политической воли¹. Эти *базовые компоненты мощи* государства, о которых мыслители говорили еще в древности, несомненно, сохраняют свое значение и сегодня, хотя их значение и проявления могут существенно изменяться.

Глубокие перемены, происходящие в современном мире, ведут не только к модификации и трансформации традиционных компонентов могущества и влияния, но и к появлению их *новых важных измерений*, проявляющихся в экономической, социальной, политической, технологической, культурно-информационной и других областях. Это происходит под воздействием таких разнообразных факторов и разнонаправленных тенденций, как противоречивые эффекты продолжающейся глобализации, растущая (хотя и проявляющаяся по-разному) взаимозависимость, рост влияния негосударственных акторов на мировой арене (от ТНК до террористических квазигосударственных образований), распространение влиятельных сетевых структур и взаимодействий, появление новых угроз международной и национальной безопасности, обострение старых и появление новых глобальных и региональных расколов и конфликтов разного рода, взаимовлияние внутренних и международных процессов, демографические сдвиги и новые миграционные потоки с дестабилизирующими последствиями, информационная и коммуникационная революция, распространение новых технологий в различных областях (в том числе в военной) и др.

Перемены, происходящие в общей структуре современного мирового порядка, доминирующих тенденциях его динамики, взаимоотношениях его ключевых игроков и др., – всё это требует особого внимания к конкретному контексту мирового развития, а с учетом растущих взаимообусловленностей внешних и внутренних

¹ В этом, собственно говоря, и заключается смысл известной формулы Р. Клайна: $\text{могущество} = (\text{население} + \text{территория} + \text{экономика} + \text{военные способности}) \times (\text{стратегия} + \text{воля})$ [см.: Cline, 1977].

факторов политики – и к процессам, происходящим на уровне государств и негосударственных акторов.

С учетом специфики рассматриваемой проблематики, в первую очередь важно принимать во внимание состояние *глобальных международных институтов*, возникших после Второй мировой войны и составляющих «костяк» современного мирового порядка (ООН, ВБ, МВФ, МБРР, ВТО, ЕС и др.). Эти институты, как и сам сложившийся мировой порядок, в настоящее время являются объектами и ревизии, а часто и подрыва. Однако именно они и их регулирование нормами международного права по-прежнему, несмотря на многие справедливые к ним претензии, фактически остаются основанием хотя бы относительной мировой упорядоченности, препятствующей хаотизации международных процессов. По своему глубинному содержанию это – в сложившейся политологической терминологии – именно «*либеральные*» глобальные институты, каким бы ни было отношение к самому этому понятию. Это необходимые институциональные и нормативные «якоря» для относительной стабилизации и структурирования мировой ситуации.

Между тем мы наблюдаем растущее раскачивание этих «якорей», идущее с разных направлений. С одной стороны, само понятие «либерального» мирового порядка ставится под вопрос (но в свою очередь и отстаивается)¹. С другой стороны, кажется, нет сколько-нибудь приемлемого понимания возможного и желаемого нового мирового порядка, нет «большого» альтернативного и претендующего на универсальность проекта (за исключением, быть может, идеи «мирового халифата»). Но при этом не прослеживаются и убедительные ответы на проблемы, возникающие как результат действия целого ряда новых трендов, способных дезорганизовать мировую структуру². Перечислим (хотя и не в порядке важности) некоторые из них, особенно значимые применительно к динамике могущества и влияния современных государств в условиях меняющегося мирового порядка (тем более в период после окончания холодной войны).

¹ В качестве примеров идущих дискуссий см.: [Тимофеев, 2014; Кортунов, 2015; Новые правила... 2015; Тимофеев, 2016; Кортунов, 2016; Глобальный бунт... 2017; Nye, 2017; Haas, 2017; Ikenberry, 2017; Colgan, Keohane, 2017; Mead, Keeley, 2017 и др.].

² См., в частности: [Тимофеев, 2016; Global trends... 2017; Munich Security Report 2017 и др.].

Во-первых, это усиливающаяся дивергенция, рост *дифференциации* в «семействах» современных государств, государственности и государственной состоятельности. Формально суверенные государства всегда были и остаются очень разными, среди них «великие», «обычные» и «малые», «хрупкие», «несостоятельные» и прочие «государства-неудачники» и т.п. Возникают новые и оспаривающие у друг друга центры могущества и влияния (причем по разным основаниям), в том числе «восходящие» государства и их группы, оспаривающие сложившиеся нормы и правила и стремящиеся к установлению новых мировых иерархий и статусов. Во-вторых, происходит общая *диффузия* могущества и влияния в мире, проявляется множественность их глобальных и региональных измерений. В-третьих, заметно повышается потенциал *конфликтности* – как в отношениях между государствами и другими международными игроками, так и внутри них самих. В-четвертых, все это ведет к серьезным *вызовам управляемости* – опять и на внутреннем, и на международном уровне. Очевидна тенденция к *размыванию* целого ряда, как, казалось, принятых международных правил и норм, появляются новые «серые зоны», новые запросы и претензии, новые запросы на передел сфер влияния, новые взаимоисключающие национальные и иные *идентичности*, новый и во многом не ожидавшийся всплеск популизма, национализма, ксенофобии, фундаментализма. В-пятых, на эти мировые тренды накладываются многие объективные перемены в областях *экономического, технологического, демографического, миграционного* и др. развития. Среди них – возможные ограничители экономического роста, ведущие к его замедлению или даже стагнации, возникающие новые проблемы с дефицитом природных ресурсов (энергетических и минерально-сырьевых, продовольствия, воды и др.); экологией и климатом; ростом неравенства внутри государств и между ними; последствиями использования развивающихся военных, информационных и иных технологий.

Но по своей сути это – лишь «верхушка» глубинных процессов и трансформаций, в ходе которых в мире происходят существенные изменения и в содержании, структуре и распределении могущества и влияния на всех уровнях мирового порядка. В результате приобретают большее значение новые компоненты могущества, влияния и статуса, связанные с конкурентоспособностью, технологическими возможностями, инновационным потенциалом, «мягкой силой»,

человеческими ресурсами и др. При этом важно подчеркнуть, что как традиционные, так и новые компоненты могущества и влияния государств и групп государств в условиях растущей взаимозависимости существенно трансформируются, а их эффекты усиливаются в том числе в результате качественно иного характера современных *сетевых взаимодействий*, по-разному проявляющихся в зависимости от конкретных условий и обстоятельств. Крайне важным в теоретическом и прикладном отношении фактором являются трансформации в компонентах государственного могущества и влияния, динамика статусов государств и групп государств, в том числе «восходящих», меняющих традиционные балансы сил и др.

Происходящие в мире изменения не могут быть измерены и в полной мере оценены с помощью традиционно используемых показателей – таких как ВВП на душу населения, численность населения, объемы военных расходов, размер вооруженных сил и др. Для измерения новых компонентов могущества, влияния и статуса государств необходимы новые подходы, включающие в себя разработку соответствующих теоретико-методологических оснований, новых показателей и индексов, методов обработки данных и сравнительного анализа и др. Однако прежде чем приступить к рассмотрению вопросов, связанных с поиском способов операционализации и определением наиболее приемлемых эмпирических технологий и инструментов измерения могущества и влияния, необходимо более подробно и обстоятельно рассмотреть проблемы концептуализации анализируемых явлений.

2. Проблемы концептуализации

Важный предварительный шаг при определении концептуальных оснований рассматриваемых нами политических явлений и процессов заключается в формулировании некоторых базовых, если угодно – *«фоновых» посылок*, служащих общетеоретическим фундаментом для осуществляемого исследования. Совершенно отчетливо эти общие теоретико-методологические положения были, в частности, сформулированы нами в ходе работы над исследовательским проектом «Политический атлас современности» [см.: Политический атлас... 2007, с. 12–14; Political atlas... 2010, р. 6–9]. В нынешнем случае, применительно к изучению динамики

факторов могущества и влияния современных государств в условиях меняющегося мирового порядка, не менее важно зафиксировать ряд базовых положений, относящихся к общему пониманию природы и характера политического развития как такового [см., в частности: Ильин, 2012; 2014; 2016 а; 2016 b].

Продолжая и развивая общую теоретико-методологическую логику «Политического атласа современности», необходимо в первую очередь подчеркнуть неоднородность структуры современного мирового порядка и разнонаправленность векторов современного политического развития (на самом деле не только политического, но и социального, экономического, культурного и др.). Суверенные государства остаются базовыми «ячейками» сегодняшнего мирового устройства, хотя при этом все более значимыми для глобального и регионального развития становятся негосударственные акторы. Важно учитывать, что, во-первых, сами государства (как и их суверенность) всегда сущностно *разнородны* по своим внутренним характеристикам и по потенциалу мощи и влияния во взаимоотношениях между ними и в международных делах в целом. Во-вторых, и это очень существенно, государства и их свойства, как и характер их могущества и влияния, *историчны*. Соответственно не только сами государства имеют различный «эволюционный возраст», но и их могущество и влияние определяются сложными процессами наследования, воспроизводства и видоизменения ряда характеристик и компонентов.

Иными словами, общая структура могущества и влияния современных государств многослойна, а ее динамика обусловлена сочетанием традиционных и новых факторов и компонентов. Волны исторически обусловленных изменений в структуре мирового порядка¹ оказывают свое влияние, но и в свою очередь испытывают воздействие со стороны этих новых факторов и компонентов. Таким образом, условия времени и места – важные характеристики могущества и влияния. Это касается их эволюционных и исторических параметров, а также сказывается даже в режиме повседневно-

¹ В проекте «Политический атлас современности» исследование было сосредоточено на выявлении статической картины мировой структуры, тогда как динамические аспекты анализа были сознательно вынесены за скобки. Тем не менее переход от статики к динамике – это крайне существенный теоретико-методологический вопрос, которому необходимо уделить внимание.

ности, где они нередко ситуационны¹. При этом могущество и влияние как базовые характеристики государств и их положения в мировой системе подвергаются существенным трансформациям, связанным с комплексом внутренних и внешних процессов.

Нужно обратить внимание на то обстоятельство, что в существующей литературе *могущество* (мощь, сила) и *влияние* нередко используются как *синонимы*, что, в свою очередь, связано с рядом недостаточно проясненных теоретико-методологических вопросов. Провести их (могущества и влияния) концептуализацию как взаимосвязанных, но при этом аналитически различных явлений – действительно непростое дело.

Традиционно, особенно в литературе «реалистической» направленности, могущество государства понимается как его способность оказывать влияние на других международных акторов и достигать поставленные цели. В разнообразных дефинициях силы и мощи государства практически всегда присутствуют аспекты, так или иначе связанные с влиянием, т.е. воздействием на своих контрагентов на мировой арене. Это мы наблюдаем и в вариантах их общей концептуализации *per se*². Вместе с тем, по крайней мере, с аналитической точки зрения, следует учитывать немаловажные нюансы: с одной стороны, могущество может быть источником влияния, но и реальное влияние может оказываться источником могущества [см.: Fels, 2017, p. 167]. С другой стороны, возможно и могущество без оказания влияния, притом что неоказание реального влияния может быть свидетельством и проявлением мощи особого рода.

Как могущество, так и влияние основываются на наличии определенных ресурсов и возможностей материального и нематериального свойства³. При концептуализации рассматриваемых фе-

¹ «Власть является ситуационной» [Duncan, Jancar-Webster, Switky, 2002, p. 114].

² «*Могущество* – это способность акторов (лиц, групп или институтов) устанавливать или менять (полностью или частично) варианты альтернативных действий или их выбора другими акторами. *Влияние* – это способность акторов определять (частично) действия или решения других акторов в контексте наборов, доступных для их альтернативных действий или решений» [Mokken, Stokman, 1976, p. 37].

³ «Могущество и влияние должны в первую очередь определяться в категориях потенциалов или возможностей [Mokken, Stokman, 1976, p. 40]. Согласно распространенной точке зрения, притом что очевидно, что ресурсы сами по себе

номенов важно принимать во внимание различия между *потенциалом и ресурсами* могущества и влияния – и *реальными действиями*, основывающимися на них. Потенциал не всегда может трансформироваться и проявляться в конкретном действии, а неиспользование имеющихся ресурсов в некоторых ситуациях способно обладать эффектом действия. Кроме того, в зависимости от исторически складывающегося внешнего и внутреннего контекста доступные потенциалы (ресурсы) и конкретные действия имеют свою динамику и проявляются по-разному¹.

Могущество государства может пониматься как минимум двояко – как *атрибут* (свойство) и как *отношение* особого рода. Оба эти аспекта важны концептуально, в том числе в разрезе их возможной и предполагаемой операционализации.

С точки зрения рассмотрения государственного могущества (силы) как *атрибута* исследование может быть сфокусировано на его различных компонентах и способностях – военных, экономических, технологических, культурных и др. Именно здесь обнаруживается и проявляется их содержательная связь с проблематикой *государственной состоятельности*, понимаемой как своего рода кумулятивная характеристика внутренних свойств государства, которые теоретически как раз и обеспечивают необходимые ресурсы влияния. Могучие и влиятельные государства, как правило, обладают солидной государственной состоятельностью. И наоборот, слабость государственной состоятельности, обусловленная различными внутренними причинами (такими как внутренние расколы, напряжения и конфликты, слабые институты, плохая управляемость и др.), снижает мощь и влияние государства в мире. С одной стороны, государственная состоятельность представляет

это еще не обязательно реальное могущество и влияние, для сравнения и оценки последних необходимо в первую очередь измерение имеющихся у государства потенциалов и возможностей [Holsti, 1964]. Заметим, однако, что при таком измерении возможно несовпадение ресурсов и реальных действий, что и было отмечено нами выше.

¹ Немаловажный аспект заключается также в необходимости учета в конкретном исследовании не только ресурсов и результатов их использования, но и стратегий и действий включенных в эти процессы взаимодействий акторов [Measuring national power... 2000].

собой самостоятельную проблемную область¹, но с другой – непосредственно связана с пониманием мощи как набора определенных качеств и свойств, в тех или иных степенях и сочетаниях, присущих различным государствам².

Иная (хотя и взаимодополняющая) трактовка государственного могущества связана с его пониманием как особых двусторонних и многосторонних *взаимоотношений* между различными государствами и их группами на мировой арене [см., например: Baldwin, 2013]. Такая интерпретация мощи и могущества во многом возвращает нас к их пониманию как влияния особого рода, вызывающего определенные действия одного государства (или их групп) под воздействием другого государства (или их групп). Применительно к характеристикам этих взаимоотношений могут различаться, в частности, их (а) масштаб («интенсивность»), (б) область («сфера действия»), (в) достоверность («степень убедительности»), (г) затратность («цена»), (д) используемые средства («инструменты») и др. [Baldwin, 2013].

Понимание мощи как взаимоотношения особого рода предполагает также важный *институциональный* аспект, т.е. учет позиций государств и их возможностей для оказания влияния в рамках существующих глобальных и региональных международных институтов, в том числе воздействия на регулирующие их деятельность нормы и правила. Но это также и аспект *нормативный*, связанный с признанием роли международных норм и легитимности в определении факторов могущества и влияния, как и их динамики. Могущество и влияние государств в современном мире основываются не на произволе, а на их нормативности и легитимности (в том числе на международном авторитете и репутации).

¹ Литература по этой проблематике огромна и постоянно пополняется. Обзор основных течений и проблематики см. в [Мельвил, Ефимов, 2016; Melville, Mironyuk, 2016].

² В некоторых случаях понимание основных компонентов могущества («силы») государства практически совпадает с распространенными в литературе представлениями об измерениях государственной состоятельности. Так, например, для [Ganguly, Thompson, 2017] это (а) фискальная способность, (б) принудительная способность, (в) легитимность и (г) монополия вооруженного насилия. Можно спорить об этих определениях, но сам факт совпадения в понимании параметров государственной состоятельности и мощи государства как его атрибута [например: Savoia, Sen, 2015] достаточно показателен.

Вместе с тем вопрос о нормативном аспекте мощи и влияния имеет ряд немаловажных нюансов. В первую очередь это связано с исключительной способностью устанавливать международные нормы и правила и «наказывать» их «нарушителей». В то же время могущество и влияние могут выражаться также и в сознательном нарушении старых существующих норм и правил и создании новых¹. Разумеется, в реальной мировой политике мы сталкиваемся с разными «нарушителями». В одних случаях условные злостные «плохиши» нарушают общепризнанные нормы, но при этом осознанно действуют всё же в рамках международной системы, не имея ни ресурсов, ни амбиций для установления новых общих правил. В других случаях может иметь место заявка на изменение норм и правил самого мирового порядка². Действия такого рода «ревизионистов» (или системных «дезинтеграторов») в определенных ситуациях могут основываться на нематериальных активах – например, на политической воле и соответствующей стратегии.

Другая немаловажная сторона вопроса о нормативности мощи и влияния относится к общей проблеме *статуса и статусности* государств в системе мирового порядка. Выше уже подчеркивалась принципиальная разнородность (причем во многих отношениях) государств, взаимодействующих сейчас и всегда исторически взаимодействовавших между собой. Корни проблемы здесь в том, что среди них, в соответствии с принятой терминологией, есть сверхдержавы, великие державы, средние и малые державы, не говоря уже о непризнанных (или полупризнанных) государствах, «несостоятельных» государствах и «квазигосударствах».

Великие державы не только обладают особыми, исключительными качествами и ресурсами, но и разными способами демонстрируют свою способность и (NB!) готовность действовать в соответствии со своим высоким статусом, наглядно демонстрируя и подтверждая его. При этом сама группа великих держав внутри себя неоднородна – в ней выделяются государства, чей статус соответствует имеющимся у них ресурсам и возможностям. Вместе с тем есть государства (как правило, относящиеся к группе «восходящих») со способностями выше, чем их в настоящий момент признаваемый в мире статус, а с другой стороны – «нисходящие» го-

¹ На это обстоятельство обратил мое внимание М.Г. Миронюк.

² Об общетеоретических моментах см.: [Axelrod, 1986], также в качестве примера из современности см.: [Новые правила... 2015].

сударства, чей завоеванный ранее статус, на который они продолжают претендовать, выше, нежели их наличные ресурсы и возможности. Согласно существующей в современной литературе классификации, это, соответственно, три разных типа «великих» держав – *status consistent*, *status underachievers* и *status overachievers* [см.: Major powers... 2011; Corbetta, Volgy, Rhamey, 2013]. Забегая вперед, подчеркнем, что дальнейшая работа по дифференциации статусов и статусности современных государств в меняющемся мировом порядке представляется важным направлением перспективных исследований динамики могущества и влияния.

Рассмотрение различных аспектов концептуализации государственной мощи и влияния также предполагает дифференциацию их типов и иерархий – в разных сферах и областях и в разное время. По сути, есть все основания говорить о многомерных «слоях» могущества и влияния, которые должны рассматриваться в разных «координатах» и в их динамике, с учетом процессов их распределения и перераспределения. Отсюда – необходимость концептуального различения разновидностей мощи и влияния: экономического, финансового, военного, технологического, культурного, «мягкого» и др. Исторический и ситуационный характер мощи и влияния означает, что их компоненты и эффекты формируются и проявляются эволюционно, воздействуя и испытывая воздействие со стороны разноплановых процессов внутреннего развития (динамика государственной состоятельности, качество государственных институтов, расколы и конфликты, степень управляемости и др.) и мировой динамики (глобальные и региональные отношения, экономические, социально-политические, демографические, военно-технологические и другие тренды развития).

Но как измерить и сравнить столь разнородные явления? Для поиска возможных ответов на эти нетривиальные вопросы необходимо тщательно рассмотреть некоторый комплекс методологических проблем, связанных с формированием и использованием различных инструментов и технологий измерения могущества и влияния современных государств.

3. Инструменты и технологии измерения

Отправным пунктом такого рассмотрения должно стать понимание внутренней связи между выбором тех или иных измери-

тельных приемов и избранными концептуальными основаниями исследования. Причем в определенном и базовом смысле *концептуализация первична*, поскольку именно она задает базовые ориентиры для поиска соответствующих ей методов измерения¹. Между тем в исследовательской практике нередки ситуации, когда, с одной стороны, умозрительные теоретические конструкции совершенно оторваны от реальных и доступных ресурсов для последующего эмпирического анализа², а с другой — эмпирические (прежде всего количественные) методы часто выступают как самодостаточная «вещь в себе», никак не вытекающая из предварительной концептуализации измеряемых явлений.

Строго говоря, измерение (а в определенном смысле и само эмпирическое наблюдение) возможно только на основе предварительного согласия по некоторым базовым концептам, относящихся к наблюдаемым и измеряемым объектам. Необходимо, однако, сознавать, что здесь вряд ли возможны идеальные решения из-за множества условностей и допущений, связанных с *проблемами измеримости*. Любое измерение всегда определенное *упрощение*, выделение одного из «срезов» реальности из ее многообразия. К тому же далеко не все в этой реальности вообще относится к сфере наблюдаемого и измеряемого. И здесь всегда есть простор для возможных ловушек, погрешностей и ошибок³. Например, ловушка «абсолютных цифр», когда они безотносительно к условиям и условностям анализируемого контекста могут восприниматься как «истина в последней инстанции». Или своего рода «искушение рейтингами», которые, несмотря на изначально присущие им уп-

¹ «Суждение является критическим компонентом политического измерения, характерным для более чем одного наблюдателя» [Schedler, 2012, p. 21]; «Прежде чем измерять мощь, нужно иметь саму концепцию мощи» [Baldwin, 2013, p. 279].

² Например, Дж. Харт выделяет три аналитически возможных подхода к измерению и сравнению могущества и влияния: (а) контроль над ресурсами; (б) контроль над другими акторами; (в) контроль над событиями и результатами как обобщенный и наиболее предпочтительный, с его точки зрения, критерий измерения ресурсов и действий. Однако конкретный способ такого обобщения и операционализации не предложен, что характерно для многих исследований, в которых за различными теоретическими конструкциями не следуют конкретные варианты измерения предлагаемых параметров [Hart, 1976].

³ «Измерение всегда может предполагать ошибку» [Measuring regional authority, 2016, p. 10].

рошения и условности, нередко воспринимаются как окончательные оценки¹.

Применительно к рассматриваемым нами сюжетам есть множество методологических сложностей, связанных с различными аспектами измерения мощности и влияния государств. С одной стороны, вполне понятно стремление найти отражающие их количественные индикаторы². С другой стороны, иной раз высказываются серьезные сомнения в самой возможности количественно измерить это многомерное явление, обладающее, к тому же, скрытыми от непосредственного наблюдения свойствами (в том числе «нематериальными»)³. Тем не менее едва ли не магистральное направление в современных исследованиях государственного могущества и влияния связано скорее с различными попытками выявить и сравнить их количественные индикаторы.

При этом необходимо так или иначе учитывать целый ряд методологических сложностей, связанных с определением используемых инструментов и технологий измерения. Прежде всего это вопросы, связанные с выбором наиболее адекватных целям исследования индикаторов, определением их «весов» и их агрегацией, решением проблемы пропущенных данных, определением «прокси»-переменных, технологиями построения соответствующих индексов и др.

Выбор индикаторов достаточно сложен по многим причинам и зависит от выбора позиции по ряду достаточно существенных вопросов. Выше уже говорилось о том, что способы измерения зависят от концептуализации, но они же зависят и от выбора приемов их конкретной операционализации. Можно выделить (опять-таки не в порядке важности) некоторые методологические

¹ Развернутую и обоснованную аргументацию см.: [Ranking the world, 2015].

² Вот показательное высказывание: «Если международным исследованиям суждено стать наукой, необходимо установить четкие количественные измерения для их базовой переменной – национальной мощи» [Alcock, Necombe, 1970, p. 335].

³ См., например, соответствующие аргументы в [Guzzini, 2009]. Как представляется, в этой линии аргументации есть, однако, как минимум два методологических изъяна: во-первых, измерение и сравнение «материальных» компонентов может дать ценную информацию для оценки государственного могущества и влияния; во-вторых, в современных исследованиях есть и попытки квантификации соответствующих «нематериальных» компонентов (об этом см. ниже).

«развилки» и проблемы, возникающие при выборе тех или иных инструментов и технологий измерения.

Прежде всего, существуют различные эксперименты с измерением мощи и влияния государств на основе *экспертных* суждений и оценок. Примеров достаточно: в одних случаях такая оценка осуществляется буквально в виде своего рода «эссе», как, например, в ранжировании «великих держав» [Mead, Keeley, 2017] или в формате сравнительных экспертных описаний, осуществляемых американской разведывательно-аналитической компанией «Stratfor Forecasting Inc.»¹. Есть не слишком убедительный опыт составления индекса национальной мощи на основе экономических, политических, военных, научно-технологических и иных индикаторов – рассчитываемых с использованием не традиционных количественных данных, а суммируемых экспертных оценок [Presentation of a new... 2008], а также на основе социологических опросов [Alcock, Newcombe, 1970]. Наконец, достаточно распространенной практикой является обращение к экспертным суждениям при работе с пропущенными данными, особенно в тех случаях, когда статистические программы в силу тех или иных причин не дают требуемых результатов.

Вместе с тем основные направления эмпирических исследований мощи и влияния преимущественно связаны с измерением и обработкой *количественных индикаторов*. Здесь, однако, есть серьезный и недостаточно проясненный теоретико-методологический вопрос. Дело в том, что в принципе эти индикаторы могут выражать собой либо *факторы/причины*, либо *эффекты / результаты* (а в исключительных случаях и то, и другое). Ситуация осложняется высокой степенью *взаимной корреляции* многих из них, означающей, что они фактически указывают на одни и те же или сходные явления – либо вообще на третьи, скрытые и ненаблюдаемые феномены. Сложность здесь в первую очередь в том, что в случае если используемые в исследовании наблюдаемые и измеряемые показатели на самом деле по-своему и по-разному отражают некую общую для них *латентную* (т.е. ненаблюдаемую) сущность, являющуюся, строго говоря, их «причиной», то различение факторов / причин и эффектов / результатов может быть трудноразрешимой проблемой. Однако варианты преодоления этой проблемы

¹ Stratfor. – Mode of access: <https://www.stratfor.com/>

все же могут существовать. Так, если есть изучаемая латентная сущность (в нашем случае – могущество и влияние) и доступные нам инструменты и технологии в достаточной степени ее улавливают (коррелированы с ней), то они могут выступать в качестве замещающей «прокси»-переменной для ее измерения и понимания. В таком случае дилемма факторов / причин и эффектов / результатов в определенном смысле может сниматься в реальном процессе эмпирического исследования¹.

Далеко не все потенциально важные для исследования государственного могущества и влияния индикаторы могут иметь адекватное количественное выражение – например, упоминавшиеся выше политическая воля, стратегия, национальный характер, культура, человеческий капитал и др. Использование замещающих «прокси»-переменных во многих подобных случаях может служить частичным, хотя и не полностью удовлетворительным вариантом подхода к данной проблеме. Особенно характерно это методологическое затруднение при рассмотрении такого явления, как «мягкая сила». Это понятие, как известно, было введено в научный оборот и политические дискуссии Дж. Наем [см., в частности: Nye, 2004; 2011], который тем не менее не наметил возможные подходы к его операционализации для использования в конкретных эмпирических исследованиях. Какие достоверные количественные показатели можно было бы эффективно использовать для измерения «мягкой силы» – большой вопрос с неочевидными ответами [см., например: Auguelov, Kaschel, 2017].

Такие усилия предпринимаются например, в проекте «Soft Power 30» консультационной компании «Portland» и соответствующем индексе используются как количественные данные, так и экспертные оценки, а также материалы многих других индексов (World Governance Indicators, Government Effectiveness, UNDP Human Development Score и др.). В качестве «прокси»-переменных выступают в том числе показатели международного туризма, пользователей Интернета и Facebook, участников сетей e-government, публикаций в топовых реферируемых журналах, потоков международных студентов и т.п. [McClorgy, 2017]. Вместе с тем обращают на себя внимание недостаточная концептуальная проработанность используе-

¹ На эту проблему совершенно обоснованно обратили мое внимание С.А. Ахременко и И.М. Локшин.

мых индикаторов, их разнородность и фрагментарность, а также достаточно узкий охват сравниваемых государств.

Еще одну методологическую сложность представляют *разнородные шкалы измерения*, когда в одном индексе мощи и влияния соединяются показатели, выраженные, например, в процентах и абсолютных числах. С точки зрения использования современных статистических методов такая разнородность шкал не представляет собой непреодолимую проблему, поскольку технически они могут быть приведены к единому формату. Но остается содержательный вопрос: как интерпретировать агрегацию столь разнородных индикаторов? Вопрос пока что остается недостаточно проясненным.

Необходимо принимать во внимание и другие сложности при использовании количественных индикаторов и работе со статистическими базами – прежде всего тот факт, что статистические данные по определению имеют свои ограничения. Почти всегда, например, случаются довольно значительные временные задержки в заполнении баз данных, а некоторые из них подвергаются своего рода обратному пересчету по мере появления новых показателей. Более того, используемые индикаторы могут иметь разное значение и отражать разные сущности – именно поэтому так важна их содержательная интерпретация на основе избранной концептуализации. Иными словами, количественные индикаторы никогда не могут быть целью в себе, измерение как таковое представляет собой лишь определенный инструмент, к которому обращаются уже после того, как сформулированы содержательные проблемы исследования¹. Но и после сбора количественных данных и их обработки необходимо вернуться к определению качественных ответов на поставленные содержательные вопросы.

Нельзя не остановиться и на таких методологических проблемах, как определение *весов* используемых индикаторов при их агрегации в единый индекс и сложности работы с *пропущенными данными*.

¹ В некотором смысле это частный аспект более общей проблемы, связанной с такой особенностью состояния современной политической науки, как «количественно-качественный раскол». Речь идет об «искушении» сугубо количественными, статистическими методами исследования, когда, образно говоря, за «деревьями» не видно «леса» и теряется содержательная, качественная проблематика. По признанию известного политолога-«количественника» Р. Таагеперы, это опасное проявление «чрезмерной и ритуальной зависимости от статистического анализа данных» [Taagepera, 2008; см. также: Schrodtt, 2004; Локшин, 2015].

Очевидно, что требовательность к теоретико-методологическим основаниям сравнительного анализа могущества и влияния современных государств предполагает определение конкретного соотношения значимости их различных измерений и отдельных индикаторов, особенно при процедуре их агрегации. В принципе существуют разнообразные методы работы с этими вопросами – например, использование *дискриминантного анализа* и его разновидностей (именно так мы и поступали в проекте «Политический атлас современности»). Однако здесь есть свои сложности, в частности при работе с большими временными рядами в целях изучения динамики анализируемых явлений и процессов, когда конкретная так называемая обучающая выборка должна экспертным путем корректироваться применительно к каждому году наблюдений. Иные возможности связаны с использованием различных вариантов *факторного анализа*, которым свойственны ограничения иного рода.

Существуют также различные (хотя и не идеальные) методы разрешения проблемы пропущенных данных. С одной стороны, это разнообразные статистические технологии так называемой импутации отсутствующих значений¹, с другой – качественные методы, прежде всего экспертные оценки для заполнения пропусков в создаваемых базах данных. Эти и другие разнообразные подходы, несмотря на свойственные им отдельные ограничения, могут и практически используются для хотя бы частичного преодоления сложностей с пропущенными данными.

В эмпирических исследованиях государственного могущества и влияния разнообразные индикаторы предназначены в первую очередь для построения рейтингов различных стран на основе выбора имеющихся и / или построения новых индексов. В некоторых случаях предпринимаются попытки конструирования соответствующих индексов на основе всего лишь *одной переменной* (как предполагается, особым образом синтезирующей различные измерения мощи и влияния). В одних случаях это, например, объем военных расходов либо только размер военно-морских сил, в других – размер GDP или потребление энергии и электричества и т.д. Несмотря на кажущуюся привлекательной простоту таких индексов, они явно «спрямляют» намного более сложные комплексы показателей, отражающих различные аспекты рассматриваемых нами

¹ В качестве примера см.: [Фабрикант, 2015].

многомерных явлений¹. Именно поэтому в исследовательской практике куда более распространены *композитные (составные / агрегированные) индексы*, включающие различные сочетания индикаторов. Для того есть свои теоретические основания. В разделе о проблемах концептуализации мы привели аргументы, раскрывающие многомерный характер могущества и влияния государств. Соответственно, можно было бы предполагать, что эти измерения и аспекты так или иначе будут учтены в предлагаемых композитных индексах.

Вариантов здесь немало. С одной стороны, существуют концептуально, казалось бы, обоснованные предложения относительно конструирования таких индексов. Выше мы уже упоминали классическую модель Р. Клайна, предполагающую специфическое синтезирование (через сложение и умножение) компонентов мощи, относящихся к населению, территории, экономике, военному потенциалу, стратегии и национальной воле [Cline, 1977]. Но еще задолго до этого выдвигались отчасти сходные предложения, например: измерять национальную мощь как сумму показателей, относящихся к территории, населению, экономике и военному потенциалу, в том числе ядерному [German, 1960].

Однако проблема с такими и сходными подходами в том, что они практически оторваны от реальных возможностей их эмпирической верификации – такая проблема в этих случаях даже не ставится. Но все наши предыдущие рассуждения об инструментах и технологиях измерения могущества и влияния государств подводят, как нам кажется, к тому, что императивом для такого рода исследования является поиск соответствия обоснованной концептуализации и адекватных приемов эмпирического исследования. Продолжая эту тему, мы должны, с другой стороны, учитывать, что так или иначе существуют немаловажные для политической теории и политической практики образцы концептуализации государственной мощи и влияния с различными вариантами их эмпирического измерения.

Это, например, авторитетный составной индекс национальных возможностей (Composite Index of National Capability), еще с 1970-х годов разрабатываемый в рамках проекта «Correlates of

¹ См. разнообразные аргументы за и против в: [Kugler, Arbetman, 1989; Kugler, Domke, 1986].

War» [Singer, Bremer, Stuckey, 1972]. Базовые эмпирические и, что важно, воспроизводимые во временны́х рядах показатели в данном случае включают военные расходы, военный персонал, производство стали, потребление энергии, население, и в частности городское население¹. Другой вариант – проект индекса национальной мощи (National Power Index), который, однако, совершенно произвольно и неаргументированно устанавливает веса его предлагаемых (никак не обоснованных) компонентов: экономические возможности (25%), военный потенциал (25%), население (15%), технологии (15%), энергетическая безопасность (10%), внешнеполитические ресурсы (10%)².

Наконец, еще один пример – индекс мирового могущества (World Power Index), который использует комплексные показатели, в данной терминологии – «материального» потенциала (территория, ВВП, военные расходы, научно-исследовательские разработки, внешнеэкономические связи и др.), «полуматериального» потенциала (включая население, ВВП на душу населения, уровни потребления, образование и здравоохранение и др.) и «нематериального» потенциала (количество публикаций, международный туризм, миграция, телефоны и интернет и др.)³.

Здесь тоже есть свои проблемы и сложности, с которыми так или иначе придется иметь дело при планировании и осуществлении эмпирического сравнительного исследования могущества и влияния государств в условиях меняющегося мирового порядка. Так, например, даже в случае адекватной концептуализации основной проблематики нашего исследования мы не можем быть полностью уверены в подборе соответствующих индикаторов – и по многим, в том числе указанным выше, причинам. Важно понять, какие переменные можно использовать в сравнительном анализе с учетом указанных выше проблем «весов», пропущенных данных, агрегации разнородных показателей и др.

¹ The correlates of war. – Mode of access: <http://correlatesofwar.org/>

² Index of national power. – Mode of access: <http://www.nationalpower.info/>

³ World power index. – Mode of access: <https://danielmoralesruvalcaba.wordpress.com/tag/world-power-index/>

4. Перспективы дальнейших исследований

Учитывая рассмотренные выше проблемы концептуализации и выбора инструментов и технологий операционализации и измерения эмпирических показателей влияния и могущества, мы могли бы, тем не менее, попробовать наметить некоторые перспективы дальнейших исследований по рассматриваемой проблематике. Одна из ключевых задач здесь – определение возможных путей к формированию адекватного целям и рамкам осуществляемого исследования *нового комплексного индекса* могущества и влияния современных государств, учитывающего уроки и ограничения предшествующего опыта. Для этого, среди прочего, необходима дальнейшая проработка вопросов, связанных с концептуализацией рассматриваемой проблематики и уточнением необходимых для эмпирического анализа измерительных инструментов.

Перспективное направление дальнейших исследований связано и с теоретически и методологически обоснованным отбором используемых индикаторов, а также тестированием различных методик работы с ними (в том числе определением их «весов», способов агрегирования и др.).

Выше мы уже могли убедиться в том, что существующие индексы, используемые в сравнительном анализе государственной мощи и влияния, фактически «заточены» под разные исследовательские задачи. К тому же они далеко не всегда, с одной стороны, вытекают из концептуально обоснованной дифференциации различных измерений и аспектов мощи и влияния, а с другой – учитывают встроенные методологические сложности и ограничения (веса индикаторов, проблемы их агрегации, пропущенные данные и др.). Отправным пунктом в нашем случае должны стать сформулированные выше концептуальные положения, учитывающие реально существующие разновидности и измерения могущества и влияния, их содержание, воздействующие на них факторы и их эффекты и др.

Разработка и тестирование такого нового комплексного индекса могут иметь существенное теоретическое и прикладное значение. С учетом предложенной нами концептуализации могущества и влияния, учитываемые в индексе индикаторы должны отражать основные измерения рассматриваемых явлений: во-первых, *ресурсно-экономическое* (население, территория, запасы углеводоро-

дов, ВВП, экспорт товаров и услуг, НИОКР и др.); во-вторых, *военное* (военные расходы, численность армии, наличие ядерного оружия и способов его доставки и др.); в-третьих, *институциональное* (роль в ООН, МВФ и других международных организациях); в-четвертых, *«мягкая сила»* (качество высшего образования и научных исследований, привлекательность национальных университетов для зарубежных студентов и др.)¹. Такой комплексный индекс, построенный с учетом *традиционных и новых компонентов* мощи и влияния, должен вывести на уточненные глобальные и региональные рейтинги современных государств, в том числе рассматриваемые в *динамике*.

Однако новизна предлагаемого подхода заключается еще и в возможности дифференцированного рассмотрения *отдельных измерений* могущества и влияния применительно к разным странам и группам стран, разным условиям их существования и избираемым стратегиям их национального развития. Такой ракурс по-новому возвращает нас к обозначенному выше вопросу о фундаментальной внутренней разнородности современных государств и их различным эволюционным состояниям. Например, в одних случаях стратегический выбор направлений национального развития может быть связан с упором на совокупные традиционные измерения могущества и влияния – или же с акцентом на финансовые или сугубо военные, или на новые технологические компоненты и т.д. Иными словами, применительно к современным государствам немалое значение может иметь изучение конкретных областей, в которых проявляется их специфическое могущество и влияние (как в глобальном, так и в региональном разрезе).

Еще один важный сюжет для перспективных исследований – это роль и значение *политической воли и стратегии* как своего рода «внересурсного» компонента, который в определенных ситуациях может компенсировать ресурсные (в широком смысле слова) ограничители и даже выходить на первый план в усилиях «восходящих» государств и групп государств, стремящихся к изменению своего положения и статуса в условиях меняющегося мирового порядка. Этот потенциально важный компонент могу-

¹ Конечно, это лишь предварительные наборы показателей, которые должны уточняться в зависимости от доступности и качества имеющихся эмпирических данных.

шества и влияния традиционно фигурирует в различных исследованиях в качестве упоминаемого фактора, но при этом напрямую не поддающегося количественному измерению и обработке. Тем не менее это существенный вопрос, на который в настоящее время еще нет сколько-нибудь аналитически строгих ответов.

Существенно также изучение динамики могущества и влияния государств с учетом меняющегося мирового порядка и с отработкой новых методов ее анализа как вариантов нелинейных процессов. Применительно к нашей общей проблематике такие направления (в том числе с использованием так называемого процесса Ферхюльста) были намечены [см., например: Полунин, Тимофеев, 2009; Тимофеев, 2014], но все же еще остается значительный простор для дальнейших исследований.

Отдельное и весьма перспективное исследовательское направление связано с дальнейшей проработкой теоретико-методологических оснований и практическим применением *сетевого подхода* и *анализа сетей*. Применительно к рассматриваемой нами проблематике сети могут обоснованно рассматриваться как новые «нелинейные» измерения могущества и влияния. Речь идет об особых «узловых» взаимодействиях, раскрывающих новые, нетрадиционные элементы могущества и влияния. Специфическая «сетевая мощь» (конечно, относительная и опосредованная) может оказаться важным новым измерением международного влияния и особого рода мощи — причем не только по традиционным показателям «центральности».

Использование сетевого подхода, развивавшегося в первую очередь применительно к анализу процессов принятия решений в рамках определенных групп, позволяет раскрыть важные опосредованные и неиерархические взаимосвязи и взаимовлияния между различными игроками на мировой арене — прежде всего, между государствами, но не только. Участие в международных сетях предоставляет действующим игрокам непропорционально увеличивать свое влияние даже в тех случаях, когда этому не соответствуют объективные (наличные) параметры мощи [Hafner-Burton, Kahler, Montgomery, 2009]. Кроме того, у сетевого подхода есть определенный потенциал и применительно к теоретико-методологическим вариантам построения индекса национальной мощи на основе сетевых взаимодействий с учетом различных моделей «центральности» [см., например: Kim, 2010].

Сетевой подход, таким образом, обладает значительным эвристическим потенциалом и уже успешно используется при анализе международных конфликтов, миграционных потоков, финансовых и торговых взаимодействий и иных важных аспектов многомерных взаимовлияний в современной мировой политике¹.

Среди других возможных и перспективных направлений исследований в русле рассматриваемой проблематики нужно упомянуть также углубленное изучение факторов и эффектов, связанных с феноменом *государственной состоятельности* (обусловленных ею и / или проявляющихся в ней и ее динамике). В сравнительной политологической литературе это направление в настоящее время переживает явный бум, однако без особой фокусировки на вопросах, относящихся к государственной состоятельности как специфическому внутреннему фактору международного могущества и влияния. Здесь для нас есть очевидный шанс внести вклад в идущие дискуссии.

В идеале такого рода исследования могли бы дать существенный материал для эмпирического тестирования многих распространенных в современной литературе предположений качественного характера. Например, о происходящем сдвиге мирового могущества и влияния в Азию, о разнонаправленной динамике военной силы как фактора национального могущества, о «восходящих» и «нисходящих» в мировой политике державах и их ресурсах, и др.

Отдельным важным направлением дальнейших исследований может стать специальный фокус на анализе могущества и влияния как *независимой*, так и *зависимой* переменной. Это в принципе позволило бы лучше понять не только их структуру и новые компоненты, но и то, каковы их взаимосвязи с другими важными измерениями мировой политики и внутренних процессов, протекающих в различных современных государствах. Проблема, по сути, в том, какое воздействие на могущество и влияние государств в современном мире могут оказывать и реально оказывают иные стороны и аспекты мировой политики и разнообразных внутренних процессов. В проекте «Политический атлас современности» потенциал международного влияния рассматривался в кон-

¹ См. разработки Ф.Т. Алескерова и его учеников: [Сетевой подход... 2016; Aleskerov, Meshcheryakova, Shvydun, 2017 и др.]

тексте анализа состояний и уровней государственности, наличия и характера внешних и внутренних угроз, качества жизни, институциональных основ демократии и др. Есть все основания планировать новый этап сравнительного исследования – *«Политический атлас современности 2.0»*.

Список литературы

- Глобальный бунт и глобальный порядок. Революционная ситуация в мире и что с ней делать (2017): Доклад международного дискуссионного клуба «Валдай» / Барабанов О., Бордачев Т., Лукьянов Ф., Суслов Д., Сушенцов А., Тимофеев И. – М., 2017. – Режим доступа: <http://ru.valdaiclub.com/files/14649/> (Дата посещения: 30.12.2017.)
- Ильин М.В. Признание государства в контексте эволюции мировой системы // Международные процессы. – М., 2012. – № 1. – С. 18–27.
- Ильин М.В. Семейное дело Левиафанов. Государства в международных системах // Политическая наука / РАН. ИНИОН. – М., 2016 а. – № 4. – С. 22–42.
- Ильин М.В. Слоеный пирог политики: порядки, режимы и практики // Полис. Политические исследования. – М., 2014. – № 3. – С. 111–138.
- Ильин М.В. Слоеный пирог политики: рецепты и импровизации // Полис. Политические исследования. – М., 2016 б. – № 1. – С. 88–103.
- Кортунов А.В. Блеск и нищета геополитики // Российский совет по международным делам. – М., 2015. – 12 января. – Режим доступа: http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/ble-sk-i-nishcheta-geopolitiki/?sphrase_id=632781 (Дата посещения: 30.12.2017.)
- Кортунов А.В. Неизбежность странного мира // Российский совет по международным делам. – М., 2016. – 15 июля. – Режим доступа: <http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/neizbezhnost-strannogo-mira/> (Дата посещения: 30.12.2017.)
- Локишин И.М. Игра в бисер? Конвенциональные количественные методы в свете тезиса Дюэма-Куайна // Политическая наука / РАН. ИНИОН. – М., 2015. – № 2. – С. 80–103.
- Мельвиль А.Ю., Ефимов Д.Б. «Демократический Левиафан»? Режимные изменения и государственная состоятельность – проблема взаимосвязи // Политическая наука / РАН. ИНИОН. – М., 2016. – № 4. – С. 43–73.
- Новые правила или игра без правил: Доклад участников XI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» / Под ред. Ф. Лукьянова, И. Крастева. – М., 2015. – Режим доступа: <http://ru.valdaiclub.com/files/10088/> (Дата посещения: 30.12.2017.)
- Политический атлас современности: Опыт многомерного статистического анализа политических систем современных государств / Мельвиль А.Ю., Ильин М.В., Мелешкина Е.Ю., Миролюков М.Г., Полунина Ю.А., Тимофеев И.Н. – М.: МГИМО-Университет, 2007. – 272 с.

- Полунин Ю.А., Тимофеев И.Н. Нелинейные политические процессы: Учеб. пособие. – М.: МГИМО-Университет, 2009. – 204 с.
- Сетевой подход в изучении межгосударственных конфликтов / Алескеров Ф.Т., Курапова М.С., Мещерякова Н.Г., Миرونюк М.Г., Швыдун С.В. // Политическая наука / РАН. ИНИОН. – М., 2016. – № 4. – С. 111–136.
- Тимофеев И.Н. Мировой порядок или мировая анархия? Взгляд на современную систему международных отношений: Рабочая тетр. № 18/2014 / гл. ред. И.С. Иванов; Российский совет по международным делам (РСМД). – М.: Спец книга, 2014. – 48 с. – Режим доступа: http://russiancouncil.ru/upload/RIAC_WP_18_RU.pdf (Дата посещения: 09.01.2018.)
- Тимофеев И.Н. Россия и коллективный Запад: новая нормальность: Рабочая тетр. № 32/2016 / гл. ред. И.С. Иванов; Российский совет по международным делам (РСМД). – М.: НП РСМД, 2016. – 36 с. – Режим доступа: <http://russiancouncil.ru/common/upload/Russia-West-Paper32-ru.pdf> (Дата посещения: 09.01.2018.)
- Фабрикант М.С. Модель-ориентированный подход к отсутствующим значениям: множественная импутация в многоуровневой регрессии посредством R // Социология: методология, методы, математическое моделирование. – М., 2015. – № 41. – С. 7–29.
- Alcock N.Z., Newcombe A.G. The perception of national power // Journal of conflict resolution. – Thousand Oaks, CA, 1970. – Vol. 14, N 3. – P. 335–343.
- Aleskerov F., Meshcheryakova N., Shvydun S. Power in network structures // Models, algorithms, and technologies for a network analysis. Springer proceedings in mathematics and statistics / V.A. Kalyagin, A.I. Nikolaev, P.M. Pardalos, O. Prokopyev (eds.). – Cham: Springer international publishing, 2017. – Vol. 197. – P. 79–85.
- Auguelov N., Kaschel T. Toward quantifying soft power: The impact of the proliferation of information technology on governance in the Middle East // Palgrave communications. – Basingstoke; Hampshire, 2017. – N 17016. – DOI: 10.1057/palcomms.2017.16
- Axelrod R. An evolutionary approach to norms // American political science review. – Washington, 1986. – Vol. 80, N 4. – P. 1095–1111.
- Baldwin D.A. Power analysis and world politics: New trends versus old tendencies // World politics. – Toronto, 1979. – Vol. 31, N 2. – P. 161–194.
- Baldwin D.A. Power and international relations // Handbook of international relations / W. Carlsnaes, T. Risse, B.A. Simmons (eds.). – Los Angeles et al.: SAGE, 2013. – P. 273–297.
- Cline R.S. World power assessment 1977: a calculus of strategic drift. – Boulder: Westview press, 1977. – xi, 206 p.
- Colgan J.D., Keohane R.O. The liberal order is rigged. Fix it now or watch it wither // Foreign affairs. – N.Y., 2017. – Vol. 96, N 3. – P. 36–44.
- Corbetta R., Volgy T.J., Rhamey J.P.Jr. Major power status (in) consistency and political relevance in international relations studies // Peace economics, peace science and public policy. – Philadelphia, Pa, 2013. – Vol. 19, N 3. – P. 291–307.
- Duncan R.W., Jancar-Webster B., Switky B. Instructor's manual to accompany world politics in the 21st century. – N.Y.: Longman, 2002. – 696 p.
- Fels E. Shifting power in Asia-Pacific?: The rise of China, Sino-US competition and regional middle power allegiance. – Switzerland: Springer, 2017. – 768 p.

- Ganguly S., Thompson W.R.* Ascending India and its state capacity: Extraction, violence, and legitimacy. – New Haven: Yale univ. press, 2017. – ix, 338 p.
- German C.F.* A tentative evaluation of world power // *Journal of conflict resolution*. – Thousand Oaks, CA, 1960. – Vol. 4, N 1. – P. 138–144.
- Global trends. Paradoxes of progress. National intelligence council. – 2017. – January. – 235 p. – Mode of access: <https://info.publicintelligence.net/ODNI-NIC-Paradox-Progress.pdf> (Accessed: 12.01.2018.)
- Guzzini S.* On the measure of power and the power of measure in international relations // DIIS working paper. – Copenhagen: Danish institute for international studies, 2009. – N 29. – 18 p. – Mode of access: http://pure.diis.dk/ws/files/56324/WP2009_28_measure_of_power_international_relations_web.pdf (Accessed: 12.01.2018.)
- Haas R.* World order 2.0. The case for sovereign obligation // *Foreign affairs*. – N.Y., 2017. – Vol. 96, N 1. – P. 2–9.
- Hafner-Burton E.M., Kahler M., Montgomery A.H.* Network analysis for international relations // *International organization*. – Cambridge, MA, 2009. – Vol. 63, N 3. – P. 559–592.
- Hart J.* Three approaches to the measurement of power in international relations // *International organization*. – Cambridge, MA, 1976. – N 30. – P. 289–305.
- Holsti K.J.* The concept of power in the study of international relations // *Background*. – N.Y., 1964. – Vol. 7, N 4. – P. 179–194.
- Ikenberry J.G.* The plot against American foreign policy. Can the liberal order survive? // *Foreign affairs*. – N.Y., 2017. – Vol. 96, N 3. – P. 2–9.
- Kim H.M.* Comparing measures of national power // *International political science review*. – Beverly Hills, Calif., 2010. – Vol. 31, N 4. – P. 405–427.
- Kramer M.* Theoretical introduction. Political power and political discourse in Russia: Conceptual issues // *State and Political Discourse in Russia* / R.M. Cucciolla (ed.). – Rome: Reset-Dialogues on Civilization, 2017. – P. 25–88.
- Kugler J., Arbetman M.* Choosing among measures of power: A review of the empirical record // *Stoll R.J., Ward M.D.* Power in world politics. – Boulder: Lynne Reiner publications, 1989. – P. 49–77.
- Kugler J., Domke W.* Comparing the strength of nations // *Comparative political studies*. – Thousand Oaks, CA, 1986. – N 19. – P. 39–69.
- Major powers and the quest for status in international politics: Global and regional perspectives / Volgy T.J., Corbetta R., Grant K.A., Baird R.G. – N.Y.: Palgrave MacMillan, 2011. – xiii, 242 p.
- McClory J.M.* The soft power 30 report. A global ranking of soft power. – Portland: Portland PR Limited, 2017. – Mode of access: <https://softpower30.com/wp-content/uploads/2017/07/The-Soft-Power-30-Report-2017-Web-1.pdf> (Accessed: 12.01.2018.)
- Mead W.R., Keeley S.* The eight great powers of 2017 // *The American interest*. – 2017. – January 24. – Mode of access: <https://www.the-american-interest.com/2017/01/24/the-eight-great-powers-of-2017/> (Accessed: 13.01.2018.)
- Measuring national power in the postindustrial age. Analyst's handbook / Tellis A.J., Bially J., Layne C., McPherson M., Sollinger J. – Santa Monica, Calif.: RAND, 2000. – vii, 54 p.

- Measuring regional authority: A postfunctionalist theory of governance / Hooghe L., Marks G., Schakel A.H., Niedzwiecki S., Osterkatz C.S., Shair-Rosenfeld S. – Oxford: Oxford univ. press, 2016. – Vol. 1. – 675 p.
- Melville A., Mironyuk M. «Bad enough governance»: State capacity and quality of institutions in Post-Soviet autocracies // Post-Soviet affairs. – Silver Spring, MD, 2016. – Vol. 32, N 2. – P. 132–151.
- Modelski G., Thompson W. Leading sectors and world powers: The coevolution of global politics and economics. – Columbia, SC: Univ. of South Carolina press, 1996. – xv, 263 p.
- Mokken R.J., Stokman F.N. Power and influence as political phenomenon // Power and political theory: Some European perspectives / B. Brian (ed.). – L.: Wiley, 1976. – P. 33–54.
- Munich security report 2017. Post-truth, post-West, post-order? – 2017. – Mode of access: <http://report2017.securityconference.de/> (Accessed: 14.01.2018.)
- Nye J. Soft power: The means to success in world politics. – N.Y.: Public affairs, 2004. – 209 p.
- Nye J. The future of power. – N.Y.: Public affairs, 2011. – xviii, 298 p.
- Nye J.S. Will the liberal order survive? The history of the idea // Foreign affairs. – N.Y., 2017. – Vol. 96, N 1. – P. 10–16.
- Political atlas of the modern world. An experiment in multidimensional statistical analysis of the political systems of modern states / Melville A., Polunin Yu., Ilyin M., Mironyuk M., Timofeev I., Meleshkina E., Vaslavskiy Y. – Malden: Wiley-Blackwell, 2010. – 214 p.
- Presentation of a new model to measure national power of the countries / Hafeznia M.R., Zarghani S.H., Ahmadipor Z., Eftekhari A.R. // Journal of applied sciences. – Faisalabad, 2008. – Vol. 8, N 2. – P. 230–240.
- Ranking the world: Grading states as a tool of global governance / A. Cooley, J. Snyder (eds.). – Cambridge: Cambridge univ. press, 2015. – xiii, 241 p.
- Ruvalcaba D.M. Power, structure and hegemony. – Guadalajara: GIPM Editors, 2016. – Vol. 1: World power index. – 365 p.
- Savoia A., Sen K. Measurement, evolution, determinants, and consequences of state capacity: A review of recent research // Journal of economic surveys. – Avon, 2015. – Vol. 29, N 3. – P. 441–458.
- Schedler A. Judgment and measurement in political science // Perspectives on politics. – Cambridge, 2012. – Vol. 10, N 1. – P. 21–36.
- Schrodt Ph.A. Seven deadly sins of contemporary quantitative political analysis // Journal of peace research. – L., 2014. – Vol. 51, N 2. – P. 287–300.
- Singer D.J., Bremer S., Stuckey J. Capability distribution, uncertainty, and major power war, 1820–1965 // Peace, war, and numbers / B. Russett (ed.). – Beverly Hills: Sage, 1972. – P. 15–48.
- Taagepera R. Making social sciences more scientific: The need for predictive models. – Oxford: Oxford univ. press, 2008. – xv, 254 p.
- Traverton G.F., Jones S.G. Measuring national power. – Santa Monica, Calif.: RAND Corporation, 2005. – xii, 21 p.

КОНТЕКСТ

Е.Б. Павлова, Н.Н. Гудалов, Г.В. Коцур*

КОНЦЕПЦИЯ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКЕ: НА ПРИМЕРЕ БИОПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАКТИК В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ¹

Аннотация. Данная статья фокусируется на новой, но уже чрезвычайно востребованной в современной политике концепции стрессоустойчивости. В работе представлены основные этапы генезиса и характеристики этой концепции. Особое внимание уделено политологии и теории международных отношений. На основе анализа некоторых недавних российских законодательных инициатив продемонстрирован потенциал использования концепции стрессоустойчивости в политической сфере.

Ключевые слова: стрессоустойчивость; правительственность; Фуко; биополитика; Российская Федерация.

* **Павлова Елена Борисовна**, кандидат политических наук, старший научный сотрудник Тартуского университета (Тарту, Эстония), доцент Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург, Россия) e-mail: elena.pavlova@ut.ee; **Гудалов Николай Николаевич**, кандидат политических наук, старший преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета, e-mail: n.gudalov@spbu.ru; **Коцур Глеб Владиславович**, магистрант Санкт-Петербургского государственного университета, e-mail: glebk17@gmail.com

Pavlova Elena, University of Tartu (Tartu, Estonia); Saint Petersburg State University (Saint Petersburg, Russia) e-mail: elena.pavlova@ut.ee; **Gudalov Nikolay**, Saint Petersburg State University (Saint Petersburg, Russia), e-mail: n.gudalov@spbu.ru; **Kotsur Gleb**, Saint Petersburg State University (Saint Petersburg, Russia), e-mail: glebk17@gmail.com

¹ Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 17-18-01110).

E.B. Pavlova, N.N. Gudalov, G.V. Kotsur

**The concept of resilience in political science:
The example of biopolitical practices in the Russian Federation**

Abstract. This article is focused on ‘resilience’, the conception which is new yet already very popular in contemporary politics. The work presents the main stages of the genesis of this conception and its characteristics. Special attention is paid to political science and International Relations theory. The potential use of the conception of resilience in the political sphere is demonstrated through the analysis of a number of recent Russian legislative initiatives.

Keywords: resilience; governmentality; Foucault; biopolitics; Russian Federation.

Концепция, обозначаемая английским словом «resilience» (в нашем переводе – «стрессоустойчивость»), прочно вошла в лексикон многих научных дисциплин, а в последнее время все громче заявляет о себе как одном из наиболее перспективных направлений политической науки. Количество научных публикаций, конференций, проектов, посвященных данной тематике, растет в геометрической прогрессии [Dunn Cavelt, Kaufmann, Søby Kristensen, 2015, p. 5]. С 2013 г. престижный издательский дом «Taylor & Francis» выпускает журнал «Стрессоустойчивость. Международная политика. Практика и дискурсы» [Resilience. International policies... 2017]. Не менее, а может и более важным фактом, требующим повышенного внимания к стрессоустойчивости, является всё бо́льшая востребованность данной концепции в официальных политических заявлениях и программах [см., например: UK national security... 2010; Understanding vulnerability... 2011]. В 2016 г. концепция стрессоустойчивости стала ключевой категорией для формулировки Стратегии Европейского союза – документа, который во многом определяет новые контуры внешней политики ЕС [Shared vision ... 2016]. При этом отметим, что столь активное использование понятия «стрессоустойчивость» в политическом дискурсе пока не привело к выработке ясного понимания того, как именно стрессоустойчивость встроена в систему и какое влияние она может оказывать. Сколь противоречива ни была бы сама концепция, на данном этапе можно достаточно уверенно сказать, что ее роль в политической науке и практике в обозримом будущем лишь продолжит возрастать.

Современные исследования стрессоустойчивости в политической науке можно условно разделить на три группы. Во-первых, это теория стрессоустойчивости как таковая, где в центре дискуссии – само понятие «стрессоустойчивость» и его возможные интерпретации. Во-вторых, это работы, посвященные категории «стрессоустойчивость» как части политического дискурса. В-третьих, это труды, фокусирующиеся на анализе стрессоустойчивости как неотъемлемого свойства любой системы, делающие попытки определить, как именно проявляется это свойство в рамках различных систем, социальных и политических, и как влияет на текущие события. Пока этот ракурс остается наиболее дискуссионным, однако именно подобное переосмысление позволяет говорить о важности этого направления не только в теории, но и в исследованиях прикладного характера. В данной статье мы проиллюстрируем современные подходы к изучению стрессоустойчивости примером из российской действительности. Рассматривая ряд биополитических практик, формулируемых в рамках российского официального дискурса, мы покажем процесс формирования нового стрессоустойчивого субъекта, способствующего купированию вызова режиму в начале 2010-х годов, после выборов в Государственную думу.

Таким образом, целью данной статьи является выявление потенциала использования теории стрессоустойчивости для анализа текущих политических событий на примере обозначения биополитических практик как ресурса стрессоустойчивости современного государства. Для реализации указанной цели в первом разделе работы будет представлена общая характеристика понятия «стрессоустойчивость». Во втором разделе проследим истоки возникновения этой категории, в третьем проведем обзор существующих подходов к стрессоустойчивости в политической науке и исследованиях международных отношений. Четвертый раздел будет посвящен различным биополитическим практикам как потенциальному ресурсу стрессоустойчивости. Наконец, в пятом разделе мы продемонстрируем потенциал выявления стрессоустойчивости на примере законотворческих инициатив в Российской Федерации.

Теоретическую базу составят важнейшие академические публикации по теории стрессоустойчивости. Основной акцент будет сделан на работах, применяющих фукольдианский подход к анализу. Источниками эмпирической части послужат официаль-

ные заявления политической элиты в отношении ряда новых законов Российской Федерации, разобранные при помощи дискурса-анализа.

1. Стрессоустойчивость: Общая характеристика понятия

Характеристика понятия «resilience» осложняется многообразием существующих трактовок. Однако прежде чем перейти к их изложению, мы остановимся на вопросе, требующем первичного прояснения, – русскоязычном варианте данного понятия, так как общепринятого перевода пока нет [см. также: Романова, 2017, с. 17–18, сноска 1]. Междисциплинарность употребления данного термина существенно усложняет эту задачу. Так, классические и буквальные варианты перевода, связанные по смыслу с понятием «упругость», стилистически и содержательно адекватны для физики и технических наук. Однако подобный перевод не вполне отражал бы широту научных дискуссий в других дисциплинах, поскольку он однозначно указывает на возвращение системы к первоначальному состоянию и не учитывает взгляды тех ученых, которые подчеркивают возможности трансформации системы под влиянием соответствующего воздействия. Между тем уже в экологии смысл термина «resilience» часто отделяется от «стабильности». Так, Кроуфорд Холлинг – известный канадский эколог, который и ввел «resilience» в широкий научный оборот, – специально отграничивал его от термина «стабильность» и даже подчеркивал, что эти два термина могут иметь противоположные смыслы. «Resilience» понимался им как гораздо более динамичное свойство. Системы, считал Холлинг, могут быть нестабильными и именно *за счет этого* – стрессоустойчивыми [Holling, 1973, p. 14–15].

Если потенциальная важность динамизма для сохранения основных свойств систем обсуждается в экологии, то этот момент еще резче заостряется многими представителями социальных наук, полагающими, что общество как сложная, динамичная система может сохранять свои ключевые качества не всегда за счет возвращения к прежнему состоянию, а иногда за счет различных трансформаций. С учетом этого вариант перевода «стрессоустойчивость», в отличие от «упругости», нейтрален относительно дан-

ных дискуссий: им могут обозначаться как возврат к прежнему положению дел, так и изменения.

Другие версии перевода могут быть связаны с «жизнестойкостью» или «жизнеспособностью», которые также априори не исключают динамизма. Действительно, данные варианты увязывали бы понятие с биополитической проблематикой, которая обсуждается далее в статье. Тем не менее слова «жизнеспособность» и «жизнестойкость» имеют, как представляется, слишком яркое и однозначное биологическое звучание, в сравнении с которым термин «стрессоустойчивость» менее спорный для политической науки. Конечно, слова, имеющие биологическую окраску, используются в политологии для характеристики небιологических референтов. Часто говорят, например, о «жизнеспособности» того или иного строя. Верно и то, что слово «стрессоустойчивость» также имеет антропоморфную коннотацию. Но всё же варианты перевода, подобные «жизнестойкости», слишком однозначно постулируют наличие «жизни» у тех систем, о которых может идти речь. Это было бы оправданно, если бы речь шла только об индивидах и их стрессоустойчивости. Однако в современной науке термин «resilience» применяют для характеристики очень широкого спектра систем: не только людей, но и их коллективов, а также, например, различных инфраструктур, институтов или норм. В последних случаях постулирование некоей единой «жизни» у подобных систем вызвало бы, без сомнения, серьезные споры. Мы полагаем, что в тех же случаях вариант перевода «стрессоустойчивость» порождает меньше стилистических и содержательных дискуссий.

Каковы общие контуры возможного определения стрессоустойчивости? В работе с красноречивым названием «Мыслить стрессоустойчиво» это понятие определяется как способность любой системы абсорбировать вызовы и сохранять свои базовые функции и структуру [Walker, Salt, 2012, p. xiv]. Общество, которое видится одновременно как социальное и природное явление, подчиняется тем же законам, т.е. рассматривается как система, способная к регенерации и самоуправлению. Любые вызовы по отношению к окружающей среде предлагается анализировать не как нечто «внешнее», а как часть социоэкологической системы, которая поддерживается именно через стрессоустойчивость [Chandler, 2014, p. 7–8]. Соответственно, категория «стрессоустойчивость» употребляется при анализе кризисных ситуаций, тре-

бующих междисциплинарного подхода, где общество рассматривается как единая с природой система. Ответы, которые дает система, нелинейны и могут быть непредсказуемы, так как сама система эмерджентна, т.е. может иметь свойства, нехарактерные для ее структурных элементов.

Использование категории «стрессоустойчивость» при анализе какого-либо феномена предполагает осознание множественности ее проявлений. Так, мы можем исследовать экологические характеристики в рамках различных моделей развития экономики [Brown, Lall 2006], в то же время осозная стрессоустойчивость как неотъемлемую часть самой экономической системы [Walker, Cooper, 2011]. Или, например, в работах по городскому планированию стрессоустойчивость исследуется и как часть экологии города в прямом понимании [Ahern, 2013], и через призму социальных проблем общества [Kärholm, Nylund, de la Fuente, 2014]. Палитра здесь очень широка.

2. Стессоустойчивость: Истоки возникновения научной категории

Отмеченный плюрализм определений и употреблений термина «стрессоустойчивость» во многом связан с историей его появления и распространения. Изначально употребление понятия фактически полностью ограничивалось отдельными сферами естественных и технических наук. Однако сейчас мы наблюдаем не только резкое увеличение обращений к стрессоустойчивости в самых разных научных областях, но и все возрастающее количество междисциплинарных исследований, где именно концепция стрессоустойчивости становится связующим звеном.

Путь стрессоустойчивости в социальные науки был непрост. Хотя большинство исследователей подчеркивают расплывчатость и неясность данной категории [Wagner, Anholt, 2016; Smith, 2016], существует более или менее определенная точка отсчета дискуссий, ведущихся на эту тему. Такова экосистема, а точнее ее способность к регенерации. Впервые рассматриваемый термин в современном значении появился в работе К. Холлинга «Стрессоустойчивость и стабильность экологической системы», где под ним подразумевалась «мера стойкости систем и их способность поглощать измене-

ния и нарушения, поддерживая те же соотношения между популяциями или переменными состояниями» [Holling, 1973, p. 14]. Работы Холлинга обозначили поворот от статичной концептуализации стрессоустойчивости к более динамичной, согласно которой она относится к способности экосистем изменяться под воздействием шоков, при этом сохраняя свои главные черты. Так, в исследованиях Питера Роджерса и Филиппе Бурбо [Rogers, 2012; Bourbeau, 2015] прослеживается история применения термина «стрессоустойчивость» в разных исследовательских областях – от инженерных наук и экологии до психологии и социальных дисциплин.

Концепция сразу получила популярность. Более того, как указывают Мелинда Купер и Джереми Уокер, практически сразу же, с 1970-х годов, идея стрессоустойчивости как «науки о сложной адаптивной системе и операционной стратегии утвердила себя в качестве доминирующего дискурса в управлении природными ресурсами» [Walker, Cooper, 2011, p. 42]. Во многом благодаря Фридриху Хайеку, который практически в то же время писал о саморегулировании рыночных механизмов, подобное толкование системы начало применяться в экономических науках. С 1990-х годов, продолжают авторы [ibid.], «стрессоустойчивость» стала практически неотъемлемой частью международной финансовой и экономической повестки дня, а также самых разных направлений в мировой политике, где кризисное управление играет ключевую роль. Если на заре своего становления концепция стрессоустойчивости была востребована прежде всего в биологии, экологии, исследовании взаимодействий между окружающей средой и обществом, то сегодня это важный инструмент познания в социологии, экономике и политических науках.

3. Стрессоустойчивость в политической науке и международных исследованиях

В недавно изданном «Справочнике Рутледжа по международной стрессоустойчивости» [The Routledge... 2017] мы можем увидеть внушительный список тем, где эта категория применяется в исследовании международных отношений, и большинство из них – междисциплинарные. Экологические сюжеты затрагивают возможность построения политических альтернатив [Nelson, 2017], а

темы городского планирования выстраиваются посредством вопроса о взаимосвязи между властью и гражданами [O'Hare, White, Connelly, 2017]. Однако и в этом справочнике, как и в других работах по стрессоустойчивости, активно подчеркиваются неопределенность этой категории и размытость возможностей ее применения [Anderson, 2015]. При этом исследователи не рассматривают это как недостаток, который не позволял бы использовать эту категорию при анализе различных феноменов социально-политической жизни.

По мнению большинства ученых, стрессоустойчивость – характеристика любого субъекта политической жизни, которая позволяет ему сохранить свой статус-кво, т.е. вернуться к форме, максимально приближенной к первоначальной после внешнего или внутреннего воздействия. Именно такая интерпретация стрессоустойчивости позволила говорить об этой концепции как о принципе управления и привела к возможности формулировок в рамках политических наук. Так, Джеймс Брассет, Стюарт Крофт и Ник Вон-Вильямс указывают, что стрессоустойчивость есть не что иное, как организационный принцип современной политической жизни [Brassett, Croft, Vaughan-Williams, 2013, p. 222]. Подобное определение ни в коем случае не может претендовать на всеобъемлющее, однако оно успешно задает точку отсчета для эмпирических исследований о совершенно разных политических системах. Это может быть международная система, могут быть государство или локальное сообщество, однако в любом случае речь идет о восприятии системы, где все угрозы мыслятся как ее неотъемлемая часть. То есть стрессоустойчивый субъект всегда одновременно и сам является системой, которая требует кризисного управления, и обладает ресурсами для подобного управления. Дихотомия субъект / объект здесь исчезает [Chandler, 2014, p. 8].

Такая структура управления видится большинству исследователей [см., например: Joseph, 2013; Bourbeau, 2015] как логичное продолжение концепции Мишеля Фуко о «правительственности», в которой ключевым значением для поддержания системы власти обладает связь государя со своим княжеством через многообразие практик [Фуко, 2003]. То есть через управление «вещами»: не просто территорией, а людьми в их взаимоотношениях с территорией, ресурсами, обычаями, образом действия, а также, что особо важно для исследований стрессоустойчивости, людьми «в их взаимосвязи с такими “вещами”, как возможные происшествия и несчастья, та-

кие как голод, эпидемии, смерти» [Фуко, 2003, с. 11]. Повторим, что правительственность ни в коем случае не сводится к созданию механизмов манипулирования: это понятие отражает рефлексивную рационализацию в научном дискурсе практик взаимодействия, уже существующих в данном обществе. Формирование моделей управления, должных способствовать «улучшению жизни народов» на основе этих практик, как раз и становится источником стрессоустойчивости. Именно такая ее интерпретация как органичного бессознательного свойства системы позволяет нам дать двойственную интерпретацию данной концепции. С одной стороны, это возможность поддержания данной системы, что может упрощать управление ею, с другой – бесконечная адаптация к переменам способна в конце концов привести к полному разрыву и перестройке.

Итак, сама сложность современного общества может служить «ресурсом» управления [Chandler, 2014, p. 34]. Именно в таком ракурсе стрессоустойчивость предстает перед нами как часть неолиберальной идеологии, которая позволяет поддерживать систему, создавая новые поля для контроля и управления. На сегодняшний день неолиберализм является базовой осью современного глобального управления, и именно поэтому большое количество ключевых работ по «стрессоустойчивости» фокусирует на этом особое внимание [Joseph, 2013]. В своих исследованиях авторы пытаются понять, в чем же заключена стрессоустойчивость современного неолиберализма и как вызовы современности могут нарушить существующий порядок. Так, переход от либерализма к неолиберализму во многом объясняется различными подходами к вызовам. Если классический либеральный дискурс, пишет Джонатан Джозеф, делал акцент на возможном вмешательстве для разрешения проблемы, то неолиберальный фокусируется на превентивных действиях [ibid., p. 44]. Таким образом, никакие катастрофы уже не могут обозначаться как «Божье провидение», это просто показатель качества управления обществом [Chandler, 2014, p. 156]. Однако речь не идет исключительно о правительственных инициативах. Стрессоустойчивость неолиберального режима основывается не только на адекватном предупреждении государством и реагировании на существующие и потенциальные кризисы, но и на ответственном отношении к гражданству и обществу самих граждан [Bourbeau, 2015, p. 381]. Для эффективного управления, по мне-

нию Дэвида Чандлера, необходимы одновременно гибкость, адаптивность, низовая инициатива и самоорганизация на всех уровнях [Chandler, 2014, p. 39].

Однако характеристики, необходимые для стрессоустойчивости системы, могут в какой-то момент сыграть против нее. И в этом заключается возможность реализации другого сценария, согласно которому стрессоустойчивость идет дальше неолиберальной парадигмы, более того, может превратиться в потенциал для ее преодоления [Rogers, 2012]. Исходит данный тезис из постулата, что жизнь как таковая по определению самоуправяема и, соответственно, мы очень часто переоцениваем важность управления [Chandler, 2014, p. 26]. То есть стрессоустойчивость социетальной системы может привести к возникновению альтернативной модели управления обществом, не как результат чьих-то намерений, а как спонтанный ответ системы, системы нелинейной и онтологически непознаваемой. Резюмируя особенности использования и изучения категории стрессоустойчивости, нужно вслед за Беном Андерсоном отметить, что невозможно говорить о проявлении стрессоустойчивости в чистом виде, в любом случае, она всегда будет взаимосвязана с существующими идеологиями и практиками власти, причем необязательно это должен быть неолиберализм [Anderson, 2015, p. 64].

Все же ряд направлений исследований стрессоустойчивости в политических процессах может быть задан. Так, Дж. Брассетт, С. Крофт и Н. Вон-Вильямс пишут, что возможны исследования специфики политических акторов, использующие данную категорию: особое внимание в них должно уделяться вопросам включенности разных категорий в артикуляцию данного дискурса; также исследователи подчеркивают важность исследования границ использования категории стрессоустойчивости и ее взаимосвязи с такой категорией, как сопротивление [Brassett, Croft, Vaughan-Williams, 2013, p. 225]. Очевидно, что в любой работающей системе заложены ресурсы стрессоустойчивости, которые поддерживают ее на данный момент или могут быть задействованы в условиях внешнего или внутреннего вызова. Следовательно, выявление этих ресурсов и включение их в дискурс становятся ключевыми задачами для политических элит, стремящихся поддержать существующий режим, а на долю исследователей остается анализ этого процесса.

4. Биополитические практики как ресурс стрессоустойчивости

Понятие «биополитика», столь активно переосмысливающееся в политических науках, восходит своими корнями к политической мысли Древней Греции [Ojakangas, 2017, с. 23–35]. Однако, и это подчеркивается в ряде серьезных научных исследований, каждая эпоха приносила свои коннотации данному понятию, что не сделало его более ясным и простым в использовании. Проследив историю появления ссылок на биополитику в XX в., Роберто Эспозито заключает, что сегодня мы можем говорить о «загадке биополитики как решенной, но лишь принимая как данность то, что подлежит исследованию» [Esposito, 2008, с. 24]. По сути дела, это жизнь как основа политики и как политический объект одновременно. Для самого Эспозито, как и для большинства современных политических философов, точкой отсчета остаются работы Мишеля Фуко, который в 1970-х годах определил, что биополитика, или биовласть, представляет собой политические механизмы, где ключевой ценностью, нуждающейся в особом внимании, является жизнь как таковая. То есть государство берет на себя ответственность за жизнь граждан во всех ее проявлениях – увеличение рождаемости и продолжительности жизни, снижение уровня заболеваемости и детской смертности и т.д. Причем объектом становится не отдельный индивид, а все население [Фуко, 2005, с. 258–263]. Однако не все ученые разделяют такое толкование биополитики. Так, появившаяся в 1970-х годах Ассоциация политики и биологических наук продвигала «научную биополитику», которая подразумевает междисциплинарный подход в политических исследованиях и активно использует данные и теории естественных наук для «более полного понимания политического поведения» [Liesen, Walsh, 2012, p. 3]. Если последователи Фуко придерживаются постструктуралистских подходов, то сторонники «научной биополитики» фокусируются на рационализме естественных наук, анализируя преимущественно эмпирические данные [ibid., p. 7]. Не только методология, но и различные объекты исследования позволяют нам говорить о множественности биополитических практик. Так, политические философы подчас пишут о современности в терминах биополитики, фокусируясь на самой биологической жизни как ключевом политическом аргументе

(Джорджио Агамбен) или определяя (через призму марксистского восприятия) все хозяйственное производство как биополитическое, т.е. нацеленное на выработку социальных связей и общественного порядка и тем самым связывающее саму жизнь с экономическими процессами (Майкл Хардт, Антонио Негри). Подобный подход предполагает и увеличение возможных объектов исследования через призму биополитики. Проблемы беженцев, здорового питания, распространения СПИДа, биотехнологии и биоэтика – все это лишь неполный список тем, разрабатываемых в рамках биополитики [см., например: Кравченко, 2014].

Все эти направления роднит заданный еще Мишелем Фуко способ проблематизации политического, где главный фокус сделан на неизбежность обращения к биологической составляющей при изучении общественных проблем. Рассмотрение биологического и социального как элементов единой системы и позволило теоретикам стрессоустойчивости обратить внимание на биополитическое измерение как на один из важнейших ресурсов, позволяющих системе сопротивляться вызовам, ею же порождаемым. Джулиан Рейд, один из ведущих исследователей наследия Фуко в рамках изучения стрессоустойчивости, называет такой подход «экологическим обоснованием», подчеркивая, что речь идет об уязвимости человека и человеческого общества перед лицом различных вызовов, которые могут быть преодолены только посредством адаптации и использования ресурсов стрессоустойчивости, заложенных самой природой.

Биополитика в той или иной форме всегда существовала как часть правительственности, однако в XX в. она развивалась особенно активно, и стало ясно, что существовать она может при любом режиме. Как отмечает Сергей Прозоров, изучение конкретного случая проявления биополитики возможно лишь в тесной взаимосвязи с анализом конкретной идеологической конъюнктуры [Prozorov, 2017]. Так, продолжает Прозоров, биополитика была важнейшим элементом германского национал-социализма и идеи формирования идеального советского человека [ibid.]. Важную роль играет биополитика и в современном неолиберальном дискурсе. Как указывает Джулиан Рейд, «политические дискурсы современного либерализма переполнены ценностями, берущими истоки в биологии» [Chandler, Reid, 2016, p. 20], что и позволяет элитам артикулировать многочисленные практики управления, где

стрессоустойчивость режимов поддерживается через биологические дискурсы. Каким образом это происходит? Ключевой ресурс здесь – стимулирование новых дискурсов освобождения, обозначенных Фуко как производство «свобод», и формирование новых либеральных субъектов посредством поощрения низовых инициатив [Joseph, 2013.]. При этом, так как эти субъекты формируются в условиях внутренних вызовов, стрессоустойчивость по отношению к ним будет их ключевой характеристикой. То есть именно управление снизу вверх, осуществляемое новыми стрессоустойчивыми субъектами, становится ресурсом ответа системы на вызовы. Важно то, что речь здесь не идет о манипулировании. Формирование новых свобод – неотъемлемая часть либеральной системы, ее основной ресурс, который позволяет ей обновляться через диалектический метод.

Прежде чем перейти к описанию конкретной ситуации, следует указать, что ресурсом стрессоустойчивости может выступать любой элемент системы. В равной степени речь может идти и о солидарности, и о сельскохозяйственной практике. Важно то, что этот ресурс не может быть привнесен извне или быть результатом намеренного политического действия. То есть в ситуации кризиса он уже должен быть частью самой системы, и обращение к нему должно быть естественным для населения. То же касается и биополитических практик. Ресурсом, задействованным государством, могут быть совершенно разные элементы – здоровое питание и физическая культура, медицинская профилактика и генетика. В примере, описанном ниже, таким ресурсом стала проблема рождаемости и воспитания детей.

5. Ресурсы стрессоустойчивости современного российского режима: Случай «Белая лента»

Обратимся к российскому опыту, который, на наш взгляд, дает интересную возможность продемонстрировать потенциал биополитики для поддержания стрессоустойчивости. Представленный ниже анализ не претендует на моральную оценку ситуации, более того, важно подчеркнуть, что мы не говорим о сознательном манипулировании со стороны российских политических

элит. Речь идет о выявлении биополитических практик государства как потенциальном ресурсе его стрессоустойчивости.

С начала 2000-х годов вопросы снижения уровня рождаемости и сокращения численности жителей обозначались как приоритетные проблемы развития России [Концепция демографического... 2015]. С 2006 г. правительство уже предпринимало активные меры для решения демографического кризиса, например, с 2007 г. начались выплаты по программе, известной как «материнский капитал». Материальные меры проводились в условиях введения государственной концепции в отношении семейной политики, где цель – «молодая благополучная семья», которая «должна иметь такое количество детей, которое обеспечивает расширенное воспроизводство населения по данному региону» [Письмо Министерства... 2007]. По мнению социолога Ж. Черновой, в официальном дискурсе представление о молодой семье сводится «исключительно к ее репродуктивной функции», которая соотносится с «интересами государства, связанными с приростом населения» [Чернова, 2010]. Кроме того, в законе от 2010 г. «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» особое внимание уделялось недопустимости отрицания семейных ценностей [Федеральный закон... 2010]. Таким образом, демографический вопрос и отношение общества к детям постепенно стали одним из ключевых пунктов российской внутренней повестки дня. Государство постоянно расширяло свое влияние в сфере осуществления биологических потребностей, определяя и контролируя все процессы, связанные с детьми, что позволяет нам определить эту практику управления как биополитическую. Речь идет не о государственном принуждении, а лишь о поощрении определенного дискурсивного поля, где любой гражданин становится активным участником процесса, имеющего государственное значение.

Отталкиваясь от теории стрессоустойчивости, мы можем сформулировать следующую мысль: государственное внимание к проблемам демографии способствовало проявлению низовой субъективации – способность России противостоять различным вызовам связывалась с деторождением и надлежащим воспитанием нового поколения. Стессоустойчивость России интерпретировалась через активное участие каждого гражданина в этом процессе. Дети как отдельные индивиды в каждой семье или дети как надежда и продолжение нашего общества – объект особого внимания.

Причем инстинкты, заложенные природой, здесь сочетаются с экономическим прагматизмом (кто будет кормить нас в старости). Воспроизводство населения как естественная функция общества вкупе с идеей поддержания благосостояния и воспроизводят новый дискурс биополитической рациональности как один из источников стрессоустойчивости режима в период протестов после выборов в Государственную думу в 2011–2012 гг., которые стали серьезным вызовом существующему политическому режиму.

Итак, власти использовали обращение к проблемам демографии, причем ставился вопрос не просто о повышении рождаемости – речь шла об особом подходе к семейной политике, который выгодно отличает Россию от Запада, и о российской оппозиции, которая не стремится разобраться в ситуации, а слепо придерживается западных ценностей, что и подрывает стрессоустойчивость страны.

Общеизвестно, что движение «Белая лента», обвинявшее власти в фальсификациях в ходе электоральных процессов, практически сразу стало обозначаться в СМИ и на просторах Интернета как проплаченная Западом акция [см., например: Стешин, 2011; Стариков, 2011; Цыбин, 2012]. Однако не проблема финансирования выдвигалась как ключевая. Официальные лица стремились подчеркнуть, что речь идет не о разных подходах к демократическим процедурам, а о глубинном различии между прозападным мировоззрением участников акции и остальными россиянами. Ключевым адресатом данного обращения стали российские граждане, уже активно задействованные в обсуждении проблемы демографии.

Так, в 2012 г. был принят так называемый «закон Димы Яковлева», который не просто запрещал усыновление российских детей американцами, но и разъяснял гражданам отношение Запада к российским сиротам. В 2013 г. принята важная поправка к Закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» – ст. 6.21 «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних» [Федеральный закон... 2013]. Оба закона успешно соединяли в себе заботу о детях и негативный дискурс о Западе и, что особо важно, вызвали небывалый интерес СМИ [Гармоненко, 2013]. В целом россияне отнеслись к ним нейтрально или позитивно [Пипия, 2015]. Большая часть участников движения «Белая лента» выступила не просто с резкой критикой этих законов, но и провела ряд митингов за

их отмену. Это использовала власть, разъясняя, что «Закон Димы Яковлева» нацелен лишь на создание системы эффективного контроля за судьбами усыновленных гражданами США российских детей, и задавая конкретный вопрос, о чем же в таком случае действительно «заботится оппозиция» [О чем беспокоится...2013]. Такой же ракурс задавался и в ответах авторов «закона о гей-пропаганде» [Винокурова, Мизулина, 2013]. Поддержал эту тему и президент Российской Федерации Владимир Путин. В интервью накануне Олимпиады в Сочи он сказал: «У нас люди, которые выступили инициаторами этих законов и которые этот закон принимали – я, кстати, не был инициатором этого закона, – исходили из того, что однополые браки не производят детей. А Россия переживает непростые времена с точки зрения демографии. И мы заинтересованы в том, чтобы детей было больше, чтобы семьи были полноценными» [Путин, 2013]. Ряд СМИ активно подчеркивали разницу в восприятии этих законов, доказывая, что концепция прав человека в западной интерпретации не просто неадекватна, но ведет к вымиранию человечества [Пятов, 2013]. При этом нужно понимать, что вопрос не ставился как полное отрицание западного мировоззрения или прав ЛГБТ. Ключевой момент заключался в том, что смещался фокус внимания из правового поля в целом в отдельные сферы развития Российской Федерации, которые обеспечивают его стрессоустойчивость. Не отказ, а критическое переосмысление западных ценностей с учетом потребностей конкретного государства и общества стало задачей рядовых россиян.

В результате политические процедурные требования были смешаны с биополитическими установками, что приводило к иному трактованию выступлений оппозиции. Оценивая усилия власти по урегулированию ситуации, газета «Ведомости» писала в марте 2013 г.: «Стратегия российского руководства в борьбе с активизировавшейся с 2011 г. оппозицией направлена на политическую изоляцию оппозиции путем ее противопоставления большинству российского общества. История с концертом в храме Христа Спасителя и искусственно обостряемые споры о правах сексуальных меньшинств являются характерными проявлениями этой в целом успешной стратегии» [Кашин, 2013]. Формирование этого большинства как низового стрессоустойчивого субъекта власти и было результатом биополитических практик, описанных выше. Оппозиции пришлось признать этот успех власти [Морозов, 2013].

Таким образом, российский официальный дискурс весьма успешно проблематизировал требования оппозиции как западный вызов существованию российского общества, причем не только в рамках классических политических подходов, но и как социально-биологического феномена. Правительству удалось сместить дискуссию с центрального тезиса движения «Белая лента» о предполагаемой фальсификации выборов и злоупотреблениях власти в иную плоскость – западной трактовки прав человека, которая хоть и имеет ряд положительных элементов, но может привести к серьезным последствиям в демографическом плане. Общество не может желать действий, которые нанесут вред его детям, это условие его воспроизводства, а оппозиция, которая этого не понимает, – это либо враги, либо заблудшие души. Хорошие условия для жизни потомства как залог стабильно развивающейся системы – очевидный ресурс для артикуляции дискурса стрессоустойчивости, который не нуждается в особых пояснениях. Полностью проблему стабильности режима это не решило, о чем свидетельствуют новые волны протеста в 2017 г., однако идеи о разном восприятии заботы о детях представителями Запада и России, появившиеся в российском дискурсе, по-прежнему сохраняются. Примером может служить непрекращающийся спор о ювенальной юстиции [Кашеварова, Кургинян, 2013]. Очевидно, что дальнейшее включение данного ресурса для поддержания стрессоустойчивости режима по-прежнему возможно.

Биополитические практики как ресурс стрессоустойчивости современного политического режима характерны не только для Российской Федерации, но и для большей части современных западных государств. Следовательно, возможность прояснить ряд условий, обеспечивающих стрессоустойчивость существующего политического режима Российской Федерации при помощи активно развивающейся на Западе теории стрессоустойчивости, может быть полезна не только с академических, но и с политических позиций.

Заключение

Популярность концепции стрессоустойчивости в современном мире возрастает. Уже не только в академических, но и в политических кругах данный подход занял одно из лидирующих поло-

жений. Если включение этой категории во внутренние документы ряда государств еще можно было игнорировать, то выстраивание новой внешней политики Европейского союза на основе этой концепции делает ее изучение практически неизбежным [Романова, 2017]. Новизна данной концепции для российского политического дискурса приводит нас к целому ряду вопросов – от адекватного перевода понятия на русский язык до выстраивания соответствующей внешней стратегии в отношении Европейского союза. Вместе с тем неясность и неопределенность концепции стрессоустойчивости, в которых ученые видят не только недостаток, но и возможность соединить на первый взгляд абсолютно несоединяемые дискурсы, становятся новым вызовом для российской науки. Использование новых теоретических подходов для анализа российской ситуации позволит отечественным ученым включиться в мировые научные дебаты, так как применение данной концепции вызывает не меньше вопросов, чем отсутствие общей дефиниции. Представляется, однако, что здесь не может быть предложено общей модели: эмерджентность и неопределенность современных систем не позволяют привести их к единому знаменателю, из-за чего мы можем использовать инструменты познания лишь в рамках свойственной этим системам онтологии. На наш взгляд, значимость концепции стрессоустойчивости состоит в возможности определения внутренних ресурсов системы, которые могут быть задействованы в ситуации вызова, а также в специфике включения этих ресурсов в политический дискурс. Хотя при этом нужно сразу оговориться, что стрессоустойчивость является лишь одним из источников поддержания системы, и говорить о ее универсальности было бы неправильно.

Для политических наук наиболее приемлемой базой для анализа применения теории стрессоустойчивости стали работы Мишеля Фуко по исследованию «правительственности» и биополитики. Согласно теории стрессоустойчивости, понимание социальной системы сквозь призму «экологического обоснования» способствует не только артикуляции новых дискурсов управления, но и формированию низовых политических субъектов, способных противостоять новым вызовам. Так, например, стремление к увеличению численности населения может стать ответом на рост количества угроз. «Устойчивое развитие», ключевой сегодняшний слоган, может осуществляться лишь обществом в целом, а не отдельными

людьми. На этом зиждется современный неолиберализм и его стрессоустойчивость, и неудивительно, что это послужило ресурсом и для вариаций российского неолиберализма. Так, правительству РФ удалось купировать внутренний вызов оппозиции не путем полного запрета, не отказом гражданам в осуществлении их прав, но изменением направления самой дискуссии. Биополитические практики, уже активно осуществляемые государством, помогли в выстраивании образа протестующих как оппозиции не правительству, но всему российскому обществу. Жизнь и благополучие детей не нуждаются в особых формулировках, так как именно этот аспект в любом обществе воспринимается как требующий особого внимания. Важно отметить, что речь идет не о манипулировании общественным мнением, а о постепенной политической субъективации рядовых граждан в рамках биополитических практик «демографии и заботы о детях». Позиция этих граждан способствовала стрессоустойчивости режима, и способствует до сих пор. Тема «школьники на оппозиционных митингах» – тому яркий пример, и именно теория стрессоустойчивости помогает нам понять, почему это так.

Список литературы

- Винокурова Е., Мизулина Е. «Людей ведь раздражают не геи, а пропаганда» // Газета. Ру. – М., 2013. – 10 июня. – Режим доступа: https://www.gazeta.ru/politics/2013/06/10_a_5375845.shtml (Дата посещения: 11.06.2017.)
- Гармоненко Д. 7 против 420 // Независимая газета. – М., 2013. – 22 января. – Режим доступа: http://www.ng.ru/ng_politics/2013-01-22/9_7vs420.html (Дата посещения: 11.06.2017.)
- Концепция демографического развития Российской Федерации на период до 2015 года // Демоскоп Weekly. – М., 2015. – Режим доступа: <http://demoscope.ru/weekly/knigi/konceptsiya/konceptsiya.html> (Дата посещения: 11.06.2017.)
- Кашеварова А., Кургинян С. Сергей Кургинян: Мы сделаем так, чтобы ювенальная юстиция провалилась // Известия. – М., 2013. – 13 февраля. – Режим доступа: <http://iz.ru/news/544815> (Дата посещения: 11.06.2017.)
- Кашин В. Пиарщикам нельзя доверять внешнюю политику // Ведомости. – М., 2013. – 1 марта. – Режим доступа: https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2013/03/01/sluchaj_dimy_yakovleva (Дата посещения: 11.06.2017.)
- Кравченко С.А. Новые риски еды: Необходимость гуманистической биополитики // Полис. Политические исследования. – М., 2014. – № 5. – С. 139–152.
- Морозов А. «Холодная война»-2013: Во что перерос протест 2012 года // Forbes Russia. – М., 2013. – 6 мая. – Режим доступа: <http://www.forbes.ru/mneniya->

- column/protesty/238518-holodnaya-voina-2013-vo-chto-pereros-protest-2012-goda (Дата посещения: 11.06.2017.)
- О чем беспокоится протестующая оппозиция? / Партия «Единая Россия». – М., 2013. – 14 января. – Режим доступа: <http://moscow.er.ru/news/2013/1/14/o-chem-besпокоitsya-protestuyushaya-oppoziciya/> (Дата посещения: 11.06.2017.)
- Пития К. «Невидимое меньшинство»: к проблеме гомофобии в России // Левада-Центр. – М., 2015. – 5 мая. – Режим доступа: <http://www.levada.ru/2015/05/05/nevidimoe-menshinstvo-k-probleme-gomofobii-v-rossii/> (Дата посещения: 11.06.2017.)
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 мая 2007 г. № АФ-163/06 «О концепции государственной политики в отношении молодой семьи» // Консультант Плюс. – М., 2007. – Режим доступа: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=98438&fld=134&dst=100001,0&rnd=0.23657054767375407#0> (Дата посещения: 11.06.2017.)
- Путин В. Интервью Первому каналу и агентству Ассошиэйтед Пресс // Президент России. – М., 2013. – 4 сентября. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/19143> (Дата посещения: 11.06.2017.)
- Пятов Г. Обреченные на гомосексуализм. Что ждет детей-сирот, усыновленных однополыми парами? // Комсомольская правда. – М., 2013. – 23 октября. – Режим доступа: <http://www.kompravda.eu/daily/26149/3038423/> (Дата посещения: 11.06.2017.)
- Романова Т. Категория «стрессоустойчивость» в Европейском союзе // Современная Европа. – М., 2017. – № 4 (76). – С. 17–28.
- Стариков Н. Белая лента – задача пролить кровь // Партия Великое Отечество. – М., 2011. – 9 декабря. – Режим доступа: <https://nstarikov.ru/blog/13919> (Дата посещения: 11.06.2017.)
- Стешин Д. Уши «Белой ленты» торчат из Америки? // Комсомольская правда. – М., 2011. – 8 декабря. – Режим доступа: <http://www.kompravda.eu/daily/25801.4/2782350/> (Дата посещения: 11.06.2017.)
- Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» // Российская газета. – М., 2010. – 31 декабря. – Режим доступа: <https://rg.ru/2010/12/31/deti-inform-dok.html> (Дата посещения: 11.06.2017.)
- Федеральный закон от 29 июня 2013 г. № 135-ФЗ «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях защиты детей от информации, пропагандирующей отрицание традиционных семейных ценностей» // Гарант. Ру. – М., 2013. – 30 июня. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/f385ab5d34de901b2e5f3d08ac0b454481377d6a/#dst4034 (Дата посещения: 11.06.2017.)
- Фуко М. Нужно защищать общество. – М.: Наука, 2005. – 315 с.
- Фуко М. Правительственность (идея государственного интереса и ее генезис) // Логос. – М., 2003. – Т. 39, № 4–5. – С. 4–22.

- Цыбин Ю. «Белая лента» получила инструкции в посольстве США. Немцов, Чирикова и другие // Newslab.ru. – Красноярск, 2012. – 18 января. – Режим доступа: <http://newslab.ru/forum/theme/99759> (Дата посещения: 11.06.2017.)
- Чернова Ж. Молодая семья как объект / субъект семейной политики // Полит. ру. – М., 2010. – 30 октября. – Режим доступа: <http://polit.ru/article/2010/11/30/family/> (Дата посещения: 11.06.2017.)
- Ahern J. Urban landscape sustainability and resilience: The promise and challenges of integrating ecology with urban planning and design // Landscape ecology. – Berlin, 2013. – Vol. 28, N 6. – P. 1203–1212.
- Anderson B. What kind of thing is resilience? // Politics. – Newcastle, 2015. – Vol. 35, N 1. – P. 60–66.
- Brassett J., Croft S., Vaughan-Williams N. Introduction: An agenda for resilience research in politics and international relations // Politics. – Newcastle, 2013. – Vol. 33, N 4. – P. 221–228.
- Bourbeau P. Resilience and international politics: Premises, debates, agenda // International studies review. – Oxford, 2015. – Vol. 17, N 3. – P. 374–395.
- Brown C., Lall U. Water and economic development: the role of variability and a framework for resilience // Natural resources forum. – Medford, 2006. – Vol. 30, N 4. – P. 306–317.
- Chandler D. Resilience: The governance of complexity. – Abingdon; N.Y.: Routledge, 2014. – 268 p.
- Chandler D., Reid J. The neoliberal subject: Resilience, adaptation and vulnerability. – L.: Rowman & Littlefield International, 2016. – 210 p.
- Coaffee J., Fussey P. Constructing resilience through security and surveillance: The politics, practices and tensions of security-driven resilience // Security dialogue. – Oslo, 2015. – Vol. 46, N 1. – P. 86–105.
- Dunn Cavelty M., Kaufmann M., Soby Kristensen K. Resilience and (in)security: practices, subjects, temporalities // Security dialogue. – Oslo, 2015. – Vol. 46, N 1. – P. 3–14.
- Esposito R. Bios: Biopolitics and philosophy. – Minneapolis: Univ. of Minnesota press, 2008. – 231 p.
- Holling C.S. Resilience and stability of ecological systems // Annual review of ecology and systematics. – Palo Alto, 1973. – Vol. 4, N 1. – P. 1–23.
- Joseph J. Resilience as embedded neoliberalism: A governmentality approach // Resilience: International policies, practices and discourses. – Abingdon, Oxfordshire: UK, 2013. – Vol. 1, N 1. – P. 38–52.
- Kärrholm M., Nylund K., Fuente P.P., de la. Spatial resilience and urban planning: addressing the interdependence of urban retail areas // Cities. – Amsterdam, 2014. – Vol. 36. – P. 121–130.
- Liesen L.T., Walsh M.B. The competing meanings of «biopolitics» in political science // Politics and the life sciences. – DeKalb, IL, 2012. – Vol. 31, N 1. – P. 2–15.
- Nelson S.H. Resilience and the neoliberal counter-revolution: from ecologies of control to production of the common // The Routledge handbook of international resilience / D. Chandler, J. Coaffee (eds.). – L.: Routledge, 2017. – P. 185–198.

- O'Hare P., White I., Connelly A.* Insurance as maladaptation: Resilience and the 'business as usual' paradox // *The Routledge handbook of international resilience* / D. Chandler, J. Coaffee (eds.). – L.: Routledge, 2017. – P. 238–251.
- Ojakangas M.* Biopolitics in the political thought of classical Greece // *The Routledge handbook of biopolitics* / S. Prozorov, S. Rentea (eds.). – L.: Routledge, 2017. – P. 23–35.
- Prozorov S.* Whither biopolitics? Current tendencies and directions of future research // *The Routledge handbook of biopolitics* / S. Prozorov, S. Rentea (eds.). – L.: Routledge, 2017. – P. 328–229.
- Resilience. International policies, practices and discourses. – L.: Taylor & Francis Online, 2017. – Mode of access: <http://www.tandfonline.com/toc/resi20/current> (Accessed: 11.06.2017.)
- Rogers P.* Resilience revisited. An etymology and genealogy of a contested concept // *Climate futures working paper series*. – Lake Macquarie, 2012. – Vol. 4. – P. 1–29.
- Shared vision, common action: A stronger Europe. A global strategy for the European Union's foreign and security policy. – Brussels: European Union external action service, 2016. – Mode of access: https://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf (Accessed: 11.06.2017.)
- Smith M.E.* Implementing the global strategy where it matters most: the EU's credibility deficit and the European neighbourhood // *Contemporary security policy*. – L., 2016. – Vol. 37, N 3. – P. 446–460.
- The Routledge handbook of international resilience* / D. Chandler, J. Coaffee (eds.). – L.: Routledge, 2017. – 420 p.
- Understanding vulnerability and resilience in individuals to the influence of al Qa'ida violent extremism. A rapid evidence assessment to inform policy and practice in preventing violent extremism. – L.: UK Home Office, 2011. – Mode of access: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/116723/occ98.pdf (Accessed: 11.06.2017.)
- UK national security strategy. A strong Britain in an age of uncertainty. – L.: UK Home Office, 2010. – Mode of access: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/61936/national-security-strategy.pdf (Accessed: 11.06.2017.)
- Walker B., Salt D.* Resilience thinking: sustaining ecosystems and people in a changing world. – Washington: Island Press, 2012. – 192 p.
- Walker J., Cooper M.* Genealogies of resilience: From systems ecology to the political economy of crisis adaptation // *Security dialogue*. – Oslo, 2011. – Vol. 42, N 2. – P. 143–160.
- Wagner W., Anholt R.* Resilience as the EU global strategy's new leitmotif: Pragmatic, problematic or promising? // *Contemporary security policy*. – L., 2016. – Vol. 37, N 3. – P. 414–430.

Г.А. Борщевский*

ТРАНСФОРМАЦИЯ ИНСТИТУТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЮРОКРАТИИ: ОТ СОВЕТСКОГО ОПЫТА К СОВРЕМЕННОСТИ

Аннотация. В статье автор стремится выявить политические факторы трансформации государственной службы в России и рассмотреть развитие института бюрократии как непрерывный процесс, происходивший на фоне политических изменений позднесоветского периода и постсоветского политического транзита. Предлагается классификация политических факторов трансформации института бюрократии, оценивается их влияние с помощью расчетных индексов. Данные индексы принимали минимальные значения в середине 2000-х годов, а оптимальные – в конце 1980-х и в настоящее время. Современные дисфункции государственной службы, как показало исследование, во многом определяются неоптимальным институциональным выбором, сделанным в 1990-е годы. В качестве направления для выхода института государственной службы из состояния неэффективного равновесия автор предлагает формирование публичной службы, т.е. института, объединяющего различные виды деятельности по воспроизводству общественных благ.

Ключевые слова: общественный институт; государственная служба; бюрократия; политические изменения; политические факторы; реформа.

* **Борщевский Георгий Александрович**, кандидат исторических наук, доцент РАНХиГС при Президенте РФ, e-mail: ga.borshchevskiy@migsu.ranepa.ru

Borshchevskiy George, Department of Civil Service and Personnel Policy, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (RANEPa), e-mail: ga.borshchevskiy@migsu.ranepa.ru

G.A. Borshevskiy

**Institutional transformation of the Russian state bureaucracy
from Soviet experience to the modernity**

Abstract. We define the civil service as a political and administrative institution established to meet the needs in the professional performance of political decisions and providing the daily contact between the society and the political power. The current Russian legislation does not define civil service in terms of current the features of public institutions. This may be the reason why the institutionalization of the civil service in post-Soviet Russia faces difficulties. We see ways to overcome this contradiction, which include the improvement of legislation and implementation to the strategic documents the goals, objectives and performance criteria of civil service institution-building. This goals and objectives should orientate the civil servants to ensure economic growth and improving the quality of citizen's life. The architecture of the civil service institution was offered, including the legal, institutional and human components. We identified the institutional characteristics and location of this institution in the environment of society. The algorithm of civil service institutional change was clarified, which includes elements such as institutional selection, the definition of institutional norms and institutional effects. The requirements for the assessment of institutional effectiveness were formulated. We proved the necessity to describe the driving forces of civil service development not only by external influences, but also its internal environment. The comparison of this set of statistics with indicators of internal development of the civil service allows concluding about the correlation between the civil service performance on different stages of its institutional transformation and attainment the priorities of the economy and society.

Keywords: social institute; bureaucracy; public service; political changes; political factors; reform.

**Научный контекст политологических
исследований бюрократии**

Со времен М. Вебера, Ф. Гуднау и В. Вильсона, введших понятие политико-административной дихотомии, политологи исследуют роль государственной бюрократии в качестве инструмента реализации государственной политики и медиатора общественных взаимодействий, своего рода «приводного ремня» государственной машины. В связи с этим эффективность бюрократии влияет на работоспособность институтов власти и их способность взаимодействовать с иными институтами общества.

Трансформации института бюрократии вписываются в общий контекст политических изменений. Однако природа этих из-

менений трактуется по-разному. Так, в рамках контекстного подхода (Р. Даль) определяющим фактором политических изменений считается внешний социально-экономический контекст, в рамках цивилизационного подхода (С. Хантингтон) политические изменения выводятся из необходимости согласования позиций различных акторов. Представители социологии развития (Т. Парсонс, П. Штомпка) рассматривают политические изменения как переход от традиционного общества к обществу модерна и постмодерна. Применительно к вопросам бюрократии этот вопрос разработан Ш. Эйзенштадтом [Эйзенштадт, 2010]. Он выделял традиционную модель бюрократии, характеризующуюся односторонней зависимостью государственных служащих от политического руководства; модернизационную модель, отмеченную ориентацией бюрократии на общественные цели и подконтрольностью обществу. Также выделена транзиторная модель, в рамках которой бюрократия ориентирована сама на себя, так как уже вышла из-под контроля политической власти, но еще неподконтрольна обществу. Последняя модель логически перекликается с актуальным для современной России неопатримониализмом, при котором модернизационные процессы в результате сопротивления влиятельных акторов сопровождаются длительным сохранением устаревших рентоориентированных институтов [Гельман, 2015].

В мировой науке наблюдается конкуренция парадигм государственного управления [Henry, 1975]. В теории «рациональной» бюрократии М. Вебера критерием эффективности для института бюрократии выступает неукоснительное исполнение политических решений. *Неовеберизм* дополняет данную теорию вопросами мотивации и этики государственных служащих [Perry, Hondeghem, 2010; Jensen, Vestergaard, 2017]. Альтернатива представлена парадигмой *менеджеризма* (New Public Management), акцентирующей внимание на экономической эффективности бюрократии и минимизации различий между ней и сферой бизнеса [Niskanen, 1994; Kettl, 2000]. Критика такого подхода [Gaebler, Miller, 2006] способствовала появлению парадигмы *общественно-государственного управления* (Good Governance), сочетающей элементы экономической эффективности, политической нейтральности бюрократии и ориентации на нужды граждан [Denhardt, 2015; Pora, 2017].

В современных исследованиях преобладают идеи о совместном производстве благ обществом и государством [Osborne, Rad-

nor, Strokosch, 2016]; о сетевом взаимодействии [Шабров, 2005; From high-reliability... 2017], об экспертной роли бюрократии [Boushey, McGrath, 2017; Esmark, 2017]. Вопрос об отношениях политиков и бюрократов сохраняется в повестке дня [Peters, 2010; Hong, 2017; Nielsen, Moynihan, 2017], согласование интересов субъектов на центральном и региональном уровнях также привлекает широкое внимание [Trondal, Bauer, 2017]. Однако исследователи все чаще указывают на *движение общества в сторону передачи функций от правящего политико-административного слоя напрямую гражданам* [Rhodes, 1996; Sjoberg, Mellon, Peixoto, 2017; Василенко, 2015]. Смещение акцентов в эту сторону мы склонны рассматривать не только как следствие развития новых технологий, открывающих для общественности доступ к государственной информации государства, но и в более глобальном контексте. *Ни одна из парадигм – неовеберовская, менеджеристская, общественно-государственного управления – не отвечает на вопрос об общественной роли государственной службы*, что признают многие авторы [Pollitt, Bouckaert, 2011; Комаровский, 2013; Барабашев, 2016]. Данные парадигмы не предлагают инструментов для преодоления институциональных дисфункций бюрократии [Andrews, 2008; Ruiz, 2016].

На наш взгляд, такое положение связано с *кризисом, наблюдаемым как в политической науке, так и в прикладной политике*. Теоретический кризис проявляется в усложнении используемых теоретических конструкторов без адекватного увеличения их эвристического потенциала. В отличие от модели кризиса развития, данный кризис не приводит к прорывам, способствующим ресинхронизации познавательной системы [Crisis, choice, and change, 1973; Ильин, 2016].

Кризис в прикладной политике выражается в использовании архаичных политических форм при решении современных проблем. Ведущие российские эксперты констатируют возврат политической практики к недемократическим формам принятия и исполнения решений: «Политбюро-2.0» [Политбюро 2.0, 2015]; неологизмы [Нисневич, Рябов, 2017; Оболонский, 2015]; «управляемая демократия» [Соловьев, 2017], неопатримониализм [Gelman, 2016] и т.д. Академик Ю.С. Пивоваров пишет, что бюрократия в России воспринимается не как наемный аппарат, а как «начальство над обще-

ством», и политические изменения постсоветских лет не привели к переменам в данном вопросе [Пивоваров, 2014].

Актуализация властью советских политико-административных практик диктует необходимость изучения причин и перспектив этого процесса. Долгое время после распада СССР советские практики позиционировались экспертами как заведомо порочные, постулировалась необходимость их скорейшего вытеснения «передовыми» западными наработками. Но консервативные процессы последних лет и рост конфронтации со странами Запада ведут к востребованности «новой оптики» для изучения процессов советского периода и постсоветского транзита. Сегодня как никогда востребована альтернативность взглядов на прошлое и реалии современности.

Здесь мы возвращаемся к отмеченному выше кризису политической теории. Прежние идеологически окрашенные подходы к проведению политических исследований оказываются неприменимыми в условиях современной России, где сочетаются советско-номенклатурная организация бюрократии, рыночная экономическая политика и имперско-православная идеология внешней политики. Необходимо предложить новые критерии для оценки этого спонтанно сложившегося синтеза. Чтобы понять тенденции и перспективы развития современных институтов, исследователь должен изучать не только сами эти институты, но смотреть как бы с более отдаленной точки. Чтобы политические исследования, выражаясь словами Р. Таагеперы, не «скакали на одной ноге» [Taagerpera, 2017], следует преодолеть удобные ограничения привычных образов мышления, ставить большие вопросы и учитывать глобальные процессы. Руководствуясь этими принципами, в данном исследовании мы используем широкий комплекс количественных и качественных методов, чтобы выявить факторы, влияющие на связи между процессами внутри института государственной службы и конечным эффектом для общества от его функционирования. Поиск в этом пространстве имеет как теоретическую, так и практическую ценность.

Методология исследования

Гипотеза настоящего исследования состоит в предположении о наличии взаимосвязей между политическими изменениями,

происходящими в российском обществе, и трансформациями института государственной службы. Представляется важным выяснить, как соотносятся изменения системы госслужбы с развитием общественно-политических процессов.

Квантификация функций бюрократии в зависимости от специфики реализуемых политических приоритетов создает условия для ориентации ее деятельности на достижение общественно значимых результатов. Снижение институциональной автономии государственной службы, способствующей состоянию длительного неэффективного равновесия в ее реформировании («институциональной ловушки») [Полтерович, 2016], возможно посредством ее конвергенции с иными институтами, объединяющими различные виды деятельности по воспроизводству общественных благ.

Одним из важных теоретических положений неоинституциональной методологии является идея о зависимости состояния институтов от предшествующего развития («эффект колеи») [см.: Аузан, 2015]. Система государственной службы инерционна, ввиду чего изменения в ней происходят замедленно. Политические изменения оказывают определяющее, но далеко не мгновенное воздействие на свойства государственной службы, чем обосновано включение в горизонт исследования продолжительного временного периода позднесоветского и постсоветского политического транзита. Это важно для того, чтобы не только видеть следствия, но и понимать причины изменений, закономерности развития анализируемого института. Современный уровень политической науки [Сморгунов, 2011] позволяет обобщить тенденции и выработать на этой основе подходы для решения задач реформирования государственной службы.

Институционализм объясняет поведение индивидов и общественных групп групповыми установками (институциональными нормами). Поле институционального анализа охватывает весь спектр формальных и неформальных норм [Купряшин, 2017]. Все институты влияют друг на друга, и каждый из них сопротивляется попыткам изменений извне. Институциональные изменения всегда возникают как результат переговоров, компромисс между стейкхолдерами. Ввиду этой особенности мы считаем необходимым изучить политический дискурс в отношении реформ бюрократии в хронологических рамках нашего исследования – от *развитого социализма* 1980-х годов до современности.

Несмотря на изменения законодательных трактовок, государственная служба как институт всегда выполняла сходные функции. Это обстоятельство послужило основанием для сбора и анализа высказывания руководителей государства о бюрократии, ее проблемах и планируемых изменениях. Мы изучили высказывания представителей высшего руководства страны с 1980-х годов до настоящего времени. К руководителям государства в соответствующие периоды отнесены: члены Политбюро ЦК КПСС, председатели Правительства, Верховного Совета, Государственной думы РФ и президенты России. Нам удалось собрать большой массив эмпирических данных, включающий более 320 высказываний по рассматриваемой проблематике, что позволило использовать при их анализе аппарат математической статистики.

При составлении базы высказываний мы ориентировались прежде всего на публичные выступления перечисленных руководителей (доклады на сессиях Верховного Совета, съездах Коммунистической партии и пленумах ее Центрального комитета, заседаниях Государственной думы, а также Послания президента Федеральному Собранию). Упор на подобные источники объяснялся их программным характером, регулярностью и официально-стью. Интервью, мемуары, статьи использовались в ограниченном объеме. Все задействованные источники опубликованы.

Методология исследования предполагала контент-анализ текстов на предмет выявления фрагментов по интересующей нас тематике. Контекстный поиск осуществлялся по словам «государственная служба» («служащие»), «управленческие кадры», «аппарат органов управления», «бюрократия», «чиновник». Дополнительно контролировался термин «коррупция» как логически связанный с исследуемой проблематикой. Данный подход позволил снять правовые различия в интерпретации госслужбы в рассматриваемый период. В качестве единиц анализа использовались логически законченные фрагменты выступлений, содержащие критику бюрократии либо предложения по ее оптимизации. Сформированная таким образом эмпирическая база была структурирована по содержанию высказываний, их авторам, годам, источникам и тематике [Борщевский, 2017 b]. Мы старались выяснить, какие именно аспекты государственной службы привлекали внимание руководителей страны в каждый период времени, а затем анализировали, как их высказывания корреспондировали с реаль-

ными изменениями, дабы определить, содержали ли они продуманную политическую программу или лишь дежурную критику в адрес аппарата. Семантический анализ текстов позволил сопоставить содержание выступлений по одной тематике в разных политических условиях. Такое сопоставление дало ключ к ответу на вопрос о степени влияния политической конъюнктуры на вектор реформирования государственной службы. Распределение числа высказываний политических лидеров относительно проблем бюрократии мы обозначаем в статье как *политический индекс* реформирования государственной службы.

Таким образом, получено знание о связи между политическими импульсами и реальной управленческой практикой в нашей стране. Здесь, на наш взгляд, целесообразно применение семиотических методов анализа дискурса в политологическом исследовании [Ильин, 2015].

Кроме того, предложена классификация политических факторов, влияющих на трансформацию института государственной службы, дана оценка значения каждого фактора с применением метода главных компонент, регрессионно-корреляционного анализа, методов математической статистики. Важным методологическим основанием исследования является рассмотрение внешнего для института бюрократии социально-экономического контекста как фактора, воздействующего на ее институциональную трансформацию. Взаимосвязь между политическими и экономическими процессами в обществе традиционно является предметом исследования политологов [см., например: Коротаев, Билюга, Шишкина, 2017], однако применительно к реформам бюрократии этот аспект ранее не исследовался.

Кадровые и правовые трансформации государственной службы описаны в количественном виде с помощью расчета специального *административного индекса*. Данный индекс отражает социально-демографические характеристики госслужащих, расходы на бюрократию, объем реализуемых ею полномочий. Более подробно способ сбора и интерпретации данных по этим вопросам представлен в отдельном исследовании [Борщевский, 2017 а].

Кроме того, изучены иные политические факторы, влияющие на реформу бюрократии (государственное планирование и показатели эффективности управления), совокупность которых составляет *индекс социально-экономического развития (СЭР)*. Мы

сопоставили индикаторы и показатели из стратегических документов планирования, действовавших в хронологических рамках исследования, с программой статистического наблюдения. Целевые индикаторы и показатели, не обеспеченные близкими по смыслу статистическими показателями, были отброшены. Также отброшены статистические показатели, методология сбора которых изменялась в горизонте исследования, и производные от других показателей. Таким образом, все используемые показатели могут рассматриваться как независимые переменные. В результате подобной «фильтрации» статистических показателей было отобрано около 400 показателей, представляющих все отрасли и сферы народного хозяйства. В частности, используются такие обобщающие показатели, как численность населения, средняя продолжительность жизни, уровень дохода, уровень образования, численность и средний уровень оплаты труда занятых в национальной экономике, индекс развития человеческого потенциала (ИЧП).

Общее количество показателей достаточно велико, и каждая отрасль оценивается массивом показателей, что обеспечивает статистическую значимость результатов. Совокупность показателей по всем отраслям отражает процесс социально-экономического развития страны в конкретный момент времени. Динамика показателей по годам показывает вектор трансформации общества под влиянием политических изменений.

Далее были собраны количественные значения для каждого показателя внутреннего развития государственной службы и внешнего социально-экономического эффекта за каждый год исследования: с 1980-х годов до настоящего времени. Источниками данных являются официальная статистика и правовые акты; не используются оценочные, опросные, социологические и экспертные показатели, что обеспечивает объективность результатов. Используемые показатели различны по своему масштабу и единицам измерения, поэтому их непосредственное соотнесение затруднено. Тенденции развития государственной службы и СЭР определяются построением обобщающих индексов методом главных компонент (*principal component analysis, PCA*). Индексы строились отдельно для показателей внутреннего развития госслужбы и внешнего социально-экономического эффекта. Индексы определяются с использованием статистического пакета *Stata*. Метод главных компонент широко используется для сжатия данных различного

формата с сохранением исходной информации. Применение этого метода в данном случае обоснованно, так как все показатели при используемой технике их отбора можно считать случайными величинами.

Расчет значений объясненной дисперсии (коэффициента детерминации) для каждого набора индексов позволяет определить статистическую значимость полученных результатов. Принимая значения от 0 до 1, данный коэффициент указывает на соответствие модели данным, т.е. на степень взаимного влияния агрегируемых показателей. В рамках исследования объясненная дисперсия считается приемлемой на уровне, близком к 50%. Модели с коэффициентом детерминации выше 80% признаются достаточно хорошими, а значения коэффициента, близкие к 1, характеризуют функциональную зависимость между переменными.

На завершающем этапе исследования мы оценивали взаимовлияние процессов внутреннего развития государственной службы и внешнего социально-экономического эффекта. Невозможно оценить точно, в какой степени политические изменения и динамика СЭР влияют на внутренние процессы бюрократии, и наоборот. Однако предлагается считать, что более эффективны трансформации института государственной службы в те периоды, когда:

- 1) существует наиболее тесная статистическая связь между индексами развития госслужбы и индексами социально-экономического эффекта;
- 2) улучшение значений индексов развития госслужбы происходит на фоне роста значений индексов внешнего социально-экономического эффекта.

Выполнение первого условия позволяет предположить, что процессы внутреннего и внешнего развития синхронизированы, протекают во взаимосвязи. Выполнение второго условия указывает на позитивные тенденции в динамике внутренних и внешних показателей. Корреляционный анализ позволяет оценить тесноту статистической связи между наборами индексов.

Таким образом, оценка институциональных трансформаций государственной службы от советского опыта к современности построена на изучении степени согласованности развития политической, экономической и административной сферы. Описываемая система оценки предполагает изучение длинных трендов развития, как общества, так и системы государственной службы. Предло-

женный нами временной горизонт более 30 лет является достаточным для целей подобного изучения.

Политические факторы трансформации института бюрократии

Мы предлагаем определять *политический фактор* как условие, влияющее на процессы в экономике и обществе, связанное с особенностями политической системы, которое подлежит наблюдению, измерению и использованию для описания характеристик данного общества. В рамках исследования мы используем следующую *классификацию политических факторов институциональной трансформации государственной службы*:

- выступления политических лидеров;
- кадровая политика;
- система предписаний (политические ценности и правовые нормы);
- государственное планирование;
- механизм оценки эффективности управления.

Проследим динамику изменения данных факторов и их влияние на трансформацию государственной бюрократии на основании проведенного анализа документов и статистики, характеризующих функционирование аппарата бюрократии в длительном временно́м горизонте, начиная с периода *развитого социализма* и перестройки до настоящего времени.

В качестве первого фактора изучены *высказывания руководителей* страны по данному вопросу в течение анализируемого периода. Хотя подобные высказывания звучат часто, систематизированно они не изучались.

В ходе изучения высказываний политических лидеров о бюрократии обращает на себя внимание их параллелизм: несмотря на кажущееся многообразие, они могут быть сведены к нескольким ключевым темам, по каждой из которых политики разных взглядов озвучивали похожие мысли. Это свидетельствует о том, что существование сходных проблем заставляет описывать их похожим образом. При этом проблемы госслужбы интересуют политических лидеров не сами по себе, а лишь в общем контексте борьбы элит. Установлено, что высказывания политических лидеров о бюрокра-

тии соотносятся с электоральными циклами: число высказываний повышается в годы президентских и парламентских выборов.

У каждого из лидеров встречается мысль о необходимости замещения бюрократии структурами гражданского общества. Имплементация этой идеи, однако, наталкивается на *«парадокс лояльности»*: существование госслужбы, ориентированной на обслуживание действующей власти, удобно для любой правящей элиты. Выявлена закономерность, что чем слабее демократическое представительство, тем теснее связь политиков и бюрократов.

Анализируя фактор *кадровой политики*, следует констатировать, что термин «застой», употребляемый применительно к политической системе позднего социализма, вряд ли применим к государственной службе. В системе бюрократии происходили существенные изменения ее структуры и численности, менялись принципы территориальной и отраслевой организации аппарата, нормы оплаты труда, оценки и профессионального развития служащих. Значительную часть работников министерств и ведомств составляли профессионалы-технократы с профильным образованием и опытом работы в управленческой сфере. Часть госслужащих была переведена из центрального аппарата на предприятия. Уровень оплаты увеличивался как за счет роста должностных окладов, так и вследствие роста доли стимулирующих выплат, связанных с эффективностью. В большинстве отраслевых ведомств был введен хозрасчетный принцип финансирования. Расширялось применение органами власти новых кадровых технологий.

Повышение самостоятельности предприятий в годы перестройки снизило потребность в централизованном управлении. После отказа от однопартийной системы отсутствовал центральный орган, ответственный за кадровую реформу. Также не было официальной программы реформы бюрократии. К концу 1991 г. правопреемниками союзных органов стали ведомства России. Кадровые перестановки в высшем эшелоне происходили на фоне сохранения основной массы госслужащих и принципов их работы. Чехарда в руководстве повысила неустойчивость системы управления, а также способствовала снижению профессионального уровня руководителей. Изучив динамику процессов в системе госслужбы в 1990–2000-е годы, мы пришли к выводу, что в ходе реформ усилилось расслоение бюрократии: высшие управленческие должности заняли люди с либеральными взглядами, а должности

исполнителей – выходцы из советского госаппарата, враждебно настроенные к реформам.

К настоящему времени кадровый состав государственной службы полностью сменился, все управленческие структуры реформированы, обновлено законодательство, но эти меры не привели к исчезновению дисфункций института. Объяснить этот факт с позиций институционализма можно изначально неоптимальным институциональным выбором, а также слабым вниманием к институциональным нормам. В силу ограниченности ресурсов власть проводит «очаговую» модернизацию в виде отдельных технократических изменений [Слатинов, 2016]: внедрение информационных технологий, оптимизация численности кадров, эксперименты по внедрению оплаты по результатам, проектное управление, – которые не сопровождаются изменением системы норм и ценностей служащих [Пушкарева, 2017].

Система предписаний как политический фактор, влияющий на деятельность бюрократии, в советское время устанавливалась на уровне общегражданских и партийных норм. В период 1991–1994 гг. законодательство о госслужбе отсутствовало; ликвидация партийного контроля на фоне слабости правовой регламентации способствовала росту дисфункций института бюрократии. Необходимость формализации норм служебного поведения была вызвана ростом коррупции и высокой поляризацией кадрового состава государственных служащих. В 1995 г. был принят Закон «Об основах государственной службы», однако спустя два года президент Б.Н. Ельцин в своем послании констатировал, что институт госслужбы по-прежнему не приспособлен к решению современных задач.

В действующем Федеральном законе «О системе государственной службы» (2003) многие институциональные характеристики бюрократии проигнорированы и закреплён обслуживающий характер госслужбы при политическом руководстве. Чиновничество приобрело корпоративную организацию, но не получило ясно сформулированной цели деятельности. Формально оно должно служить закону и государству, но на деле эти категории персонифицируются в лице представителя нанимателя – непосредственного начальника.

К настоящему времени сложился огромный комплекс правовых актов по вопросам государственной службы, однако вопросы

о цели и смысле существования института, о том, какими характеристиками должен обладать современный госслужащий, не поднимаются ни в правовом, ни в общественно-политическом дискурсе. Неоптимальный институциональный выбор проявляется во фрагментации институциональных норм. В основном институционализация бюрократии идет по пути эволюции ее прежних форм.

Политические факторы *государственного планирования и оценки эффективности* взаимосвязаны, так как план априори содержит требования к ожидаемому результату, на основании которых проводится оценка.

В советский период, вплоть до распада СССР, в большинстве сфер народного хозяйства в ходе проведенного нами обследования более 400 статистических показателей, отражающих развитие всех отраслей экономики и социальной сферы, зафиксирована позитивная динамика развития. Единственной отраслью, где выявлена отрицательная динамика, было государственное планирование, и это важный результат, указывающий на то, что проблемы были связаны с недостатками управления на политическом уровне, а не с неэффективностью аппарата. Рассмотрение факторов в совокупности указывает на то, что аппарат госслужбы в анализируемый период был не идеальным, но весьма эффективным инструментом реализации политических программ. Неэффективность бюрократии вряд ли можно рассматривать в числе главных причин крушения социализма.

В первые десять лет постсоветского развития не было сколько-нибудь внятной стратегии развития государственной службы. Экспертные разработки не проходили общественного обсуждения и не получали формального одобрения на политическом уровне [Klimenko, Varabashev, 2017]. Идеи по институционализации государственной службы существовали и разрабатывались экспертами, однако политическое руководство, занятое внутриэлитным соперничеством, игнорировало их. На этом фоне экономические реформы были рыночными лишь по форме, но не по своему содержанию, так как решающую роль в них играла политико-административная элита. В этот период госслужба успешнее развивалась в приоритетных для политического руководства отраслях (например, в финансовом секторе).

Со временем стратегия все же была разработана, ей стала Концепция реформирования системы государственной службы РФ

(2001), одобренная президентом. В ней государственная служба была определена как *публичный, социальный, правовой, организационный институт*, деятельность которого направлена на непосредственное выполнение функций государства и лишь в последнюю очередь на обеспечение деятельности политических руководителей – это должно было стать критерием для оценки ее эффективности. Однако данную Концепцию приняли уже после того, как институциональный выбор относительно вектора развития государственной бюрократии был сделан. Все последующие правовые акты несли на себе отпечаток положений Концепции, но не отвечали ей полностью. Не наблюдается взаимосвязь между Концепцией реформирования государственной службы, действующим законодательством, программами реформирования на 2003–2005 и 2009–2013 гг., инновациями на ведомственном уровне. Программа на 2015–2018 гг. не была утверждена, и в настоящее время государственная служба РФ развивается на основании двух указов президента, в которых не заложены механизмы для изменения принципов функционирования бюрократии. Наиболее вероятное объяснение столь долгого – более двух десятилетий – неэффективного равновесия в отношении реформы госслужбы кроется в том, что такое положение соответствует реальным интересам правящих элит.

Тенденции и перспективы развития бюрократии

Перечисленные выше политические факторы трансформации института бюрократии квантифицированы нами с помощью специальных индексов, позволяющих проследить динамику их изменений во времени и степень взаимного влияния. Динамика индексов в хронологических рамках исследования представлена на рисунке. Годы смены генсеков ЦК КПСС и выборов президента РФ показаны вертикальными линиями.

Как видно на графике, имеется эмпирическая закономерность, выражающаяся в соответствии динамики политических, социально-экономических и административно-бюрократических процессов, характеризуемых предложенными нами индексами. Развитие трех этих процессов, таким образом, представляется взаимосвязанным: позитивная динамика одних процессов сопровождалась ростом других, а спад значений каждого индекса, как

правило, происходил на фоне снижения прочих. Проследим эти тенденции в хронологическом порядке.

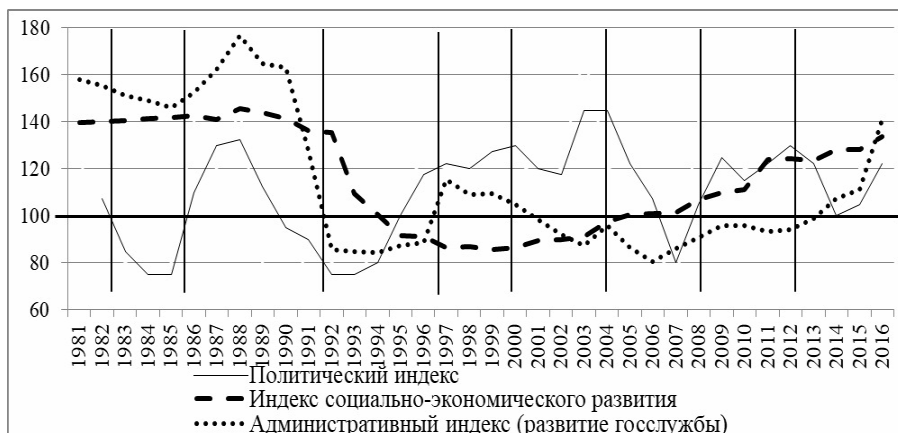


Рис.

Динамика индексов, характеризующих трансформацию института государственной службы России в условиях политических изменений (%)

Источник: составлено автором по результатам собственного исследования; методика расчета индексов описана в тексте работы и в иных публикациях автора [см., например: Борщевский, 2017 а; 2017 б].

Первый анализируемый период, продолжавшийся до 1982 г., в историографии принято называть периодом *развитого социализма*. Для него характерна политическая стабильность руководства Л.И. Брежнева при умеренном экономическом росте. Стабильность политического курса выразилась в понижении публичного внимания к бюрократии. Оживление относится к XXVI съезду КПСС (1981). На уровне реальных изменений также зафиксировано снижение индекса развития госслужбы. Период 1982–1985 гг., именуемый политикой *ускорения*, связан с деятельностью на посту генерального секретаря ЦК КПСС Ю.В. Андропова и М.С. Горбачёва, пытавшихся увеличить темп роста экономики за счет развития промышленности без политических реформ. В данный период умеренный рост СЭР сопровождался отсутствием дискуссий

о госслужбе и снижением индекса госслужбы. В период 1986–1991 гг., именуемый *перестройкой*, политические лидеры (М.С. Горбачёв, Б.Н. Ельцин) часто высказывались по проблемам госслужбы. Началась радикальная смена управленческих кадров, сопровождавшаяся критикой госаппарата, получившей характер политической кампании. Была сделана попытка модернизации социализма за счет расширения политического плюрализма. Кратковременный рост СЭР сменился спадом, те же тенденции наблюдались в аппарате. К концу периода внимание к реформе бюрократии сходило на нет.

В годы первого президентского срока Б.Н. Ельцина (1992–1995), была реализована политика *«шоковой терапии»*. В экономике произошел резкий спад. На этом фоне руководство страны почти полностью оставило госслужбу вне пределов своего внимания. Интерес к теме отмечен лишь в середине 1990-х годов, когда шла подготовка закона «Об основах государственной службы» (1995). В избирательной кампании 1996 г. и позднее проблемы госаппарата встречались в выступлениях президента. На этом фоне наметились позитивные тенденции в развитии госслужбы.

Во второй президентский срок Б.Н. Ельцина (1996–1999) происходило перераспределение национального богатства в пользу узкого круга олигархов, поддержавших президента на выборах, что дало повод именовать эти годы *«семибанкирщиной»*. Экономика достигла дна к 1999 г., в аппарате государственных органов также наступил период спада, однако наблюдался рост числа упоминаний о госслужбе президентом. Эта тенденция характеризует высокую степень рассогласования между политическими заявлениями и реальной практикой управления, что выражалось как в сфере социально-экономической политики, так и в реформировании бюрократии.

В 2000–2003 гг. происходило выстраивание *«вертикали власти»* В.В. Путиным в течение его первого президентского срока. Были начаты структурные реформы, сделаны попытки ограничить произвол олигархии. Началось восстановление экономики, программа реформирования госслужбы (2003–2005), принятая в 2002 г., также дала первые плоды. В 2003 г. отмечен исторический максимум упоминаний высшими должностными лицами – президентом, премьером, руководством Госдумы – о госслужбе. Причи-

нами тому могут быть начавшаяся административная реформа, а также президентская избирательная кампания.

В 2004–2007 гг. высокие цены на нефть гарантировали изобилие в стране и поддержку курса президента в обществе, несмотря на остановку реформ. Этот период назван *«суверенной демократией»*, по высказыванию В.Ю. Суркова (2006) о том, что общественная поддержка курса президента имеет приоритет перед его соответствием международным нормам демократии. В данный период экономический рост замедлился, госслужба развивалась противоречиво, политическое руководство сократило публичное обсуждение данной проблематики.

Период президентства Д.А. Медведева (2008–2011) характеризуется как *«консервативная модернизация»*. Для данного периода характерно проведение резонансных, но неглубоких реформ (например, трансформации милиции в полицию) на фоне начала мирового кризиса и проявлений общественного недовольства в стране (протесты на Болотной площади в Москве и т.д.). В экономическом развитии явного спада не произошло, но развитие госслужбы по-прежнему было противоречивым. Реализация второй федеральной программы развития госслужбы на 2009–2013 гг. не дала ощутимых результатов. Пиковые значения числа упоминаний о госслужбе в политическом дискурсе соответствуют периодам избирательных кампаний 2007 и 2011 гг.

Наконец, период 2012–2017 гг. соответствует третьему президентскому сроку В.В. Путина. На наш взгляд, он довольно хорошо описывается публицистической формулой *«русская весна»*, получившей распространение после воссоединения Крыма с Россией в 2014 г. Для данного периода характерна активная внешняя политика, которая способствует общественному единению в условиях международных санкций. Экономика успешно развивается после кратковременного спада, достигнутое значение индекса СЭР примерно соответствует уровню 1992 г. Это означает, что последствия *«шоковой терапии»* преодолены только теперь.

Построение индексов в разрезе отраслей и экономики в целом методом главных компонент показывает, что в отраслях социальной сферы с 2000-х годов происходит подъем, который, однако, не компенсировал обвального спада начала 1990-х. В финансово-экономической сфере положение в 2017 г. лучше, чем в 1991 г., но хуже, чем в 1980-х. В сфере безопасности достигнуто существенное

улучшение значений индекса и превышен уровень 1980-х годов. В «реальном» секторе удалось вернуться к уровню 1991 г., но значения 1980-х еще не достигнуты. В 2010-е годы в АПК произошло оживление, однако длительный кризис, начавшийся еще в 1980-х, не преодолен. *В целом по всем отраслям значения индекса СЭР к началу 2018 г. находятся на уровне, сопоставимом с 1991 г., но ниже 1980-х.* Так проявляется цена «шоковых» реформ 1990-х годов.

В отношении развития государственной бюрократии к настоящему времени удалось добиться снижения ее общей численности по сравнению с серединой 2000-х годов, однако численность бюрократии остается значительно выше уровня 1991 г. Также существенно возрос уровень оплаты труда чиновников, сделавший их работу одной из самых престижных в стране, особенно в регионах. На этом фоне произошло омоложение кадрового состава органов исполнительной власти: средний возраст снизился с 45 лет в середине 2000-х годов (худшее значение) до 38 лет в 2017 г. (лучшее значение за все годы). Существенно повысилась доля лиц с высшим образованием среди госслужащих с 40% в 1990 г. до почти 100% в настоящее время. Растет производительность управленческого труда, выражающаяся отношением числа госслужащих к числу функций органов власти. На этом фоне доля бюджетных расходов на содержание аппарата не увеличивается и остается на уровне 1% от объема бюджетных расходов.

Обращает на себя внимание совпадение динамики рассматриваемых индексов. Если в отдельные периоды эта связь носила неявный характер, то в горизонте всего исследования она очевидна. В этом проявляется преимущество длинных трендов. Теснота статистической связи между значениями индексов подтверждается расчетом корреляции между ними, с коэффициентом 76%. Данные тенденции подтверждаются существованием регрессий. При индексе развития госслужбы в качестве зависимой переменной и индексе СЭР – независимой существует регрессия ($P_{\text{rob}} = 0,0000$; $R^2 = 0,57$; $\text{const} = -8,9$) с коэффициентом 1,06. Наблюдается и обратная зависимость. На основании имеющихся данных нельзя сделать вывод о том, какой из факторов сильнее влияет на другие, однако наличие устойчивой связи между ними очевидно. Таким образом, *подтверждается гипотеза о существовании взаимосвязи между политическими изменениями в российском обществе и трансформациями института государственной службы.* Знание

данной закономерности важно при планировании мероприятий по дальнейшему реформированию государственной службы в России.

Влияние политического индекса показывает, что *проблемы госслужбы интересуют политических лидеров не сами по себе, а в общем контексте борьбы элит*. С одной стороны, неэффективность бюрократии служит беспроблемным козырем для критики предыдущего руководства. С другой стороны, обещания сократить, удешевить и приблизить к народу аппарат власти являются элементом предвыборной риторики, привлекающей голоса избирателей. Интерес к проблемам госслужбы активизируется в периоды избирательных циклов. Пиковые значения политических высказываний на эту тему четко соотносятся с кадровыми перестановками конца 1980-х, а также с избирательными кампаниями 1996, 2003, 2007, 2011 гг. Начало предвыборной гонки 2018 г. совпадает с повышением внимания к проблемам бюрократии. Динамика политических заявлений и индекса развития госслужбы в основном также совпадают (не по амплитуде, а по направлению). Видно, что понижение публичного внимания к проблемам госаппарата соответствует спадам в его развитии. Однако не всякий рост востребованности данной темы в политическом дискурсе приводит к аналогичному улучшению индекса госслужбы. Например, в 2003 г. принятие закона о системе госслужбы и начало административной реформы сопровождалось мощной информационно-политической кампанией за повышение эффективности бюрократии, но в реальности подъем ее эффективности был слабым, кратковременным и вскоре сменился падением.

Минимальные значения анализируемых нами индексов наблюдались в 1992–1994 и 2006 гг., а максимальные – в 1988-м г. К 2018 г. индексы находятся на уровне 1991 г., и это лучшее значение в новейшей истории России. Это означает, что *реального развития в постсоветские годы не происходило: система бюрократии вместе с обществом вошла в затяжной кризис и лишь в последний период возвращается на исходный уровень*.

Динамика индекса социально-экономического развития соответствует политическому и административному индексам. Это можно интерпретировать так, что аппарат госслужбы не мешает социально-экономическому развитию, однако требуются постоянные политические усилия в режиме «ручного» управления для того, чтобы он продолжал развиваться [Тимофеева, 2014]. Институт

госслужбы реагирует не только на структурные изменения, но и на изменения в политическом дискурсе. *Повышение политического внимания к бюрократии сопровождается улучшением ее функционирования*, что указывает на зависимость бюрократии от субъектов политической власти. У лидеров разных политических взглядов, как уже указывалось, присутствует мысль о целесообразности передачи части функций бюрократии структурам гражданского общества. Имплементация этой идеи, однако, наталкивается на так называемый парадокс лояльности.

Сегодня наблюдается стагнация реформы бюрократии: как показывают исследования, не повышается доверие граждан к институтам государственной власти [Российское общество... 2016, с. 42]. В этой связи нам представляется необходимым установить более тесную взаимосвязь между параметрами социально-политического развития и деятельностью органов государственной власти.

Комплексное решение видится в создании *института публичной службы*, включающего в себя работников органов власти и местного самоуправления, бюджетных организаций и структур гражданского общества. Предлагается изменить подход к содержанию понятия госслужбы путем сближения ее границ с иными видами деятельности в интересах общества и государства. С учетом современных тенденций представляется, что необходимость в специальном правовом регулировании отдельных видов деятельности в интересах государства постепенно отпадет. Произойдет гармонизация принципов кадровой политики на федеральном, региональном и местном уровне.

Единство принципов публичной службы будет обеспечиваться тем, что каждая должность в рамках данной системы будет публичной и бюджетной. Публичность должности означает, что она учреждена для удовлетворения общественной потребности или интереса, имеет публично-правовой статус. Бюджетный характер должности публичной службы выражается в том, что оплата по ней осуществляется за счет налоговых отчислений граждан. Всё это создает условия для подотчетности публичных служащих гражданам. Если в состав публичных служащих войдут гражданские активисты, то они смогут участвовать в выработке и реализации управленческих решений, действуя на общественных началах. Такой подход не утопичен, учитывая, что уже теперь депутаты

муниципальных и ряда региональных представительных органов работают на общественных началах.

Кроме того, следует отметить, что публичный служащий будущего – это прежде всего профессионал в какой-либо области, поэтому отбор на постоянные оплачиваемые должности публичной службы, равно как и кандидатов на позиции общественных экспертов, должен происходить на основании профессиональных требований к должности – модели компетенции.

Контроль общества за функционированием публичной службы может осуществляться в формах размещения открытых данных, общественной оценки деятельности служащих по критериям общественной удовлетворенности их работой, участия общественных экспертов в деятельности органов власти и обсуждениях проектов управленческих решений, затрагивающих интересы граждан. Отчасти условия для реализации этих мер созданы уже на сегодняшний день, но важно перейти от формального применения технологий открытости к их реальной и повсеместной имплементации.

Таким образом, будут ликвидированы перегородки между различными видами деятельности по обеспечению общественного интереса. Необходимо переориентировать представителей государства с обеспечения внутренних процессов в органах власти на решение задач общественного развития, что особенно важно в период экономических трудностей и внешнеполитического давления. Эти меры соответствуют курсу президента РФ на создание новых институтов, альтернативных по отношению к традиционной бюрократии. Мы исходим из того, что государственную службу в существующем виде невозможно ни упразднить, ни искусственно реформировать извне ввиду сопротивления данной системы. Поэтому представляется более целесообразным формировать параллельно с ней новые *инклюзивные институты, построенные на следующих принципах:*

- развитие партнерства, основанного на горизонтальных связях между структурами гражданского общества и государством;

- ориентация на мотивы и ценности, не связанные с рынком, а напротив, предполагающие служение и подчинение личного интереса общественному;

- приоритет воспроизводства общественных благ в качестве смысла и содержания государственного управления;

– сетевой принцип взаимодействия, предполагающий сочетание штатного административного персонала, независимых экспертов и волонтеров, что задает особый формат кадровой политики.

Данные принципы основаны на *конвергенции ключевых постулатов в парадигмах неовеберианской бюрократии, политического менеджмента и общественно-государственного управления* (Good Governance).

Целью функционирования института публичной службы станет расширение кадровой базы системы управления и повышение ее эффективности путем ориентации на достижение политической стабильности и экономического роста. В этом, а также в заинтересованности политического руководства в обеспечении эффективности власти – залог того, что институциональная трансформация государственной службы в дальнейшем будет идти в русле потребностей российского общества.

Список литературы

- Аузан А.А. «Эффект колеи». Проблема зависимости от траектории предшествующего развития – эволюция гипотез // Вестник Московского ун-та. Серия 6: Экономика. – М., 2015. – № 1. – С. 3–17.
- Барабашев А.Г. Кризис государственного управления и его влияние на основные административные парадигмы государства и бюрократии // Вопросы государственного и муниципального управления. – М., 2016. – № 3. – С. 163–194.
- Борщевский Г.А. Оценка тенденций развития государственной службы: Вопросы методологии // Вопросы государственного и муниципального управления. – М., 2017 а. – № 1. – С. 103–128.
- Борщевский Г.А. Реформа бюрократии глазами политических лидеров // Полития: Анализ, хроника, прогноз. – М., 2017 б. – № 2. – С. 94–112.
- Василенко И.А. Инновационные технологии в процессе российской административной реформы: Возможности и границы использования // Государственный советник. – М., 2015. – № 1(9). – С. 5–7.
- Гельман В.Я. Модернизация, институты и «порочный круг» постсоветского неопатриониализма. – СПб.: Европейский университет, 2015. – 44 с.
- Ильин М.В. Семиотический, морфологический, компаративный методы анализа дискурса в междисциплинарном приложении // Бизнес. Общество. Власть. – М., 2015. – № 22. – С. 67–82.
- Ильин М.В. Методологический вызов. Как вообразить еще не познанное? // Метод: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН. – М., 2016. – № 6. – С. 6–12.

- Комаровский В.С. Эволюция взглядов на государство в постсоветской России и на Западе на рубеже веков // Ученые записки РГСУ. – М., 2013. – Т. 2, № 4 (118). – С. 5–8.
- Кортаев А.В., Билюга С.Э., Шишкина А.Р. Экономический рост и социально-политическая дестабилизация: опыт глобального анализа // Полис. Политические исследования. – М., 2017. – № 2. – С. 155–169.
- Купряшин Г.Л. Институциональные ловушки и кризисы государственного управления // Государственное управление. Электронный вестник. – М., 2017. – № 60. – С. 94–121.
- Нисневич Ю.А., Рябов А.В. Постсоветский авторитаризм // Общественные науки и современность. – М., 2017. – № 4. – С. 84–97.
- Оболонский А.В. Очерки истории российско-советской бюрократической номенклатуры // Вопросы государственного и муниципального управления. – М., 2015. – № 3. – С. 145–164.
- Пивоваров Ю.С. О «советском» и путях его преодоления // Полис. Политические исследования. – М., 2014. – № 2. – С. 31–60.
- Политбюро 2.0: доклад / Под ред. Е.Н. Минченко. – М.: Минченко-консалтинг, 2015. – Режим доступа: http://www.minchenko.ru/netcat_files/File/Politburo%202015.pdf (Дата посещения: 10.11.2017.)
- Полтерович В.М. Институциональные реформы и гражданская культура // Историческая и социально-образовательная мысль. – М., 2016. – Т. 8, № 2. – С. 225–238.
- Пушкарева Г.В. Идеино-ценностный механизм реформирования государственной службы // Государственное управление. Электронный вестник. – М., 2017. – № 63. – С. 171–190.
- Российское общество и вызовы времени / Горшков М.К., Тихонова Н.Е. (ред.). – М.: Изд-во Ин-та социологии РАН, 2016. – 456 с.
- Слатинов В.Б. Реформирование государственной гражданской службы России в условиях распространения концепции «новой публичности»: Проблемы и ограничения // Среднерусский вестник общественных наук. – Курск, 2016. – Т. 11, № 3. – С. 61–68.
- Сморгунов Л.В. Проблема методологического синтеза в современной сравнительной политологии // Вестник СПбГУ. Серия 6: Политология. Международные отношения. – СПб., 2011. – № 1. – С. 76–84.
- Соловьев А.И. Политический лидер в административной среде государственного управления, или «Кто в доме хозяин?» // Полис. Политические исследования. – М., 2017. – № 2. – С. 60–81.
- Тимофеева Л.Н. Противоречивость этосов политико-административного управления: есть ли выход? // Конфликтология. – М., 2014. – Т. 2. – С. 64–74.
- Шабров О.Ф. Реформа государственной службы: Открытость или эффективность // Социология власти. – М., 2005. – № 6. – С. 5–16.
- Эйзенштадт Ш. Срывы модернизации // Неприкосновенный запас. – М., 2010. – № 6 (74). – С. 11–19.
- Andrews M. The good governance agenda: Beyond indicators, without theory // Oxford development studies. – Oxford, 2008. – Vol. 36, N 4. – P. 379–407.

- Crisis, choice, and change. Historical studies of political development / G.A. Almond, S.C. Flanagan, R.J. Mundt (eds.). – Boston: Little, Brown, and Company, 1973. – xi, 717 p.
- Boushey G.T., McGrath R.J.* Experts, amateurs, and bureaucratic influence in the American states // Journal of public administration research and theory. – N.Y., 2017. – Vol. 27, Iss. 1. – P. 85–103.
- Denhardt J.V., Denhardt R.B.* The new public service revisited // Public administration review. – N.Y., 2015. – Vol. 75. – P. 245–267.
- Esmark A.* Maybe it is time to rediscover technocracy? An old framework for a new analysis of administrative reforms in the governance era // Journal of public administration research and theory. – N.Y., 2017. – Vol. 27, Iss. 3. – P. 501–516.
- From high-reliability organizations to high-reliability networks: The dynamics of network governance in the face of emergency / Berthod O., Grothe-Hammer M., Müller-Seitz G., Raab J., Sydow J. // Journal of public administration research and theory. – N.Y., 2017. – Vol. 27, Iss. 2. – P. 352–371.
- Gaebler T., Miller A.* Practical public administration: A response to academic critique of the reinvention trilogy // Halduskultuur. – Berlin, 2006. – N 7. – P. 16–23.
- Gel'man V.* The vicious circle of post-soviet neopatrimonialism in Russia // Post – Soviet affairs. – L., 2016. – T. 32, N 5. – C. 455–473.
- Henry N.* Paradigms of public administration // Public administration review. – N.Y., 1975. – Vol. 35, N 4. – P. 378–386.
- Hong S.* What are the areas of competence for central and local governments? Accountability mechanisms in multi-level governance // Journal of public administration research and theory. – N.Y., 2017. – Vol. 27, Iss. 1. – P. 120–134.
- Jensen U.T., Vestergaard C.F.* Public service motivation and public service behaviors: Testing the moderating effect of tenure // Journal of public administration research and theory. – N.Y., 2017. – Vol. 27, Iss. 1. – P. 52–67.
- Kettl D.F.* The global public management revolution. – Washington: Brookings Institution Press, 2000. – viii, 108 p.
- Klimenko A.V., Barabashev A.G.* Russian governance changes and performance // Chinese political science review. – Singapore, 2017. – N 2. – P. 22–39.
- Nielsen P.A., Moynihan D.P.* How do politicians attribute bureaucratic responsibility for performance? Negativity bias and interest group advocacy // Journal of public administration research and theory. – N.Y., 2017. – Vol. 27, Iss. 2. – P. 269–283.
- Niskanen W.* Bureaucracy and public economics. – Aldershot: Edward Elgar, 1994. – 298 p.
- Osborne S., Radnor Z., Strokosch K.* Co-production and the co-creation of value in public services: A suitable case for treatment? // Public management review. – Boston, 2016. – Vol. 18, N 5. – P. 639–653.
- Perry J.L., Hondeghem A., Wise L.R.* Revisiting the motivational bases of public service: Twenty years of research and an agenda for the future // Public administration review. – N.Y., 2010. – N 5. – P. 681–690.
- Peters B.G.* The politics of bureaucracy. An introduction to comparative public administration. – 6th ed. – L.: Routledge, 2010. – 460 p.

- Pollitt C., Bouckaert G.* Public management reform: A comparative analysis – New public management, governance, and the neo-Weberian state. – 3rd ed. – Oxford: Oxford univ. press, 2011. – 352 p.
- Popa M.* What do good governments actually do?: An analysis using European procurement data // European political science review. – Geneva, 2017. – DOI: 10.1017/S1755773917000157 (Accessed: 29.12.2017.)
- Rhodes R.A.W.* The new governance: Governing without government // Political studies. – N.Y., 1996. – Vol. 44, Iss. 4. – P. 652–667.
- Ruiz A.* «Bureauphobia»: A new conceptual tool for understanding public dissatisfaction // Public administration review. – N.Y., 2016. – Vol. 76, Iss. 5. – P. 736–737.
- Sjoberg F.M., Mellon J., Peixoto T.* The effect of bureaucratic responsiveness on citizen participation // Public administration review. – N.Y., 2017. – Vol. 77, Iss. 3. – P. 340–351.
- Taagepera R.* Science walks on two legs, but social sciences try to hop on one // International political science review. – Beverly Hills, Calif., 2018. – Vol. 39, Iss. 1. – P. 145–159.
- Trondal J., Bauer M.* Conceptualizing the European multilevel administrative order: Capturing variation in the European administrative system // European political science review. – Geneva, 2017. – Vol. 9, N 1. – P. 73–94.

ПЕРВАЯ СТЕПЕНЬ

С.А. Климович*

В ПОИСКАХ ЕДИНОЙ ТЕОРИИ КОАЛИЦИОННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: ОТ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО НАЦИОНАЛИЗМА К МЕТОДОЛОГИЧЕСКОМУ РЕГИОНАЛИЗМУ

Аннотация. Исследование коалиций считается одним из самых теоретически проработанных и динамичных направлений в политической науке и разрабатывается в рамках сразу нескольких подходов. Каждый из них выступает основой для формирования моделей и концепций, объяснительная и прогностическая способность которых ограничена заданными методологическими рамками. Сегодня на повестку ставится вопрос о создании единой теории коалиционного строительства, которая могла бы примирить между собой и объединить существующие модели. Большим вызовом для исследования коалиций выступает доминирование «методологического национализма» в качестве отправной точки для анализа коалиционного строительства. Появление всё большего числа исследований субнациональных политических процессов, в том числе коалиционного строительства, демонстрирует начинающийся переход к «методологическому регионализму». Ответом на обозначенные вызовы может стать создание единой, но «децентрализованной» теории коалиционного строительства, которая будет формироваться сразу в двух измерениях: горизонтальном – интеграция теоретико-игровых моделей, а также моделей, построенных в рамках теории рационального выбора и нового институционализма; и вертикальном – разработка и применение инструментария, подходящего для объяснения коалиционного строительства на национальном, региональном и локальном уровнях власти. В данной статье продолжается поиск

* **Климович Станислав Андреевич**, аспирант Национального исследовательского университета Высшая школа экономики, e-mail: sklimovich@hse.ru

Klimovich Stanislav, National Research University Higher School of Economics, (Moscow, Russia), e-mail: sklimovich@hse.ru

аргументов в пользу единой теории коалиций, а также предлагаются методико-теоретические наработки, которые могут быть использованы при ее создании.

Ключевые слова: коалиции; теория коалиционного строительства; методологический национализм; методологический регионализм.

S.A. Klimovich

**In search for a unified theory of coalition construction:
From methodological nationalism to methodological regionalism**

Abstract. Study of coalition formation which is one of the most developed and dynamic in political science builds upon several methodological approaches. Once chosen, each approach not only provides a basis for models and concepts, but also imposes limitations on its explanatory and predictive powers. Creation of a single theory of coalition formation integrating current models and concepts is on the agenda today. The domination of «methodological nationalism» as starting point for coalition analysis is a major challenge for coalition formation study. Yet emerging studies of subnational politics and regional coalition formation illustrates a shift towards «methodological regionalism». A single but «decentralized» theory may respond to these challenges, which will develop in two dimensions: it will horizontally integrate game-theoretic, rational choice and institutional models; and it will vertically elaborate analytical tools to explain coalition formation at national, regional and local levels. This article is a further contribution to arguments in favor of a single coalition formation theory and contains some assumptions it can be based on.

Keywords: coalitions; theory of coalition formation; methodological nationalism; methodological regionalism.

Исследование коалиций считается одним из самых теоретически проработанных и динамичных направлений в политической науке. Вместе с тем ученых, занимающихся изучением коалиционного строительства, сравнивают со «слепцами, которые с разных сторон прикасаются к одному и тому же слону [процессу формирования коалиций], получая представление лишь о части всей картины» [Martin, Stevenson, 2001, p. 49]. Причина подобной иронии кроется в том, что проблема коалиционного строительства разрабатывается в рамках сразу нескольких подходов: теории игр, теории рационального выбора и нового институционализма. Каждый из них выступает основой для формирования моделей и концепций, объяснительная и прогностическая способность которых ограничена заданными методологическими рамками.

Теория коалиций эволюционировала от преобладания сугубо «арифметических» правил большинства (сложения мест, контро-

лируемых партиями в парламенте после выборов) и минимальности (количества партий, участвующих в создании правительства) до учета целого ряда институциональных факторов, оказывающих влияние на формирование коалиций, например: роли главы государства в создании правительства, наличия процедуры назначения кабинета парламентом или обмена позитивными / негативными коалиционными сигналами между партиями в ходе избирательной кампании [см.: Gamson, 1961; Riker, 1962; Leiserson, 1968; Strom, Budge, Laver, 1994; Coalition governments... 2003]. С совершенствованием этих моделей «слепцы» все лучше осязают слоновьи уши, хобот или бивни, но не могут исчерпывающе осознать «слона» целиком. Сегодня на повестку ставится вопрос о создании единой теории коалиционного строительства, которая могла бы примирить между собой и объединить существующие модели. Все большее многообразие форм коалиционных правительств как на национальном уровне, так и в регионах приводит к необходимости пересмотра и обновления теоретических подходов: учитывая значительный разброс в оценке эффективности разных моделей в результате тестирования на эмпирических данных, можно ожидать, что единая теория позволит достичь максимальной объяснительной и прогностической силы в отношении потенциальных коалиций [Martin, Stevenson, 2001; Müller, 2004].

Другим «большим» вызовом для исследования коалиций выступает доминирование «методологического национализма» в качестве отправной точки для анализа коалиционного строительства [см.: Wimmer, Glick Schiller, 2002; Jeffery, 2008]. Методологический национализм¹ заключается «в допущении, что нация / государство / общество – естественная социальная и политическая форма современного мира» [Wimmer, Glick Schiller, 2002, p. 302]. Применительно к изучению коалиционного строительства это означает, что аналитический инструментарий исследователей оказывается нечувствителен к особенностям субнациональных и тем более локальных политических процессов, которые выступают в роли самостоятельных факторов формирования коалиций и способны значительным образом повлиять на его результаты. С па-

¹ Здесь и далее термин «методологический национализм» обозначает исследовательский (методологический) аппарат, созданный и применяемый для объяснения политических процессов на национальном уровне. Он не имеет отношения к классическому понятию национализма как политического течения.

параллельными процессами интеграции между государствами (наиболее яркий пример – европейская интеграция) и децентрализации внутри государств, усилением перманентного перемещения полномочий и функций между разными уровнями власти возникает устойчивая необходимость в серьезной корректировке доминирующего государственноцентричного подхода к объяснению политики [Jeffery, 2008, p. 553]. Появление все большего числа исследований субнациональных политических процессов, в том числе коалиционного строительства, демонстрирует начинающийся переход к «методологическому регионализму» [см.: *Autonomist parties in Europe*, 2006; Marks, Hooghe, Schakel, 2008 a; Marks, Hooghe, Schakel, 2008 b; см. также: Ștefuriuc, 2009; Däubler, Debus, 2009; *Regional government formation... 2013*].

Ответом на обозначенные вызовы может стать создание единой, но «децентрализованной» теории коалиционного строительства, которая будет формироваться сразу в двух измерениях: горизонтальном – интеграция теоретико-игровых моделей, а также моделей, построенных в рамках теории рационального выбора и нового институционализма; вертикальном – разработка и применение инструментария, подходящего для объяснения коалиционного строительства на национальном, региональном и локальном уровнях власти. В данной статье продолжается поиск аргументов в пользу единой теории коалиций, а также предлагаются методико-теоретические наработки, которые могут быть использованы при ее создании.

Важно отметить, что рассматриваемые далее теории сфокусированы на объяснении правительственных коалиций в демократических системах, где кабинет министров формируется и является подотчетным парламенту, и это задает объективные границы познаваемого «слона». Данная статья продолжает дискуссию о единой теории коалиционного строительства именно в демократиях, практически не пересекаясь с традицией исследования (преимущественно неформальных) коалиций в недемократических политических режимах.

Методологический национализм в исследовании коалиций

Теории коалиционного строительства, которые сегодня принято считать классическими, основываются на разных методоло-

гических подходах, но их объединяет одно общее допущение: единицей анализа по умолчанию выступает государство, т.е. национальное коалиционное правительство. Это приводит к двум базовым ограничениям классических исследований коалиций. Во-первых, они сфокусированы на изучении политических процессов, протекающих на национальном (общегосударственном) уровне и не занимаются субнациональной политикой. Во-вторых, они предлагают аналитический инструментарий, который может быть успешно применен для объяснения и прогнозирования формирования национальных правительств, но оказывается недостаточно эффективен в объяснении коалиционного строительства в регионах и муниципалитетах. Тем не менее эти модели и концепции заложили основу существующего знания о коалициях и в случае создания единой теории коалиционного строительства должны стать важнейшими ее составляющими.

Создавая коалиции, партии, как правило, руководствуются двумя основными мотивами: стремлением получить места в правительстве (*office-seeking*) и стремлением реализовать свой политический курс (*policy-seeking*) [Laver, Schofield, 1990]. Эта логика поведения партий легла в основу первых двух волн исследования коалиционного строительства, которые опирались на теорию игр и теорию рационального выбора.

Начало было положено вытекающей из теоретико-игрового подхода идеей о том, что коалиция должна состоять лишь из тех игроков, которые необходимы для победы [von Neumann, Morgenstern, 1944, p. 429–430]. Это предположение получило свое развитие в работах У. Гэмсона и У. Райкера. Гэмсон сформулировал общую гипотезу теории создания коалиций: каждый игрок ожидает, что другие игроки будут рассчитывать на получение своей доли выгоды от коалиции, пропорциональной количеству ресурсов, которые они вносят в ее актив [Gamson, 1961]. С точки зрения теории игр, именно в такой логике партии осуществляют конечный выбор партнера или партнеров и создают правительственную коалицию, основываясь на реципрокности действий и стремлении максимизировать прибыль от своего участия в коалиции. Райкер сформулировал принцип минимальности в коалиционном строительстве, который служит основой для минимизации издержек партий при создании коалиций – они должны контролировать достаточное, но минимально необходимое количество мест в legisla-

туре [Riker, 1962]. Его заслуга состоит в операционализации основных понятий новой теории применительно к политике: минимальная выигрышная коалиция (*minimal winning coalition*) и минимально выигрышная коалиция (*minimum winning coalition*). Выигрышность коалиции заключается в наличии у нее достаточного количества мест в парламенте для формирования кабинета. Минимальной выигрышной считается та коалиция, каждая партия-участница которой необходима для обеспечения большинства в парламенте, а выход одной из них чреват потерей этого большинства. Минимально выигрышной считается наименьшая из всех минимальных выигрышных коалиций, которая ближе всего находится к отметке 50% + 1 голос в легислатуре. Развивая тему минимальности, М. Лейсерсон приходит к выводу, что для успешного создания коалиции важно не столько наименьшее (и при этом достаточное) количество мест в парламенте, сколько наименьшее количество партий, участвующих в формировании кабинета [Leiserson, 1968]. Из его теоремы переговоров (*bargaining proposition*) следует: чем меньше партий задействовано в переговорах, тем больше министерских портфелей сможет получить каждая из них и тем быстрее они смогут договориться. В итоге правительственные посты распределяются достаточно пропорционально между партнерами по коалиции, с небольшим преимуществом в пользу младшего партнера [Debus, 2008, p. 517]. Старшим же партнером, или «форматором» (*formateur*), коалиции чаще всего становится партия, контролирующая большинство мест в парламенте, поскольку обладает наиболее сильной переговорной позицией и практически гарантирует себе место в правительстве [Austen-Smith, Banks, 1988; van Deemen, 1989; Baron, Diermeier, 2001].

В основе первой политико-ориентированной теории коалиционного строительства Р. Аксельрода лежит понятие «конфликта интересов» и базовое допущение о том, что его величина оказывает прямое влияние на вероятность конфликтного поведения [Axelrod, 1970; 1978]. В этом смысле утилитарная функция создания коалиции, по Аксельроду, – минимизация конфликта интересов между потенциальными партнерами по коалиции. Конфликт интересов операционализируется посредством размещения акторов в одномерном политическом континууме, и его величина соответствует расстоянию между партиями на политическом спектре. Наилучшим решением для партий, стремящихся к получению министер-

ских портфелей в правительстве, становится создание минимальной связанной выигрышной коалиции (*minimal connected winning coalition*), которая является «минимальной» и «выигрышной» в классическом смысле и при этом состоит из политических сил, соседствующих на политическом спектре. А. де Сваан развивает идею Аксельрода и переходит от простого соседства партий, образующих коалицию на шкале «левый – правый», к расчету идеологической дистанции между ними. Его теория минимальной дистанции (*minimal range theory*) предполагает, что рациональные акторы-партии, находясь в поиске партнеров по будущей коалиции, способны рассчитать, насколько они идеологически близки либо отдалены друг от друга, и на основе такого анализа принять решение о формировании правительства [De Swaan, 1973]. Ключевым аргументом в пользу подобных коалиций выступает тот факт, что такие коалиции «соседей» на политическом спектре имеют меньшие идеологические различия, а значит, конфликт интересов между партнерами минимизируется. При этом шансы на попадание в коалицию наиболее велики у той партии, которая в рамках определенного измерения политики занимает срединное положение (*median legislator, median party*) [Laver, Schofield, 1990, p. 111]. Поскольку в реальности политический процесс многомерен, М. Лэвер и К. Шепсл смоделировали правительство, в котором распределение портфелей (*portfolio allocation*) в коалиции происходит в пользу партий, занимающих срединную позицию в каждой из отдельно рассматриваемых сфер (*dimension-by-dimension median party*): например, во внешней политике, экономическом развитии, социальной сфере и т.д. [Laver, Shepsle, 1996; Laver, 1998, p. 20].

Тестирование обозначенных выше теорий коалиционного строительства на практике показывает их ограниченную объяснительную и прогностическую силу. Базовым ограничением их эффективности выступает тот факт, что они предлагают большое количество вариантов коалиций, которые могут быть созданы [Laver, Schofield, 1990, p. 93–94]. Это позволяет объяснить множество реально сформированных коалиций, но существенным образом снижает возможности прогнозирования. Тест И. Баджа и М. Лэвера показывает, что, например, минимальная связанная выигрышная коалиция дает 35% объяснения и всего 12% прогноза, *median legislator* в одном измерении – 78 и 12%, *dimension-by-dimension median party* – 83 и 11% соответственно [Budge, Laver, 1993, p. 509]. Более

поздняя проверка эффективности указанных теорий, проведенная Л. Мартином и Р. Стивенсоном, фактически подтвердила результаты предыдущего теста, продемонстрировав прогностическую силу теоретико-игровых моделей коалиционного строительства в 11% [Martin, Stevenson, 2001, p. 47].

В работе «Constraints on Cabinet Formation on Parliamentary Democracies» К. Стром, И. Бадж и М. Лэвер подняли проблему недостатка внимания со стороны своих предшественников по изучению коалиций к формальным процедурам, связанным с формированием правительства, назвав эти исследования *institution-free* и выдвинув предположение о том, что существуют объективные ограничения коалиционного строительства, которые необходимо учитывать [Strom, Budge, Laver, 1994]. Под ограничениями авторы понимали факторы, способствующие сокращению возможных альтернатив коалиций, которые не поддаются контролю участников в краткосрочной перспективе (во время переговоров), т.е. институты. При этом по типу оказываемого воздействия на результат процесса коалиционного строительства указанные ограничения разделяются на *hard* (максимальная степень формализации – де-факто формальный / структурированный институт) и *soft* (минимальная степень формализации, или неформальный / неструктурированный институт). Первые представляют собой преимущественно правовые нормы и делают реализацию определенных коалиционных констелляций заведомо невозможной. Последние же состоят из устоявшихся неформальных «правил игры», которые систематически выполняются участниками переговорного процесса, делая реализацию одного из проектов коалиций более / менее вероятной. Стром, Бадж и Лэвер систематизируют предложенные ими ограничения следующим образом [ibid., p. 310–321]:

- *правила формирования правительства*: его размер и состав, наличие формальной процедуры и условий для его введения в должность – например, инвеституры, а также правила коалиционных переговоров;

- *институты, регулирующие деятельность правительства*: ответственность за принятие решений, правила отставки кабинета;

- *институты, регулирующие деятельность парламента*: правила голосования, особенности и условия роспуска легислатуры, а также ключевые параметры избирательной системы;

– *институты, регулирующие деятельность партий*: официальные заявления относительно коалиционных перспектив, эндогенное / экзогенное неучастие в определенных коалициях, внутрипартийная борьба;

– *внешние вето-игроки*: зарубежные и внутрисистемные.

Схожее институциональное измерение коалиционного строительства предлагают В. Мюллер и К. Стром, разделяя ограничения на институциональные и обусловленные партийной системой [Coalition governments... 2003, p. 565]. Среди неформальных институтов, регулирующих межпартийное взаимодействие, наиболее важны коалиционные сигналы, которые делятся на позитивные и негативные и которыми партии обмениваются в ходе кампании [см.: Debus, 2007; Debus, 2009; Decker, 2009; Warwick, 2006]. Обозначенная дихотомия «позитивный» / «негативный» – сигнал укладывается в логику «пактов» (*pacts*) и «антипактов» (*anti-pacts*) [см.: Martin, Stevenson, 2001, p. 36–37]. Наиболее формализованы следующие варианты коалиционных сигналов: а) создание полноценной предвыборной коалиции (*pre-electoral coalition*) и б) однозначный отказ от участия в возможном союзе с маркированием другой партии как «антисистемной» (*anti-system party, pariah party*) [см.: Strom, Budge, Laver, 1994; Golder, 2005; Golder, 2006 a; Golder, 2006 b; см. также Sartori, 1976; Powell, 2000; Coalition governments... 2003, p. 569; Geys, Heyndels, Vermeir, 2006].

Тестирование влияния институтов на создание коалиционных правительств доказывает, что введение таких ограничений в модели коалиционного строительства позволяет значительно улучшить их прогностическую силу. Мартин и Стивенсон утверждают, что точность прогноза в этом случае увеличивается до 40% [Martin, Stevenson, 2001, p. 47]. Таким образом, теории коалиционного строительства, разработанные в рамках методологического национализма для объяснения создания коалиций на национальном уровне, дают относительно убедительные прогнозы лишь в том случае, если они оказываются интегрированными в единые модели. Однако этот успех вновь ставится под сомнение, когда речь идет об объяснении коалиционного строительства на субнациональном уровне – в городах и регионах. Ответом на новый эмпирический вызов для все еще разрозненных теорий создания коалиций стали исследования, наметившие переход к созданию концепций и моделей, учитывающих многоуровневость политиче-

ских систем и воздействие расстановки сил между партиями на национальном и субнациональном уровнях на результаты коалиционного строительства как в центре, так и в регионах.

Методологический регионализм в исследовании коалиций

Рост внимания к региональному коалиционному строительству и выборам в литературе объясняется нарастанием и углублением процессов децентрализации и регионализации политических систем. В исследовании 42 развитых стран с 1950 по 2006 г. на предмет увеличения / снижения полномочий региональных властей было обнаружено, что 29 стран осуществили регионализацию, две перешли к большей централизации и 11 оставили отношения между центром и регионами без существенных изменений. При этом на 42 реформы, направленные на снижение региональной автономии, приходится 342 реформы, направленные на ее увеличение (соотношение 1:8) [Marks, Hooghe, Schakel, 2008 b, p. 177]. Активный рост стремления центра пересмотреть отношения с регионами в пользу последних начался с 1970-х годов. Авторы связывают эту тенденцию с масштабными культурными изменениями конца 1960-х годов и мобилизацией национальных меньшинств в Бельгии, Великобритании, Канаде и других странах [ibid., p. 178].

Такое увеличение самостоятельности регионов в принятии решений не могло не привести к изменению процесса формирования региональных органов власти, которые теперь стали избираться их жителями. Исследователи связывают это с необходимостью соблюдения одного из базовых демократических принципов, по которому посты, предполагающие значительный объем полномочий, должны замещаться в ходе соревновательных выборов [Hooghe, Marks, 2003]. Наличие наряду с национальными выборами региональных ставит несколько вопросов. Насколько поведение избирателей, партий и политиков может отличаться в зависимости от уровня кампаний? Формируются ли устойчивые паттерны электорального поведения на выборах в регионах, отличные от национальных выборов? В заочном споре с Д. Карамани, который утверждал, что «институциональная децентрализация [...] не привела к регионализации поведения избирателей» [Caramani, 2004, p. 291],

Ч. Джеффри готов согласиться с его тезисом в отношении национальных избирательных кампаний, но предлагает сфокусироваться на анализе региональных выборов, которые могут стать пространством для иного «регионализованного» электорального поведения [Jeffery, 2008, p. 552].

Долгое время региональные выборы в литературе считались «выборами второго уровня» (*second order elections*). Этим термином К. Райф и Г. Шмитт обозначили в своем исследовании выборы в Европейский парламент (которые в их представлении занимали подчиненное положение по отношению к выборам национальным), указав, однако, что подобное положение могут занимать также муниципальные и региональные выборы [Reif, Schmitt, 1980, p. 8–9]. Основной посыл подобной «второсортности» выборов наднационального и субнационального уровня заключается в том, что граждане не относятся к ним так же серьезно, как они относятся к выборам, определяющим состав национального правительства. Такие выборы характеризуются меньшей явкой и более активным протестным голосованием (за оппозицию, малые партии и партии-аудсайдеры) [ibid.].

А. Шакель и Ч. Джеффри приводят аргументы, опровергающие применение понятия *second order* к региональным выборам [Schakel, Jeffery, 2013, p. 326–328]. Во-первых, с ростом децентрализации «на кону» (*at stake*) региональных выборов стоят большие полномочия, которыми наделены региональные правительства и парламенты, и избиратель отдает себе в этом отчет, понимая важность участия в выборах в своем регионе и формируя различные стратегии голосования для общенациональных и региональных выборов. Ф. Катлер называет это явление «демократическим гражданством разного уровня» (*split-level democratic citizenship*). [Cutler, 2008, p. 502]. Во-вторых, во многих регионах формируются региональные партии (*non-state-wide parties*), которые уже не являются «малыми партиями» в логике «выборов второго уровня», но могут выступать значительной (и даже ведущей) политической силой в пределах своего региона, артикулируя специфические местные интересы избирателей и поддерживая их региональную идентичность. Проанализировав 2933 случая выборов в 313 регионах 17 стран, авторы пришли к выводу, что объяснительная сила *second order* подхода к выборам имеет значительные ограничения

и дает объяснение только 18% случаев (531 из 2933) [Schakel, Jeffery, 2013, p. 339].

В результате было выработано базовое представление о том, что региональные выборы не могут восприниматься просто как функция от национальных выборов. Для качественного объяснения и тем более точного прогнозирования поведения избирателей, предвыборных стратегий партий и коалиционного строительства после выборов на субнациональном уровне требуется отдельный теоретический инструментарий, который дополнил бы классические концепции, разработанные в рамках методологического национализма.

Многоуровневость политической системы выступает одним из базовых институциональных ограничений свободы партий при выборе потенциальных партнеров по коалиции. Такая новация в рамках методологического регионализма встраивается в логику институциональной волны классических исследований коалиционного строительства: наличие нескольких уровней власти, взаимодействующих между собой, формирует «коридор возможностей» для партий при выстраивании взаимоотношений друг с другом как в центре, так и в регионах. Взаимоотношения центра и регионов принято рассматривать в двух измерениях: самостоятельности региональной власти (*self-rule*) и кооперативности управления (*shared rule*) [Elazar, 1987].

Г. Маркс, Л. Хуг и А. Шакель операционализируют предложенные Д. Елазаром понятия следующим образом [Marks, Hooghe, Schakel, 2008 a, p. 114–115]. Под первым понимается степень автономии региона в управлении собственной территорией. Ключевые критерии *self-rule*: 1) независимость (и выборность) региональной исполнительной и законодательной власти; 2) объем полномочий и предметов самостоятельного ведения региона; 3) его фискальная автономия. Кооперативность управления (*shared rule*) показывает степень вовлеченности региона в принятие решений на общенациональном уровне и определяется: 1) участием в законодательном процессе; 2) включенностью в определение политического курса национального правительства; 3) влиянием на перераспределение собранных центром налогов; 4) необходимостью согласования с регионом изменений, вносимых в конституцию страны. Логично предположить, что в зависимости от комбинации обозначенных возможностей региона по самоуправлению и воздействию на принятие решений в центре степень национализации партийных

систем (т.е. соответствия региональных партийных систем национальным) и стратегии партий будут различаться. Большая автономия должна способствовать созданию *non-state-wide* партий и большей самостоятельности региональных отделений национальных партий в выборе партнеров по коалиции. Большая вовлеченность регионов в дела центра должна, напротив, стимулировать процесс национализации партийной системы и унификации коалиционных стратегий партий на национальном и на региональном уровнях.

Для объяснения коалиционных предпочтений партий в многоуровневых системах основополагающим выступает принцип конгруэнтности коалиций (*coalition congruence*), в соответствии с которым партийный состав региональных коалиционных правительств коррелирует с партийным составом национальных правительственных коалиций [Roberts, 1989]. Логика этого принципа достаточно очевидна: партии, которые управляют страной, заинтересованы в том, чтобы возглавлять и региональные правительства. Это позволяет им минимизировать издержки при определении политического курса (особенно в случаях, когда регионы могут оказывать на него влияние, см.: *shared rule*) и обеспечивать реализацию выбранного курса на местах, избегая блокирования своих инициатив со стороны потенциально оппозиционно настроенных региональных правительств. Следует отметить, что необходимость в конгруэнтности усиливается, когда от расстановки сил в регионах зависит распределение мест между правящими партиями и оппозицией в верхней палате парламента.

И. Стефуриуч развивает эту идею и предлагает следующую классификацию коалиций по степени их конгруэнтности [Ştefuriuc, 2009, p. 96; Ştefuriuc, 2013, p. 89]:

- полностью конгруэнтные (*fully congruent*): региональные и федеральное правительства состоят из одних и тех же партий;
- полностью неконгруэнтные (*fully incongruent*): региональные и федеральное правительства состоят из разных партий (отсутствует пересечение между ними);
- частично конгруэнтные (*partly congruent*): некоторые из партий, формирующих федеральное правительство, участвуют в региональной коалиции.

Аргумент Стефуриуч состоит в том, что партии в наибольшей степени заинтересованы в создании полностью конгруэнтных

коалиций. В своем исследовании она находит подтверждение влиянию принципа конгруэнтности на коалиционное строительство [Ştefuriuc, 2013, p. 95].

Т. Дойблер и М. Дебус, анализируя коалиционное строительство в германских землях, приходят к выводу, что для партий в меньшей степени принципиально формирование полностью конгруэнтных коалиций в регионах. Важно, чтобы не происходило создание «пересекающихся коалиций» (*cross-cutting coalitions*), которые идут вразрез с разделением на власть и оппозицию на национальном уровне [Däubler, Debus, 2009]. Под пересекающимися коалициями понимаются союзы между партиями, которые находятся в национальном правительстве, и партиями, находящимися в оппозиции в национальном парламенте. Анализ показывает, что партии стараются избегать формирования подобных коалиций, особенно когда они могут изменить соотношение большинства-меньшинства в бундесрате (второй палате германского парламента, состоящей из представителей земель) и когда приближаются следующие федеральные выборы [ibid., p. 90].

Недавнее исследование коалиционного строительства на региональном уровне в восьми европейских странах показало, что в целом в многоуровневых системах партии действительно стараются избегать создания *cross-cutting* коалиций [Regional government formation... 2013, p. 15–16]. В сравнении коалиционных стратегий в политических системах с преобладанием *self-rule* или *shared rule* ожидалось, что в последних, учитывая возможности регионов влиять на национальную повестку, количество пересекающихся коалиций должно быть ниже по причинам, указанным ранее (большая национализация партийной системы и большая унификация стратегий партий). Однако выяснилось, что и в странах с большей автономией регионов, и в странах, где регионы активно вовлечены в принятие решений на национальном уровне, пересекающиеся коалиции формируются достаточно часто. К схожему выводу пришла Стефуриуч по итогам сравнения коалиционного строительства в Испании и Германии [Ştefuriuc, 2013, p. 95]. Объяснением этим результатам, по мнению авторов, может служить наличие *bottom-up* логики коалиционного строительства, когда региональные выборы становятся пространством для коалиционных новаций и позволяют создавать новые объединения, проверять их устойчивость, с тем чтобы в дальнейшем использовать для формирования национальных коалиций [Regional government formation... 2013, p. 16].

В целом подобные результаты моделей, разработанных в рамках методологического регионализма, не должны удивлять. Вместе с идеей о том, что для объяснения создания региональных коалиций классические теории коалиционного строительства необходимо применять с большей осторожностью, пришло понимание сложности, нелинейности и разнонаправленности влияния во взаимоотношениях национального и субнационального политических процессов. Несмотря на значительную проработанность относительно новой темы коалиционного строительства в многоуровневых системах, необходимы дальнейшие исследования, которые будут уточнять базовые концепции методологических регионалистов и способствовать лучшему пониманию каузальных связей в создании коалиций между центром и регионами.

Вместо заключения:

Три принципа и одно предложение для единой теории

Исследователи коалиций предприняли несколько попыток систематизировать полученное ранее знание в некую систему критериев, объединяющую сразу несколько моделей и концепций, которые были созданы в рамках классических теорий коалиционного строительства [см.: Budge, Herman, 1978; Budge, Keman, 1990]. Однако развития в направлении единой теории эти наработки так и не получили. Формулируя собственную теорию коалиционного строительства в многоуровневых системах (и фактически обозначая переход к методологическому регионализму в исследовании коалиций), Стефуриуч обозначила несколько важных допущений, на которых основаны обновленное понимание и применение классических теорий в новых условиях [Ștefuriuc, 2013, p. 15–24].

1. *Партии не являются унитарными акторами.* В многоуровневых системах как минимум отделения национальных партий обладают определенной автономией и могут иметь собственные цели и интересы.

2. *Цели партий могут быть разными.* В многоуровневых системах партии одновременно преследуют несколько целей на нескольких уровнях политического процесса.

3. *Политический процесс многомерен.* В многоуровневых политических системах, как правило, существует как минимум

одно дополнительное измерение политики, которое необходимо учитывать в анализе позиций партий, – отношения между центром и регионами.

4. *Коалиционный процесс представляет собой многоуровневую игру (nested games)*. В многоуровневых политических системах партии координируют свои действия сразу на нескольких площадках – национальном и субнациональном уровнях выборов.

Представляется, что создание единой теории коалиционного строительства, которая, с одной стороны, не теряла бы связь с основополагающими теоретическими наработками методологических националистов, а с другой – могла бы успешно применяться для объяснения и прогнозирования коалиций, формируемых на разных уровнях власти, должно быть основано на трех базовых принципах: *адаптивности, интегрированности и многоуровневости*.

Адаптивность единой теории коалиционного строительства предполагает, что ее структурные элементы должны быть устойчивыми и при этом в достаточной мере «гибкими». Наряду с «ядром» теории, которое уже практически сформировано классическими концепциями и моделями, она должна обладать наборами аналитического инструментария, подходящего для анализа отдельных случаев или групп случаев коалиционного строительства. Их конфигурация может меняться в зависимости от специфики той или иной политической системы. В этом случае «включение» в конкретную объясняющую модель, используемую исследователем, либо «выключение» из нее отдельных концепций должно происходить без потери в качестве объяснения и прогнозирования.

Интегрированность такой теории означает, что она включает в себя лучшие и наиболее перспективные концепции и модели, разработанные в рамках разных методологических подходов. Такая теория концентрируется на точках соприкосновения и взаимодополняемости этих моделей, а не на их различиях. При этом каждая релевантная концепция становится полноценным структурным элементом, который может войти в «ядро» единой теории, а может оказаться в ее опциональной части и применяться при необходимости. В единой теории институциональные ограничения и теоретико-игровые модели поведения партий становятся ее равнозначными и взаимосвязанными составляющими, служащими общей цели повышения точности объяснения и прогноза случаев коалиционного строительства.

Многоуровневость единой теории коалиционного строительства указывает на то, что среди ее структурных элементов присутствуют концепции, разработанные в рамках методологического регионализма для объяснения создания коалиций в многоуровневых системах. Такие концепции должны преимущественно располагаться в опциональной части теории и «подключаться» к объяснению в соответствующих случаях. При этом, учитывая разнонаправленность каузальных связей в коалиционном строительстве между центром и регионами, следует теоретически проработать и включить в единую теорию *top-down* (национальный контекст влияет на коалиционное строительство в регионах), *bottom-up* (региональный контекст влияет на коалиционное строительство в центре) и *one-to-one* (коалиционное строительство в одних регионах влияет на формирование коалиций в других регионах) критерии формирования коалиций.

Подходящим форматом для объясняющих моделей в рамках единой теории коалиционного строительства может выступить так называемая коалиционная формула, которая будет состоять из суммы релевантных для анализируемых политической системы / уровня выборов критериев. Каждая переменная в такой формуле должна быть соответствующим образом операционализирована: например, минимальная связанная выигрышная коалиция; положительный коалиционный сигнал; полная конгруэнтность и т.д. Индикатором переменных должно выступить наличие (1) или отсутствие (0) признака. Коалиционная формула в конечном счете будет выдавать «коалиционную оценку» – сумму баллов, которые получил каждый проанализированный коалиционный проект. Вероятность (т.е. предпочтительность) создания коалиции в такой модели прямо пропорциональна оценке: чем выше коалиционная оценка, тем более предпочтительна коалиция. При этом количество критериев, заложенных в формулу, и максимальный балл могут меняться в зависимости от анализируемой политической системы в соответствии с принципами, обозначенными выше. Формат «коалиционной формулы» представлен здесь в самом общем виде для продолжения дискуссии о воплощении единой теории коалиционного строительства и требует дальнейшей проработки и тестирования.

Разработка эффективного алгоритма для интеграции всего массива существующих теорий, концепций и моделей, объясняю-

щих коалиционное строительство не только с позиций разных методологических подходов (теории игр, рационального выбора и нового институционализма), но и с позиций методологий разного уровня (национализм vs регионализм в теориях коалиций), призвана решить «парадокс слепцов и слона», заявленный в начале данной статьи. Разделяя общие принципы и объединяя на их основе усилия в рамках единой теории коалиционного строительства, «слепцы» если и «не прозреют», то хотя бы сумеют поделиться друг с другом своими представлениями, интегрировать свое знание, а значит, познать «слона» в той степени, в которой это позволяют существующие подходы и методы политической науки.

Список литературы

- Austen-Smith D., Banks J.* Elections, coalitions, and legislative outcomes // *American political science review*. – Baltimore, Md, 1988. – Vol. 84. – P. 405–422.
- Autonomist parties in Europe: Identity politics and the revival of the territorial cleavage / L. de Winter, P. Lynch, M. Gomez-Reino Cachafeiro, Acha B. (eds.).* – Barcelona: ICPS, 2006. – 557 p.
- Axelrod R.* A Coalition theory based on conflict of interest // *Interorganizational relations. Selected writings / W.M. Evan (eds.).* – Harmondsworth: Penguin, 1978. – P. 44–54.
- Axelrod R.* Conflict of interest. – Chicago: Markham, 1970. – 216 p.
- Baron D.P., Diermeier D.* Elections, governments, and parliaments in proportional representation systems // *Quarterly journal of economics*. – Oxford, 2001. – Vol. 116. – P. 933–967.
- Budge I., Herman V.* Coalitions and government formation: An empirically relevant theory // *British journal of political science*. – Cambridge, 1978. – Vol. 8. – P. 459–477.
- Budge I., Keman H.* Parties and democracy. – Oxford: Oxford univ. press, 1990. – 256 p.
- Budge I., Laver M.* The policy basis of government coalitions: A comparative investigation // *British journal of political science*. – Cambridge, 1993. – Vol. 23. – P. 499–519.
- Caramani D.* The nationalization of politics. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2004. – 349 p.
- Coalition governments in Western Europe / Müller W.C., Strom K. (eds.).* – N.Y.: Oxford univ. press, 2003. – 624 p.
- Cutler F.* One voter, two first-order elections? // *Electoral studies*. – Amsterdam, 2008. – Vol. 27. – P. 492–504.
- Däubler T., Debus M.* Government formation and policy formulation in the German states // *Regional and federal studies*. – L., 2009. – Vol. 19. – P. 73–95.
- De Swaan A.* Coalition theories and cabinet formations. – Amsterdam: Elsevier, 1973. – 347 p.

- Debus M.* Office and policy payoff s in coalition governments // Party politics. – Thousand Oaks, CA, 2008. – Vol. 14, N 5. – P. 515–538.
- Debus M.* Pre-electoral alliances, Coalition rejections, and multiparty governments. – Baden-Baden: Nomos, 2007. – 228 p.
- Debus M.* Pre-electoral commitments and government formation // Public choice. – N.Y.: Springer Science+Business Media, 2009. – N 138. – P. 45–64.
- Decker F.* Koalitionsaussagen der Parteien vor Wahlen. Eine Forschungsskizze im Kontext des deutschen Regierungssystems // Zeitschrift für Parlamentsfragen. – Baden-Baden: Nomos, 2009. – Vol. 40. – S. 431–453.
- Deemen A., van.* Dominant players and minimum size coalitions // European journal of political research. – Malden, Mass., 1989. – Vol. 17. – P. 313–332.
- Elazar D.J.* Exploring federalism. – Tuscaloosa: The univ. of Alabama press, 1987. – 335 p.
- Gamson W.* A theory of coalition formation // American sociological review. – Menasha, Wis, 1961. – Vol. 26, Iss. 3. – P. 373–382.
- Geys B., Heyndels B., Vermeir J.* Explaining the formation of minimal coalitions: Anti-system parties and anti-pact rules // European journal of political research. – Malden, Mass., 2006. – Vol. 45. – P. 957–984.
- Golder S.* Pre-electoral coalition formation in parliamentary democracies // British journal of political science. – Cambridge, 2006 a. – Vol. 36. – P. 193–212.
- Golder S.* Pre-electoral coalitions in comparative perspective: A test of existing hypotheses // Electoral studies. – Amsterdam, 2005. – Vol. 24. – P. 643–663.
- Golder S.* The logic of pre-electoral coalition formation. – Columbus: Ohio State univ. press, 2006 b. – 209 p.
- Hooghe L., Marks G.* Unraveling the central state, but how? Types of multi-level governance // American political science review. – Baltimore, Md., 2003. – Vol. 97, N 2. – P. 233–243.
- Jeffery C.* The challenge of territorial politics // Policy and politics. – Bristol, 2008. – Vol. 36. – P. 545–557.
- Laver M.* Models of government formation // Annual review of political science. – Palo Alto, CA, 1998. – Vol. 1. – P. 1–25.
- Laver M., Schofield N.* Multiparty government: The politics of coalition in Europe. – Oxford: Oxford univ. press, 1990. – 308 p.
- Laver M., Shepsle K.* Making and breaking governments: Cabinets and legislatures in parliamentary democracies. – Cambridge: Cambridge univ. press, 1996. – 301 p.
- Leiserson M.A.* Factions and coalitions in one-party Japan: An interpretation bases on the theory of games // American political science review. – Baltimore, Md., 1968. – Vol. 62. – P. 770–787.
- Marks G., Hooghe L., Schakel A.H.* Measuring regional authority // Regional and federal studies. – L., 2008 a. – Vol. 18. – P. 111–121.
- Marks G., Hooghe L., Schakel A.H.* Patterns of regional authority // Regional and federal studies. – L., 2008 b. – Vol. 18. – P. 167–181.
- Martin L.W., Stevenson R.T.* Government formation in parliamentary democracies // American journal of political science. – N.Y., 2001. – Vol. 45, N 1. – P. 33–50.

- Müller W. Koalitionstheorien // Politische Theorie und Vergleichende Regierungslehre / Helms L., Jun U. (eds.). – Frankfurt a.M.; N.Y.: Campus, 2004. – S. 267–301.
- Neumann J., von, Morgenstern O. Theory of games and economic behavior. – Princeton: Princeton univ. press, 1944. – 625 p.
- Powell G.B. Elections as an instrument of democracy: majoritarian and proportional visions. – New Haven: Yale univ. press, 2000. – 312 p.
- Regional government formation in varying multilevel contexts: A comparison of eight European countries / Bäck H., Debus M., Müller J., Bäck H. // Regional studies. – L., 2013. – P. 1–20. – Mode of accesse: <https://www.researchgate.net/publication/262971380> (Accessed: 01.11.2017.)
- Reif K., Schmitt H. Nine second-order national elections: a conceptual framework for the analysis of European election results // European journal of political research. – Malden, Mass., 1980. – Vol. 8. – P. 3–44.
- Riker W.H. The theory of political coalitions. – New Haven: Yale univ. press, 1962. – 300 p.
- Roberts G. Party system change in West Germany: Land-federal linkages // West European politics. – L., 1989. – Vol. 13, N 4. – P. 98–113.
- Sartori G. Parties and party systems: A framework for analysis. – Cambridge: Cambridge univ. press, 1976. – 370 p.
- Schakel A.H., Jeffery C. Are regional elections really second-order' elections? // Regional studies. – L., 2013. – Vol. 47, N 3. – P. 323–341.
- Ştefuriuc I. Government formation in multi-level settings: Party strategy and institutional constraints. – Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan, 2013. – 181 p.
- Ştefuriuc I. Government formation in multi-level settings: Spanish regional coalitions and the quest for vertical congruence // Party politics. – Thousand Oaks, CA, 2009. – Vol. 15. – P. 93–115.
- Strom K., Budge I., Laver M.J. Constraints on cabinet formation in parliamentary democracies // American journal of political science. – N.Y., 1994. – Vol. 38, N 2. – P. 303–335.
- Warwick P.V. Policy horizons and parliamentary government. – Houndmills: Palgrave: Macmillan, 2006. – 242 p.
- Wimmer A., Glick Schiller N. Methodological nationalism and beyond: Nation-state building, migration and the social sciences // Global networks. – N.Y., 2002. – Vol. 2, N 4. – P. 301–334.

А.А. Порецкова*

**БУДУЩЕЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ:
ДИСКУССИЯ О ЛЕГИТИМАЦИИ НАУЧНОГО
ЗНАНИЯ НА ПРИМЕРЕ ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ
И ПОСТСТРУКТУРАЛИСТСКОЙ ТРАДИЦИИ**

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению функционального противоречия политической теории через призму гуманистической и постструктуралистской традиции. В центре внимания находится вопрос о статусе и способе легитимации полученного знания и тех последствиях для предметного поля, которые они могут вызвать. В статье представлено несколько разделов, в рамках которых рассмотрены внешний и внутренний аспекты методологической рефлексии политической теории, а также сделан вывод о возможном пути развития политической теории в будущем.

Ключевые слова: методология политической науки; политическая теория; теории «среднего уровня»; гуманизм; постструктурализм; легитимация научного знания.

A.A. Poretskova

**Future of political theory: Problem of knowledge legitimization through
dichotomy of humanism and poststructuralist tradition**

Abstract. Article tries to shed light upon the political theory functional contradiction through the dichotomy of humanistic and post-structuralist tradition. In the nutshell, there is a question about the status and the process of legitimization of the scientific knowledge and its corresponding consequences. Several sections of the articles are

* **Порецкова Анастасия Анатольевна**, преподаватель и аспирант факультета социальных наук департамента политической науки Национального исследовательского университета Высшая школа экономики, e-mail: poretskova.a@gmail.com

Poretskova Anastasia, National Research University Higher School of Economics (Moscow, Russia), e-mail: poretskova.a@gmail.com

dedicated to external and internal aspects of the methodological reflection within political theory domain. Conclusion is drawn on a possible way of political theory development in the future.

Keywords: methodology of political science; political theory; «middle-range» theories; humanism; post-structuralism; legitimization of scientific knowledge.

Наследие методологической рефлексии относительно перспектив политической теории и ее места в политической науке до сих пор остается значимым по причине отсутствия универсальной трактовки статуса и характеристик политической науки как дисциплины. С одной стороны, присущая политической науке междисциплинарность не позволяет говорить о «чистоте» методологических подходов, с другой стороны, нельзя отрицать стремление политической науки быть, в терминах Т. Куна, «нормальной» [Кун, 2001]. Выявление факторов, способствующих или препятствующих размыванию предметного поля политики, в перспективе поможет ответить на вопросы о статусе различных методологических подходов, тенденциях последующего развития политической науки и т.п. Между должным и сущим политическая теория отдает предпочтение решению проблем должного порядка, однако, преследуя эту цель, ни одна политическая теория не оставляет без внимания эмпирический материал, который служит ей опорой и иллюстрацией проблем и вызовов, решаемых в рамках того или иного исследования. Из этого можно сделать вывод о том, что политическая теория нацелена на *производство нового знания*, что является одной из фундаментальных задач любой науки. Следовательно, акцент исследовательского интереса на области политической теории не исключает теоретизирования о состоянии политической науки в целом, в силу специфики и функциональной значимости политической теории.

Говоря о статусе научного знания в рамках политической науки, возможно выделить проблему нарастающего массива теоретического знания и появления новых теорий и концептов – и это на фоне существующего мнения о том, что политическая теория более не способна на *производство нового знания*. В данной формулировке принципиально различие между *производством* и *воспроизводством* научного знания, которое будет впоследствии раскрыто через эпистемологический конфликт между гуманистической и постструктуралистской научными традициями. Большое

внимание данному различию уделяет социальная эпистемология, в которой прослеживаются две основные школы мысли, различающиеся в своей трактовке правды и функций научного знания. С одной стороны, есть взгляд, который не отрицает возможности соблюдения позитивистских предпосылок относительно статуса научного знания (даже при условии влияния социальных факторов на процесс конструирования научного знания) [Goldman, 1994]. Второй подход более релятивистский, он принимает во внимание исторические траектории развития научных дисциплин [см.: Fuller, 1992; Remedios, 2003] и ставит под сомнение возможность соблюдения позитивистских требований к эпистемологическому уровню научного познания, что приводит к более мягким и менее формализованным правилам легитимации научного знания.

Другим важным аспектом в понимании различий между производством и воспроизводством знания является вопрос о *легитимности научного знания* и атрибутах, которые приписываются научному знанию. Ж.-Ф. Лиотар еще в 1979 г. сравнил процесс легитимации научного знания с феноменом легитимности в политике: знание требует оправдания и обоснования научности через критерии, которые должны быть установлены внешними по отношению к научному процессу стейкхолдерами [Lyotard, 1984]. В самой простой трактовке легитимация научного знания приводит к признанию этого знания в качестве научного и закреплению за ним функции научного, а не только семантического объяснения.

Я придерживаюсь взгляда, что оценка какой-либо дисциплинарной области на предмет способности или неспособности производства нового знания является не больше чем установлением авторитета и продуктом властного взаимодействия, где стейкхолдерами могут выступать как исследовательские традиции (методологические школы), так и отдельные исследователи. Установление определенных эпистемологических критериев приводит нас к различным подходам, методам и инструментам, используемым в исследовании. Выявление факторов, лежащих в основе легитимации или делегитимации научного знания, позволяет глубже понять социальную природу конструирования научного знания и приводит к переосмыслению статуса методологических школ и исследовательских инструментов, которые используются в тех или иных исследовательских рамках. На примере политической науки есть возможность проследить, как погоня за статусом «нормальной»

науки не укрепляет дисциплинарное поле [Ball, 1976], а размывает его, маргинализирует ряд исследовательских традиций, заставляет исследователей отказываться от инструментов, которые адекватны соответствующим эмпирическим феноменам, но не принимаются в качестве *легитимных*. В данной статье эта проблема рассматривается на примере политической теории.

Под политической теорией здесь и далее понимается субдисциплина политической науки, которая тяготеет к работе с политическими «фактами» и реальными эмпирическими феноменами, целью которой является выработка ряда законов, охватывающих жизнь политического мира [см.: Raphael, 1990; Kelly, 2006]. Задуманный в рамках данного исследования анализ ограничивается рядом предпосылок и допущений. Во-первых, значительное ограничение заключается в том, что инструментальный подход приравнивается к *производству* знания, а чистое теоретизирование якобы не может преследовать практических целей. Однако дискуссия, начавшаяся в середине XX в. самими теоретиками, и логика разделения, проиллюстрированная на примере гуманистической и постструктуралистской традиции, во многом подтверждают данный тезис. Во-вторых, функции, выбранные в качестве предмета исследования, являются в значительной степени результатом искусственного аналитического выбора. Тем не менее они наилучшим образом отражают специфику процессов делегитимации научного знания.

Статья поделена на несколько разделов. В первом из них будет описан экзогенный взгляд на область теоретического знания и позиционирование политической теории относительно других областей политического знания. Во втором разделе будет представлен эндогенный взгляд на функциональные противоречия политической теории. В последнем разделе будет разобрано функциональное противоречие политической теории с точки зрения гуманистической и постструктуралистской научных традиций.

Почему политическая теория больше не производит нового знания: Внешний аспект

Существование и необходимость политической теории практически никогда не ставятся под сомнение, однако мнения о том, какие цели преследуют теоретики, и если преследуют, то каким

принципам они должны следовать и каким стандартам соответствовать, могут сильно различаться. Если бы мы, движимые теми же исследовательскими интересами, оказались в реальности 1960 г., мы бы погрузились в жаркую дискуссию о функциях и цели политической теории как таковой. К примеру, в ней принимал косвенное участие Лео Штраус, заинтересовавшийся вопросом о том, для чего необходимы историческая мысль и политическая философия. Основной критике он подвергал инструментальный подход к политической теории, утверждая, что политическая философия может и должна достигать объективного и беспристрастного знания, а если мы придерживаемся инструментального подхода, то неизбежно находимся под влиянием некоторого мнения и обстоятельств, а что препятствует обнаружению объективного знания [Штраус, 2000, с. 11–12].

У Лео Штрауса были оппоненты: Арнольд Кауфман в своей статье «Природа и функции политической теории» 1954 г. выступал в качестве оппонента «пуристского» подхода к политическому теоретизированию. Он считал, что политическая теория должна быть инструментальной, а основная ее функция заключается в выработке принципов для решения конкретных социально-экономических проблем [Kaufman, 1954, p. 5]. То есть он не отнимал у политической теории права на нормативное теоретизирование и на выработку «вечных идеалов», однако требовал, чтобы существовали еще так называемые «средние идеалы», которые могли бы стать основой для формулирования политических рекомендаций. Таким образом, он призывал к симбиозу между политической теорией и идеей теорий «среднего уровня»¹, что, конечно, противоречило идеалистическому подходу Л. Штрауса.

Мнение А. Кауфмана не выдержало проверки временем, и инструментальный «проект» политической теории в итоге провалился. Политическая теория «не согласилась» на роль источника теорий «среднего уровня», а значит, по мнению И. Берлина, исчезла как дисциплина, так как дисциплина исчезает в тот момент, когда ее место занимает любая другая [Берлин, 2002, с. 81]. В случае с идеей «инструментальной» политической теории так и произошло: ее место занял политический анализ как прикладное направление в рамках политической науки. Политический анализ, успешно

¹ Подробнее о теориях «среднего уровня» см.: [Boudon, 1991, p. 519–522].

связывающий концептуализацию, которая не обязательно соблюдает норму теоретической фундированности, с эмпирическим материалом, способен вырабатывать те самые теории «среднего уровня», чем близок к стандартам и характеру «обоснованной теории». В рамках данного типа теорий концепты, лежащие в основе операционализации, служат настройке фокуса исследовательского внимания и установлению темпоральных, географических или иных рамок проблемы исследования. Остальные задачи в рамках исследовательского проекта достигаются при помощи валидного и надежного аналитического инструментария прикладного политического анализа. Таким образом, поражение «инструментального подхода» означает, что у политической теории недостаточно потенциала в вопросе влияния на существующую политическую реальность (по мнению определенной части эпистемического сообщества) [см.: Dunn, 2012].

Почему политическая теория больше не производит нового знания: Внутренний аспект

Как было отмечено в предыдущем разделе, «инструментальный» подход к политической теории провалился, встретив критику от определенной части эпистемического сообщества. Критика заключалась в тезисе о неспособности политической теории, в отличие от других областей политического знания (например, политического анализа), создавать теории «среднего уровня». Следовательно, чтобы достичь наиболее полного и разностороннего взгляда на проблему функциональности политической теории, необходимо рассмотреть внутреннюю логику данной области знания, обозначив те функции, которые постулируются в качестве доминирующих в рамках политической теории. Следует отметить, что я акцентирую внимание на двух функциях политической теории, что является субъективным аналитическим выбором.

Для решения проблемы, поставленной в рамках данной статьи, я хочу остановиться на следующих функциях: обеспечение концептуальной и аналитической *ясности* и конструирование новых политических концептов [Finifter, 2009, p. 213]. Первая функция предполагает объяснение уже существующих институтов и социально-экономических процессов, посредством чего обеспечи-

вается процесс легитимации существующего положения дел, что уже в большей степени имеет отношение к миру эмпирического. Например, обоснование какого-либо политического проекта и дизайна принятия решений или определенного политического режима. Интерпретация второй функции более очевидна и понятна, так как предполагает обнаружение новых политических концептов.

Несмотря на то что вторая функция понятна, она далеко не однозначна в контексте обсуждаемого вопроса. Здесь, по моему мнению, кроется главная проблема в функциональном противоречии политической теории: если мы создаем новые политические концепты (пусть даже они соответствуют новым политическим явлениям и феноменам), то как они соотносятся с уже имеющимися? Они их подрывают или же они их переосмысливают? Если мы придерживаемся тезиса о переосмыслении, то функция создания нового политического концепта сводится к функции достижения концептуальной и аналитической *ясности*. То есть мы создаем новые концепты, чтобы подкрепить старые с целью их адаптации к меняющейся реальности, но меняются ли принципиально вследствие этого сами теории? И, самое главное, *производится ли новое знание*?

Данное противоречие усложняется еще и тем, что в рамках первой функции также существует необходимость легитимации не только существующего порядка вещей, но и академической дисциплины в целом. Функции, которые исполняет дисциплина, при ответе на определенные вопросы достаточно просты: 1) если мы не знаем ответа на поставленный вопрос, мы, тем не менее, должны быть уверены в том, какой методологический инструментарий использовать для того, чтобы найти ответ; 2) в рамках дисциплины также необходим консенсус по поводу соответствия предметной области и метода, т.е. как и что необходимо измерять (в эпистемологических категориях – достижение внутренней валидности получаемого научного знания) [Берлин, 2002, с. 81–82]. В итоге задавать вопросы, на которые у нас заведомо не существует инструмента для ответа, *нелегитимно*, и в результате продукт исследовательского проекта оказывается вне рамок институционального консенсуса. Однако мой вопрос заключается в том, является ли отсутствие инструмента познания необходимым и достаточным условием для определения научного знания в качестве *нелегитимного*?

Одна из причин, по которой знание может считаться *нелегитимным* – это отсутствие *ясности* в его выражении и описании.

Ясность можно воспринимать как идеологический конструкт в рамках академической дисциплины, как, например, термин «демократический» по отношению к режиму. Согласно одной из точек зрения, если режим демократичен, он по определению легитимен, соответственно, государство может рассчитывать на партнерство и сотрудничество с другими странами. Похожим образом, если текст, работа, теория *ясны* академическому сообществу, то, скорее всего, такой продукт научного познания признаётся в качестве *легитимного* и впоследствии не будет исключен из логики систематического накопления научного знания. «Ясность¹ – это разделение, устанавливающееся с точки зрения властной позиции, и именно оно санкционирует то, что в итоге будет считаться или не считаться легитимным» [Popkewitz, 1997, p. 18].

Причина, по которой я определяю термин «ясность» в категориях идеологической принадлежности, заключается в том, что не все парадигмы (или научно-исследовательские программы, в терминах И. Лакатоса) в рамках социальных наук придерживаются описанной выше позиции. Такой индикатор *легитимности* научного познания нельзя считать универсальным, он, например, совершенно не приемлем для представителей конструктивистского лагеря, которому чужда идея монополизации научного знания самим субъектом познания. Отдавая предпочтение субъекту социального действия в вопросе поиска, получения и выражения истины, они стремятся не к научной, а *семантической ясности*, целью которой является установление эпистемологической связи между субъектом и объектом познания. В связи с этим следующий раздел посвящен рассмотрению гуманистической и постструктуралистской научных традиций, репрезентирующих собой две противоположные точки зрения на статус получаемого научного знания.

Функциональное противоречие политической теории через дихотомию гуманистической и постструктуралистской традиции

Гуманистическая традиция научного познания является конвенциональной и доминирующей, ее источником выступают идеи

¹ Clarity – в оригинале (англ.)

Просвещения, которые приписывают индивиду способность *воспроизводства* объективного знания. Традиционные значения категорий «язык», «знание», «рациональность», «истинность» воспроизводятся именно в рамках гуманистической традиции [Adams, Pierre, 2000, p. 477–515], которая во многом опирается на общие принципы позитивизма: существование объективного мира, логики кумулятивного наращивания знания и внутренней непротиворечивости системы накопленного знания [Moses, Knutsen, 2012, p. 20–22].

В качестве противоположной традиции и оппонента в свое время выступила критическая теория. Франкфуртская школа определила проблему традиционного (или классического подхода) теоретизирования как оторванного от контекста и слишком абстрактного анализа [Dallmayr, 1984, p. 471]. М. Хоркхаймер утверждал, что критическая теория представляет собой теоретизирование, опирающееся на социально-экономический контекст, и в этом заключается ее главное отличие от гуманистической традиции, которая, в свою очередь, критиковалась им за слишком высокий уровень абстракции [Horkheimer, 1939]. Однако уже было зафиксировано, что «инструментальный» подход к пониманию цели политической теории оказался неудачным и не соответствующим современным реалиям и эмпирическим вызовам, с которыми столкнулась политическая теория; по мнению ряда теоретиков, такой подход привел ее к маргинальности и нелегитимности. Тем не менее одна из задач заключается не просто в постулировании мнения, согласно которому политическая теория и производимое ей знание нелегитимны, а в том, *как именно происходит процесс делегитимации знания в рамках политической теории.*

Необходимо отметить, что критическая теория, которая действительно выступает научной оппозицией «традиционной» гуманистической, оказалась в противоречии не только с гуманистической традицией, но и с постструктуралистской. Чтобы показать противоречие между критической теорией и антигуманистической традицией, можно воспроизвести критику Юргена Хабермаса по отношению к постмодернистским проектам и их результатам и, посредством мыслительного эксперимента, смоделировать ответ антигуманистов на данный интеллектуальный выпад.

Воспроизводя риторику «гуманистического антигуманизма» [см.: Davies, 2008], как это назвал в своей книге «Гуманизм» Тони Дэвис, Ю. Хабермас достаточно четко выразился по поводу про-

блемы критики разума: если постмодернистская критика пытается вскрыть «диктаторский способ мышления», если разум действительно правит человеком, его телом, практиками и так далее, то что постмодернистский дискурс может предложить взамен? [см.: Habermas, 1987]. Постмодернисты (например, Мишель Фуко или Жан Лиотар) могли бы ответить на это: несмотря на отсутствие позитивной программы критики гуманизма, они хотя бы не используют те категории, которые предназначены для установления властных отношений в рамках академического знания. Например, что «язык науки должен быть понятным», что «философия может и должна воспроизводить объективное и надежное знание», или что «если правильно использовать законы логики, то выводное знание окажется истинным» [Flax, 1990, p. 41–42].

Обвинение в отсутствии позитивной программы для последующего социального или политического действия в сторону антигуманистов возвращает нас к проблеме *легитимности* знания. Ю. Хабермас пишет: «...эти дискурсы не могут дать отчет о конкретной точке своего приложения. Негативная диалектика, генеалогия и деконструкция не подпадают под критерии, по которым (отнюдь не случайно) дифференцировалось современное знание и которыми мы в наши дни руководствуемся при толковании текстов. Их нельзя однозначно отнести к философии или науке, к теории морали и права, к литературе и искусству» [Хабермас, 2003, с. 347]. Почему Ю. Хабермас утверждает, что методы познания в рамках постмодернизма нельзя отнести к философии или науке? Один из возможных ответов на данный вопрос заключается в отсутствии надежных критериев объективности и противоречии логике концептуальной и аналитической *ясности*. Методы, указанные Ю. Хабермасом, скорее тяготеют к использованию «эклектичного» симбиоза различных методологических направлений, что неизбежно умножает количество новых политических концептов, которые обретают статус *неясных* или даже *маргинальных*, с точки зрения «чистых» методологических школ.

Вот еще одно мнение относительно исследований, проведенных в рамках постструктуралистской традиции: «...почти что *мистический* характер некоторых критических работ приводит к тому, что они не *уточняют* (в оригинале – clarify) базовые понятия и не пишут *ясным* образом (в оригинале – clearly), что не способствует распространению их влияния, а скорее только ограничи-

вает его» [Apple, 1990, p. 4]. И снова мы сталкиваемся с категорией *ясности* не как с критерием оценивания исследовательской работы, а как с инструментом *делегитимации* полученного знания. Стоит также обратить внимание на имплицитное указание должной задачи исследовательского проекта, заключающейся в уточнении базовых понятий, а не создании принципиально нового категориального аппарата. Не исключено, что М. Эппл подразумевал не просто базовые понятия, используемые конкретной теорией, а *уже существующие* понятия, используемые в ходе исследовательской работы.

На данном примере мы можем рассмотреть различие между *производством* и *воспроизводством* научного знания. По моему мнению, это две противоположные исследовательские стратегии, присущие позитивизму и конструктивизму в рамках социальных наук (или, иными словами, между количественным и качественным исследовательскими дизайнами). Логика *воспроизводства знания* относится к конвенциональной идее о легитимации научного знания в категориях «нормальной» науки, и это неизбежно приводит к зависимости нового исследовательского проекта от предыдущего знания, что не всегда позволяет решить исследовательские задачи признанными инструментами познания. Напротив, логика *производства научного знания* ближе к идее конструктивистского толка, где исследователь стремится к раскрытию новых социальных и политических феноменов через создание оригинальных понятий и инструментов, что, однако, может привести к *делегитимации* полученного знания.

Таким образом, доминирующая гуманистическая традиция выполняет функцию воспроизводства аналитической и концептуальной *ясности*, что, по моему мнению, не может служить основой для политического действия или изменения. Более того, это может оказаться пагубным для ряда аналитических задач, с которыми наука обязана справляться. Даже критическая теория в ее современном состоянии является «гуманистическим антигуманизмом» и не претендует на опровержение позитивистских принципов знания, истины, познания и теории. Критическая теория стала прагматичной и, интуитивно осознавая принципы, лежащие в основе механизмов легитимации знания, в общем и целом перестала выступать в качестве серьезного оппонента гуманистической традиции. Несмотря на выпады Ю. Хабермаса против утопичности, нецелесообразности и

нелегитимности постструктуралистской традиции, последняя в присущей ей толерантной манере в меньшей степени вступает в академическое противоборство, что снова приводит ее к краевому положению относительного институционального консенсуса. М. Фуко еще в 1984 г. писал о том, что «гуманизм – это не ошибка, и не стоит его отрицать полностью» [Фуко, 1999]. Это прекрасно иллюстрирует позицию постструктуралистской традиции относительно научного познания: все, что приводит к эффективному результату, должно быть принято во внимание, ведь основными критериями являются полезность и новизна полученного знания.

В связи с вышесказанным, идея «инструментальной» политической теории уже не кажется несостоятельной или незрелым проектом, так как именно через стремление к инструментальности политическая теория может вернуть (или в первый раз получить) связь с миром эмпирического, что должно привести ее к выполнению функции не просто *воспроизводства* уже существующего знания, но к созданию новых и уникальных теорий, способных решать проблемы современного политического мира.

* * *

Таким образом, через реконструкцию дискуссии о роли и цели политической теории мы познакомились с двумя наиболее влиятельными мнениями относительно ее места в системе политического знания: первое – это философский (классический) взгляд, второе – это «инструментальный» подход. При этом мы зафиксировали, что политическая теория действительно обвиняется в отсутствии способности к производству нового знания. *Производство* научного знания, в противоположность позитивистскому *воспроизводству*, тяготеет к инструментальному пониманию роли политической теории, где новые концепты порождают новые инструменты, а новые инструменты призваны решать реальные социально-политические проблемы. Чтобы составить полноценную картину, нам понадобилось рассмотреть две влияющие друг на друга области: экзогенные факторы, относящиеся к статусу дисциплины, и внутренние факторы, относящиеся к эндогенным функциям, присущим политической теории.

Одна из причин касается появления новых областей (дисциплин) политического знания, которые способны на производство такого знания, которого со временем стали требовать и от политической теории. К примеру, политический анализ – бурно развивающаяся область политической науки, призванная вырабатывать теории «среднего уровня» для получения политических рекомендаций и построения точных прогнозов, при этом в идеале используя эпистемологические критерии научного познания. С точки зрения инструментального подхода относительно политической теории способность политического анализа к прогнозу и решению реальных эмпирических вызовов действительно кажется важным фактором угасания политической теории как дисциплины. По мнению ряда ученых, политический анализ заменил собой слишком «абстрактную» политическую теорию.

Вторая причина заключается в эндогенном противоречии политической теории, в ее одновременном стремлении к аналитической и концептуальной ясности и производству новых политических концептов (последнее трактуется в рамках данной работы как попытка возвращения к инструментальной интерпретации роли и места политической теории). Однако, как это было показано на примере гуманистической и постструктуралистской традиции, эти функции противоречат друг другу. Каждая из функций исходит из разных эпистемологических предпосылок и придает научному познанию разное значение, придерживаясь противоположных стандартов легитимации полученного знания. На мой взгляд, внутренняя логика сохранения знания именно в рамках гуманистической традиции становится последним прибежищем для политической теории, которая тем самым сохраняет свою внутреннюю целостность, а значит, бережно охраняет функцию воспроизводства аналитической и концептуальной ясности, что не позволяет ей вернуться на «инструментальный» путь.

Список литературы

- Берлин И.* Существует ли еще политическая теория? // *Берлин И.* Подлинная цель познания: Избр. эссе. – М.: Канон+, 2002. – С. 81–123.
- Кун Т.* Структура научных революций. – М.: АСТ, 2001. – 606 с.

- Фуко М. Что такое просвещение? // Вестник Московского университета. Сер. 9: Филология. – М., 1999. – № 2. – Режим доступа: <http://www.philology.ru/literature3/fuko-99.htm> (Дата посещения: 31.10.2017.)
- Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне. – М.: Весь Мир, 2003. – 416 с.
- Штраус Л. Что такой политическая философия? // Штраус Л. Введение в политическую философию. – М.: Праксис, 2000. – С. 9–50.
- Apple M. Series editor's introduction // Liston D. Capitalist schools. – N.Y.: Routledge, 1990. – P. 3–10.
- Adams St., Pierre E. Poststructural feminism in education: An overview // International journal of qualitative studies in education. – L., 2000. – Vol. 13, N 5. – P. 477–515.
- Ball T. From paradigms to research programs: Toward a post-Kuhnian political science // American journal of political science. – Hoboken, NJ, 1976. – Vol. 20, N 1. – P. 151–177.
- Boudon R. What middle-range theories are // Contemporary sociology. – N.Y., 1991. – Vol. 20, N 4. – P. 519–522.
- Dallmayr F.R. Is critical theory a humanism? // Boundary 2. – Durham, N.C., 1984. – Vol. 12–13. – P. 463–493.
- Dunn N.W. Public policy analysis: An introduction. – L.; N.Y.: Longman, 2012. – 480 p.
- Davies T. Humanism. – L.; N.Y.: Routledge, 2008. – 176 p.
- Finifter A.W. Political science. – Washington: FK Publications, 2009. – 307 p.
- Flax J. Postmodernism and gender relations in feminist theory // Feminism postmodernism / L.G. Nicholson (ed.). – N.Y.: Routledge, 1990. – P. 39–62.
- Fuller S. Social epistemology and the research agenda of science studies // Science as practice and culture / A. Pickering (ed.). – Chicago: Univ. of Chicago press, 1992. – P. 390–428.
- Goldman A. Argumentation and social epistemology // Journal of philosophy. – N.Y., 1994. – Vol. 91, N 1. – P. 27–49.
- Habermas J. The philosophical discourse of modernity: Twelve lectures. – Cambridge: MIT Press, 1987. – 430 p.
- Horkheimer M. The social function of philosophy // Studies in philosophy and social science. – N.Y., 1939. – Vol. 8, N. 3. – Mode of access: <https://www.marxists.org/reference/archive/horkheimer/1939/social-function.htm> (Accessed: 31.10.2017.)
- Kaufman A.S. The nature and function of political theory // The journal of philosophy. – Hanover, PA, 1954. – Vol. 51, N 1. – P. 5–22.
- Kelly P. Political theory: The state of the art // Politics. – Medford, MA, 2006. – Vol. 26, N 1. – P. 47–53.
- Lyotard J.-F. The postmodern condition: A report on knowledge. – Minneapolis: Univ. of Minnesota press, 1984. – 144 p.
- Moses J., Knutsen T. Ways of knowing: Competing methodologies in social and political research. – Oslo: NLB, 2012. – 368 p.
- Popkewitz T.S. A changing terrain of knowledge and power: A social epistemology of educational research // Educational researcher. – Washington, 1997. – Vol. 26, N 9. – P. 18–29.
- Raphael D.D. Problems of political philosophy. – L.: Macmillan, 1990. – 228 p.
- Remedios F. Legitimizing scientific knowledge: An introduction to Steve Fuller's social epistemology. – Lanham, MD: Lexington Books, 2003. – 153 p.

М.С. Турченко*

ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЕ РЕФОРМЫ В СРАВНИТЕЛЬНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

Аннотация. В статье рассматриваются подходы к пониманию причин трансформаций избирательных систем в сравнительной перспективе. С опорой на современную научную литературу обозначаются перспективные векторы в исследовательском направлении, связанном с изучением электоральных реформ, в частности подчеркивается важность изучения электоральной инженерии в недемократических политических режимах.

Ключевые слова: избирательные системы; электоральные реформы; электоральная инженерия; институциональные изменения.

M.S. Turchenko

Electoral reforms in comparative perspective

Abstract. This article surveys the main approaches to the causes of electoral reforms in comparative perspective. Based on the recent literature, perspective research paths to the analysis of electoral system reforms are highlighted. In particular, the attention is put on the importance of studying the phenomenon of electoral engineering in electoral authoritarian regimes.

Keywords: electoral systems; electoral reforms; electoral engineering; institutional changes.

* **Турченко Михаил Сергеевич**, преподаватель департамента прикладной политологии, аспирант НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, e-mail: mturchenko@hse.ru

Turchenko Mikhail, National Research University Higher School of Economics (St. Petersburg, Russia), e-mail: mturchenko@hse.ru

Введение

Больше трех десятилетий назад Аренд Лейпхарт заявил, что электоральные исследования – «наименее развитая дисциплина политической науки»¹ [Lijphart, 1985, p. 3]. Что произошло за это время? Конечно, три десятилетия не составляют эпохи, но определенные тенденции в развитии науки в подобном масштабе вполне различимы.

Обращает на себя внимание, во-первых, то, что с развитием компьютерных технологий увеличился объем электоральных данных и одновременно упростился доступ исследовательского сообщества к их обработке – это привело к увеличению количества работ, посвященных анализу различных аспектов избирательных систем. Во-вторых, одновременно с ростом числа исследований повысилось качество научной продукции: помимо дескриптивных работ появились и аналитические, построенные на формальном моделировании в рамках теории игр, а также статистическом анализе большого количества эмпирических данных [Grofman, 2016, p. 524].

Сегодня в научной литературе существует большой корпус исследований, посвященных изучению влияния избирательных систем на пропорциональность электоральных исходов и различные аспекты внутриполитической жизни, а именно: развитие партийных систем, внутреннюю структуру партий, поведение избирателей, коалиционные стратегии элит, стабильность и эффективность правительств, представительство меньшинств и т.д.²

В середине 2000-х годов Мэтью Шугарт констатировал, что сравнительное изучение избирательных систем – «разработанное исследовательское поле» [Shugart, 2005, p. 25]. Еще десятилетие спустя Бернард Грофман отметил, что «изучение избирательных

¹ Ту же мысль А. Лейпхарт высказывал и годом ранее [Lijphart, 1984, p. 435–436], но ее обоснованию он уделил тогда меньше внимания.

² Обзор литературы, посвященной изучению избирательных систем, со второй половины XIX в. до начала 1980-х годов можно найти у У. Райкера [Riker, 1982], а с начала 1990-х по 2000-е – у М.С. Шугарта [Shugart, 2005]. Об изучении избирательных систем в 1980-е (равно как и в более раннее время) писали Р. Таагепера и М.С. Шугарт [Taagepera, Shugart, 1989, p. 47–57]. Ключевые вопросы электоральных исследований, поднятые в 2000-х и начале 2010-х годов, освещены Б. Грофманом [Grofman, 2016].

систем стало центральным исследовательским направлением внутри сравнительной политологии» [Grofman, 2016, p. 524].

Важнейшей составляющей подобной динамики стало появление новых направлений в электоральных исследованиях. К одному из таких направлений относится изучение причин избирательных реформ. Если изменение отдельных параметров избирательных систем, как убедительно показано в научной литературе [Carey, 2017], может вести к принципиально иным политическим исходам, то выяснение обстоятельств электоральной инженерии крайне важно для понимания источников стабильности политических систем. По мнению М.С. Шугарта, изучение причин трансформации избирательных систем – новый ориентир для электоральных исследований XXI века [Shugart, 2005, p. 51].

На данный момент опубликовано несколько обзорных работ, подробно отражающих состояние дел в этом направлении [Benoit, 2007; Leyenaar, Hazan, 2011; Rahat, 2011; Colomer, 2017]. Ведется работа по уточнению фокуса и концептуального аппарата исследований. Вместе с тем, как отмечают М. Лиенар и Р. Хазан, электоральные реформы – всё еще во многом «неизведанная территория в политической науке» [Leyenaar, Hazan, 2011, p. 450]. Этому есть несколько объяснений [Shugart, 2005, p. 51]. Во-первых, анализ избирательных реформ в кросснациональном контексте требует более сложного теоретического основания и более изощренной квантификации, чем изучение эффектов избирательных институтов. Во-вторых, случаев избирательных реформ относительно немного, особенно если сравнивать с постоянно увеличивающимся объемом электоральной статистики в результате проведения различного рода выборов.

В настоящей статье разбираются теоретические подходы к пониманию причин электоральных реформ и обозначаются перспективные векторы научного поиска в области изучения избирательных систем как «зависимых переменных». Данное направление постепенно привлекает все большее внимание со стороны политологов и в ближайшее время может стать мейнстримом электоральных исследований.

Избирательные системы как «зависимые переменные»

С середины XX в., когда была опубликована работа М. Дюверже «Политические партии» [Duverger, 1959], избирательные системы привлекли к себе исследовательское внимание прежде всего как «независимые переменные» [Quintal, 1970, p. 752; Lijphart, 1985, p. 7–9; Leyenaar, Hazan, 2011, p. 437]. Вопросы влияния различных параметров избирательных систем на уровень партийной фрагментации, степень соревновательности и открытости выборов, стратегии политических элит и рядовых избирателей постепенно заняли одно из центральных мест политической науки. Вместе с тем, как отмечал М. Дюверже, «каждая политическая партия, очевидно, предпочитает избирательную систему, которая благоприятствует ей» [Duverger, 1984, p. 31]. Другими словами, избирательные системы могут рассматриваться и как «зависимые переменные» [Quintal, 1970, p. 752; Lijphart, 1985, p. 5–7; Leyenaar, Hazan, 2011, p. 437–438], изменяющиеся под влиянием различного рода факторов, не последними из которых являются рациональные вычисления политических акторов.

Одним из первых эту точку зрения выразил в 1968 г. Дж. Сартори, отметив, что избирательная система – «самый манипулируемый инструмент политики» [Sartori, 1968, p. 273]. Эта мысль разделялась Р. Таагеперой и М.С. Шугартом, подчеркивавшими, что «избирательные системы не возникают из вакуума, а формируются в ходе политических дебатов и борьбы» [Taagerera, Shugart, 1989, p. 234]. В том же ключе высказывался и А. Лейпхарт, считая, вслед за Дж. Сартори, что «электоральные правила, без сомнения, более манипулируемые, чем другие компоненты политической системы» [Lijphart, 1994, p. 139]. Здесь важно оговориться, что подход, в рамках которого избирательные системы рассматриваются как «зависимые переменные», не отрицает того, что они сами влияют на политический процесс. Как отметили Р. Таагепера и М.С. Шугарт, политическая реальность и избирательные системы находятся друг с другом в сложном двунаправленном взаимодействии [Taagerera, Shugart, 1989, p. 53]. Схожая позиция была представлена в книге Г. Кокса [Cox, 1998, p. 17], а также в более современных работах, например, статьях К. Бенуа [Benoit, 2007] и Ж. Коломера [Colomer, 2017]. К. Бенуа, в частности, писал: «Связь между избирательной и партийной системами обоюдная: электоральные институты фор-

мируют партийные системы, но при этом сами эти институты формируются в ситуации партийного соперничества» [Benoit, 2007, p. 364].

Несмотря на то что избирательные системы принимаются политиками для решения определенных институциональных задач и, следовательно, не являются исключительно экзогенными образованиями для той или иной политической системы, исследования, касавшиеся причин электоральных реформ, долгое время оставались немногочисленными. Лишь с середины 1990-х годов положение дел стало меняться [Leuenaar, Hazan, 2011, p. 438].

В частности, увеличилось число работ, авторы которых задавались вопросом о факторах трансформаций избирательных систем в различных страновых контекстах. Как отметила П. Норрис [Norris, 1995], причиной роста исследовательского интереса к избирательным системам как «зависимым переменным» стало то, что в 1990-е годы вопрос электоральных реформ вышел в центр повестки дня для Италии, Новой Зеландии, Японии, Великобритании и Израиля. Рефлексии на это был посвящен специальный выпуск журнала «*International Political Science Review*», вышедший в 1995 г. Кроме того, вопрос выбора избирательных систем встал в новых демократиях Центральной и Восточной Европы. Как результат – в феврале 2005 г. Международный институт за демократию и электоральное содействие (International Institute for Democracy and Electoral Assistance) выпустил пособие по электоральному дизайну [Reynolds, Reilly, Ellis, 2005], нацеленное на политиков и экспертное сообщество новых демократий. В 2011 г. был опубликован специальный выпуск журнала «*West European Politics*», посвященный осмыслению причин успехов и неудач избирательных реформ в устоявшихся и новых демократиях.

Основные подходы к изменению избирательных систем

По мнению К. Бенуа [Benoit, 2004; 2007], различные варианты объяснений процессов возникновения или изменения избирательных систем можно отнести к трем категориям в зависимости от того, какого рода агенты были у истоков электоральных преобразований: политические акторы (мотивы которых могли заключаться в преследовании частных либо общих интересов) или неперсонализиро-

ванные социальные, экономические или исторические обстоятельства, т.е. макроуровневые силы.

Отталкиваясь от последней категории, возникновение или изменение избирательных систем может быть объяснено историческим прецедентом – как в Пятой республике (Франция) [Elgie, 2005, p. 119]; или в послевоенных Италии и Австрии [Nohlen, 1984, p. 217]; структурой общества [Taagepera, Shugart, 1989, p. 97]; экономикой [Rogowski, 1987, p. 206]; решением нейтральной экспертной группы [Benoit, Schiemann, 2001]; волеизъявлением граждан в ходе референдума [Reynolds, Reilly, Ellis, 2005]; внешним влиянием [Benoit, 2004, p. 372] или случайностью. Случай, например, сыграл роль в установлении избирательной системы единого переходящего голоса в Ирландии, которая была принята после визита в 1911 г. в Дублин лорда Кортни – президента Британского общества пропорционального представительства (British Proportional Representation Society) [Benoit, 2007, p. 374]. Связь между принятием в тех или иных государствах определенных электоральных формул и географическими, историческими и политическими факторами проследили А. Блэ и Л. Массикотт [Blais, Massicotte, 1997].

В основе изменений избирательных систем могут лежать также мотивы политических акторов. Как писал Дж. Сартори, «то, что избирательные системы производят различные исходы... а также что электоральная инженерия может влиять на избирателя и изменять его поведение, всегда осознавалось политиками» [Sartori, 1968, p. 273]. По мнению Д. Куинтела, поскольку избирательные системы оказывают прямое влияние на распределение власти, а политики, в свою очередь, имеют непосредственное отношение к этому процессу, то «выбор определенного избирательного законодательства обязательно будет осуществлен в ходе переговорного процесса, а не отдан на откуп судьбы» [Quintal, 1970, p. 752]. Эту же позицию разделял Д. Нолен, отмечавший, что избирательные системы учреждаются в результате переговоров между противостоящими политическими силами в определенный период времени [Nohlen, 1984, p. 222].

Среди мотивов, которыми политики могли бы руководствоваться относительно правил электоральной конкуренции, может быть стремление к реализации общих интересов. В подобных ситуациях агенты принятия решений преследуют такие цели, как обеспечение справедливого представительства социальных групп,

создание условий для формирования по итогам выборов ответственного и эффективного правительства, конструирование системы сдержек и противовесов, например, против чрезмерной концентрации власти в руках одной политической силы и т.д. Принципу справедливого представительства социальных групп соответствует скорее пропорциональная избирательная система, а принципам эффективности и ответственности правительства и, следовательно, большей управляемости – плюральная и т.д. [Blais, 1991; Norris, 1997; Horowitz, 2003].

Другой фокус к пониманию электоральных реформ дает подход, основывающийся на том, что политические акторы¹ предпочитают такие избирательные системы, которые тесным образом соответствуют их частным интересам. Последние могут заключаться либо в стремлении к реализации определенной политики (policy-seeking), либо в желании получить (сохранить) выборные должности (office-seeking). Суть различий между этими перспективами в следующем. Руководствуясь стремлением к достижению власти (office-seeking), политические акторы не принимают в расчет соображения, связанные с созданием условий для формирования прочных поствыборных коалиций, что было бы основой для реализации отстаиваемых ими политик (policy-seeking) [Benoit, 2004, p. 368].

Причины изменений избирательных систем: Подход рационального выбора

Именно в рамках теории, утверждающей, что политические партии меняют параметры избирательных систем в целях максимизации своего представительства в легислатурах или минимизации издержек, связанных с электоральными вызовами (office-seeking model), было выполнено большинство работ, рассматривавших электоральные реформы в сравнительной перспективе.

Одним из первых, кто обратил внимание на то, что избирательные системы могут формироваться под влиянием рациональ-

¹ В работах западных исследователей, изучавших, как правило, случаи стабильных демократий с парламентской формой правления, основными акторами выступают политические партии.

ных соображений политических акторов, был Дж. Грамм [Grumm, 1958]. В статье 1958 г. он, анализируя на примерах Бельгии, Дании, Норвегии, Швейцарии и Германии основные положения работы М. Дюверже «Политические партии» [Duverger, 1959], сформулировал предположение, что утверждение в той или иной стране определенной избирательной системы зависело от констелляции, сложившихся в ней партий. Гипотеза Дж. Грамма была следующей: пропорциональная избирательная система утверждается там, где уже существует большое число партий, тогда как плюральная или мажоритарная формулы, сопряженные с высокой неопределенностью относительно победителей, будут менее привлекательны партиям в высококонкурентной среде [Grumm, 1958, p. 375].

Если Дж. Грамм только выдвинул гипотезу, что избирательные системы могут быть производными от систем партийных, то Д. Куинтал в своей статье 1970 г. целенаправленно рассматривал избирательные системы в качестве «зависимых переменных»: «Пересматривая традиционную аргументацию, можно предположить, что определенный тип партийной системы имеет тенденцию склоняться к определенному типу избирательной системы», – писал он [Quintal, 1970, p. 752]. Д. Куинтал, вслед за Э. Даунсом [Downs, 1957], исходил из того, что политические партии являются рациональными акторами, стремящимися к увеличению своего представительства во власти [Quintal, 1970, p. 753]. По мнению Д. Куинтала, чем более успешной на выборах и, следовательно, влиятельной оказывается некоторая партия, тем вероятнее, что она предпочтет диспропорциональные избирательные системы.

С. Роккан, опираясь на рационалистическую парадигму, предложил теорию, объясняющую причины электоральных реформ и широкого распространения пропорционального представительства в Европе на рубеже XIX–XX вв. [Rokkan, 1970]. По мнению С. Роккана, до Первой мировой войны пропорциональная система вводилась прежде всего в этнически гетерогенных государствах и служила цели представительства меньшинств. Однако после 1918 г. требования к адаптации пропорциональной избирательной системы были связаны с другими причинами. Во-первых, с ростом влияния социалистических партий ввиду расширения избирательного права, а во-вторых, с попытками старых партий в тех странах, где их позиции были слабы, сохранить свое положение.

ние в ситуации электоральной мобилизации рабочего класса [Rokkan, 1970, p. 157].

Предложенная С. Рокканом теория стала отправной точкой в поиске причин электоральных реформ в Европе на рубеже XIX–XX вв., активно развернувшихся спустя несколько десятилетий. К. Бош [Voix, 1999] на основе данных по 23 демократиям рассмотрел эволюцию их избирательных законов в период между 1875 и 1990 гг. Вслед за С. Рокканом, он пытался найти ответ на вопрос, почему в конце XIX – начале XX в. многие западные демократии перешли к системе пропорционального представительства. На основании статистического анализа К. Бош заключил, что избирательные системы изменяются по решению правящих партий, стремящихся к максимизации своего представительства. Пока электоральная конкуренция не меняется и существующий избирательный режим благоприятствует правящим партиям, избирательная система остается неизменной. Когда условия электоральной конкуренции претерпевают изменения (из-за появления новых групп избирателей или смены предпочтений граждан), правящие партии могут модифицировать избирательную систему. Когда новые партии сильны, а старые нет, то последние меняют избирательную систему с плюральной / мажоритарной на пропорциональную; но они не делают этого, если оказываются способными к координации вокруг какого-либо одного игрока. Когда же новые партии слабы, система непропорционального представительства сохраняется безотносительно к структуре старой партийной системы [Voix, 1999, p. 609]. Также К. Бош пришел к выводу, что высокая степень этнической и религиозной фрагментации при определенных условиях (отсутствие федерализма или дисперсное проживание меньшинств) поощряет адаптацию пропорциональной избирательной системы [Voix, 1999, p. 610].

Впоследствии, однако, теория К. Боша подверглась критике как в количественных [Blais, Dobrzynska, Indridason, 2005; Brambor, Clark, Golder, 2006; Cusack, Iversen, Soskice, 2007, 2010; Kreuzer, 2010], так и в качественных [Ahmed, 2010] по своему стилю исследования.

Ж. Коломер [Colomer, 2004, 2005, 2017], как и К. Бош [Voix, 1999, 2010], понимал избирательные системы в качестве производных от систем партийных. По заключению Ж. Коломера, политическим конфигурациям с единственной доминирующей партией

или двумя основными партиями соответствует стабильная избирательная система, строящаяся на исключаяющих принципах, которым в наибольшей степени соответствует принцип большинства. В плюралистичной же среде имеет место тенденция к установлению инклюзивных избирательных формул, таких, которые базируются на принципе пропорционального представительства. Крупные партии, будучи уверенными в своем электоральном потенциале, стремятся к исключению из сферы принятия решений менее влиятельных игроков. В то время как малые партии, либо сталкивающиеся с серьезными электоральными вызовами правящие партии, предпочтут утверждение таких «правил игры», при которых они сохраняют шансы на представительство даже в неблагоприятных условиях (*risk-averse strategy*). На основании проведенного кросснационального статистического анализа, охватившего 154 случая электоральных реформ в 94 странах начиная с XIX столетия, Ж. Коломер также сделал вывод о существовании тенденции к эволюции избирательных систем в сторону пропорционального представительства¹ [Colomer, 2004, p. 62]. К тем же данным исследователь пришел при анализе 219 выборов в 87 странах [Colomer, 2005, p. 17].

Модель изменения избирательных систем, построенную на рациональном поведении политических акторов (партий), предложил К. Бенуа [Benoit, 2004]. Разработанная им теория устанавливает, что электоральные реформы происходят в процессе выбора политическими партиями таких «правил игры», которые в наибольшей степени соответствуют их стремлению максимизировать свое парламентское представительство. Партии ранжируют институциональные альтернативы в нисходящем порядке относительно того, на какую долю мест они могут рассчитывать. Чтобы безошибочно связать различные конфигурации избирательных систем с собственными интересами, каждая партия стремится к получению информации, дающей возможность оценить ту долю голосов, которую она получит от каждой альтернативы. Эта информация включает в себя как ожидания относительно своей электоральной поддержки, так и ожидания относительно действия институциональных правил. Изменения избирательных институтов будут

¹ Эту тенденцию за два десятилетия до ее эмпирической проверки отметил А. Лейпхарт [Lijphart, 1984, p. 428].

происходить тогда, когда политическая партия или коалиция партий поддерживает альтернативу, которая принесет им больше мест, чем избирательная система, существующая на данный момент, но при условии, что они имеют достаточно власти для проведения этой альтернативы в жизнь. Избирательные системы не изменяются, когда ни партия, ни коалиция партий не располагают необходимыми ресурсами, чтобы адаптировать альтернативную избирательную систему, или когда избирательная реформа не воспринимается как возможность получения дополнительных парламентских мест [Benoit, 2004, p. 373–374].

С точки зрения Ш. Боулера, Т. Донавана и Дж. Карпа [Bowler, Donovan, Karp, 2006], политики, преследующие частный интерес, стремятся с помощью изменения параметров избирательных систем не столько к максимизации выгод, сколько к минимизации издержек. По мнению авторов, подход, предлагаемый К. Бенуа, не универсален и подходит для объяснения электоральных реформ в тех случаях, когда избирательная реформа инициируется инкумбентами, уверенными в своем положении, имеющими представление о том, как работают существующие правила, и стремящимися посредством их «настройки» к еще большему упрочению своих властных позиций в долгосрочной перспективе [Bowler, Donovan, Karp, 2006, p. 435].

Ш. Боулер, Т. Донаван и Дж. Карп, изучив установки политиков Австралии, Германии, Нидерландов и Новой Зеландии относительно изменения своих избирательных систем, пришли к выводу, что прежде всего ими движет частный интерес, связанный с обеспечением возможностей для своего избрания или переизбрания. Функционеры и рядовые члены победивших партий стремятся не столько к максимизации своего представительства в будущем, сколько к сохранению добытых позиций. Таким образом, они ориентированы в первую очередь на минимизацию издержек, связанных с риском не переизбраться на новый срок. Наиболее привлекательная стратегия минимизации рисков для политических партий в условиях демократии состоит в сохранении статус-кво. Поскольку правила проведения демократических выборов обычно не носят дискриминационного характера и допускают поражение правящей партии (или коалиции партий), то и новая власть — даже если ее представители находились долгое время в оппозиции, — зачастую не имеет стимулов к институциональным изменениям,

так как именно благодаря существующим правилам она и была избрана [Bowler, Donovan, Karp, 2006, p. 444].

Риск-минимизирующее поведение политиков относительно электоральных институтов обусловлено тем, что смена прежних правил новыми влечет за собой неопределенность, последствия которой они не в состоянии просчитать [Bowler, Donovan, Karp, 2006, p. 435]. Эта точка зрения восходит к статье Ж. Эндрюс и Р. Джекмана [Andrews, Jackman, 2005], в которой было отмечено, что рациональные акторы, стоящие перед необходимостью учреждения или изменения электоральных институтов, стремятся к максимизации выгод, но при этом осознают неопределенность, которая будет вызвана любым их решением, и поэтому поступают таким образом, чтобы минимизировать для себя возможные риски [Andrews, Jackman, 2005, p. 66].

Как считают Ж. Эндрюс и Р. Джекман, если у политиков и возникают стимулы к изменению электоральных правил, то либо по той причине, что, по их мнению, существующие правила не будут более им благоприятны, либо они уже сталкиваются с ситуацией значительной неопределенности. Это происходит там, где наблюдаются серьезные сдвиги в политических предпочтениях избирателей или происходят радикальные изменения в самой политической системе. Все это, по мнению исследователей, имело место в Западной Европе после Первой мировой войны, а также в странах Центральной и Восточной Европы после окончания холодной войны. Ученые нашли закономерным тот факт, что большинство западноевропейских стран в начале XX в. и страны Центральной и Восточной Европы в его конце приняли пропорциональную систему: «Пропорциональное представительство является самым безопасным выбором для партии, не уверенной в точной доле голосов, которую она получит» [ibid., p. 69].

Новые направления исследований избирательных реформ

В последнее время подход рационального выбора к пониманию причин электоральных реформ стал подвергаться критике. Например, П. Норрис считает эту модель слишком ограниченной за то, что единственными агентами электоральных изменений в ее рамках являются политические партии, а их единственным моти-

вом – максимизация представительства. В качестве более эвристичного исследовательского инструмента для понимания причин электоральных реформ П. Норрис предложила модель политического цикла (policy cycle model), которая, по ее мнению, имеет преимущество над рациональным подходом в том, что идентифицирует широкий перечень заинтересованных в преобразованиях акторов и предполагает ступенчатый процесс принятия политических решений [Norris, 2011, p. 536].

В рамках этой модели процесс принятия решений рассматривается как последовательность стадий. Первая – определение повестки дня. На этой стадии артикулируется потребность в электоральной реформе. Основными акторами здесь являются институты гражданского общества (партии, СМИ, НКО). Вторая стадия – принятие решения. На ней выдвигаются альтернативы, и вокруг них формируются политические коалиции. Здесь главные акторы – парламентские партии и исполнительная власть. На третьей стадии происходит имплементация принятого решения. Наконец, в рамках четвертой стадии реализуется функция обратной связи. При этом все этапы принятия решений происходят в среде, накладывающей на этот процесс исторические, социальные, культурные и экономические ограничения [ibid., p. 535–536].

Сконцентрировав свое внимание на первой стадии цикла принятия политических решений – определении повестки дня, – П. Норрис на основе кросснационального анализа, единицами которого выступили страны не только с демократическими, но и авторитарными режимами, пришла к выводу, что основным фактором изменений избирательных систем является недостаток легитимности политических институтов¹. Недовольство граждан тем, как функционируют демократические институты, способствует появлению на повестке дня вопроса реформирования избирательной системы, который уже затем детально обсуждается акторами, принимающими конкретные политические решения [ibid., p. 545].

Как отметили в своей статье М. Лиенар и Р. Хазан [Leyenaar, Hazan, 2011], помимо подхода рационального выбора, причины электоральных реформ можно изучать также с точки зрения бихевиоризма или институционализма. Например, в рамках поведенче-

¹ Похожую мысль еще в 2005 г. на основе рассмотрения 14 масштабных избирательных реформ в демократических странах с начала 1950-х годов высказал Р. Кац [Katz, 2005, p. 69].

ского подхода в фокусе исследовательского внимания оказываются не столько партии, понимаемые как единые политические акторы, сколько отдельные составляющие их индивиды; причем акцент ставится не на их рациональности, а на их ценностях и идеологиях. В свою очередь, основное внимание в рамках институционального подхода уделяется тому, насколько институциональный контекст поощряет либо, напротив, сдерживает электоральные изменения [Leuenaar, Hazan, 2011, p. 443]. Основной вывод авторов, впрочем, состоит в том, что лучшее понимание причин электоральных реформ дает синтез всех трех подходов: рационального, поведенческого и институционального [ibid., p. 449].

Все описанные до настоящего момента подходы к анализу электоральных реформ были разработаны на эмпирическом материале демократических стран. Вместе с тем, логика электоральной инженерии в режимах электорального авторитаризма также заслуживает внимания, поскольку ее раскрытие представляет интерес с точки зрения углубления нашего знания о внутренней динамике таких политических режимов. Исследования, посвященные изучению избирательных реформ в автократиях относительно немногочисленны [Diaz-Cayeros, Magaloni, 2001; Lust-Okar, Jamal, 2002; Stroh, 2010; Tan, 2013; Higashijima, Chang, 2016; Gandhi, Heller, 2017], а их выводы, за единственным исключением – работы М. Хигашиджима и Э. Чанга [Higashijima, Chang, 2016], – построены на малом числе случаев и не могут быть генерализованы.

Дж. Ганди и Э. Ласт-Окар отмечают, что трансформация избирательных систем в режимах электорального авторитаризма подчиняется той же логике, что и в демократиях: инкубенты стремятся к избирательным системам, которые выгодны им и невыгодны оппозиции [Gandhi, Lust-Okar, 2009, p. 412]. А. Шедлер уточняет этот аргумент, заявляя, что авторитарные инкубенты предпочтут устанавливать ограничительные избирательные системы, чтобы снизить вероятность поражения в связи с возможным падением популярности [Schedler, 2002, p. 45]. Согласно такой логике, избирательные системы в режимах электорального авторитаризма должны быть всегда высокодиспропорциональными. В то же время помимо авторитарных режимов, где используются правила электоральной конкуренции, ограничивающие шансы оппозиции на представительство [Tan, 2013], существуют автократии, где используются более инклюзивные избирательные системы [Stroh,

2010]. Хотя М. Хигашиджима и Э. Чанг [Higashijima, Chang, 2016] представили первые объяснения того, почему автократии используют разные электоральные формулы – пропорциональные системы или системы большинства, – вопрос о логике электоральных реформ в авторитарных режимах по-прежнему открыт. По замечанию Дж. Ганди и А.Л. Хеллер, правила проведения выборов в автократиях остаются малоизученным феноменом [Gandhi, Heller, 2017].

Список литературы

- Ahmed A.* Reading history forward: The origins of electoral systems in European democracies // *Comparative political studies*. – Beverly Hills, CA, 2010. – Vol. 43, N 8/9. – P. 1059–1088.
- Andrews J.T., Jackman R.W.* Strategic fools: Electoral rule choice under extreme uncertainty // *Electoral studies*. – Oxford, 2005. – Vol. 24, N 1. – P. 65–84.
- Benoit K.* Models of electoral system change // *Electoral studies*. – Oxford, 2004. – Vol. 23, N 3. – P. 363–389.
- Benoit K.* Electoral laws as political consequences: Explaining the origins and change of electoral institutions // *Annual review of political science*. – Palo Alto, 2007. – Vol. 10. – P. 363–390.
- Benoit K., Schiemann J.W.* Institutional choice in new democracies: Bargaining over Hungary's 1989 electoral law // *Journal of theoretical politics*. – L., 2001. – Vol. 13, N 2. – P. 159–188.
- Blais A.* The debate over electoral systems // *International political science review*. – Beverly Hills, Calif., 1991. – Vol. 12, N 3. – P. 239–260.
- Blais A., Massicotte L.* Electoral formulas: A macroscopic perspective // *European journal of political research*. – Dordrecht, 1997. – Vol. 32, N 1. – P. 107–129.
- Blais A., Dobrzynska A., Indridason I.H.* To adopt or not to adopt proportional representation: The politics of institutional choice // *British journal of political science*. – Cambridge, 2005. – Vol. 35, N 1. – P. 182–190.
- Boix C.* Setting the rules of the game: The choice of electoral systems in advanced democracies // *The American political science review*. – Cambridge, 1999. – Vol. 93, N 3. – P. 609–624.
- Boix C.* Electoral markets, party strategies, and proportional representation // *The American political science review*. – Cambridge, 2010. – Vol. 104, N 2. – P. 404–413.
- Bowler S., Donovan T., Karp J.A.* Why politicians like electoral institutions: Self-interest, values, or ideology? // *The journal of politics*. – Cambridge, 2006. – Vol. 68, N 2. – P. 434–446.
- Brambor T., Clark W.R., Golder M.* Understanding interaction models: Improving empirical analyses // *Political analysis*. – Oxford, 2006. – Vol. 14, N 1. – P. 63–82.
- Carey J.M.* Electoral system design in new democracies // *The Oxford handbook of electoral systems* / E.S. Herron, R.J. Pekkanen, M.S. Shugart (eds.). – N.Y.: Oxford univ. press, 2017. – В печати.

- Colomer J.M.* The strategy and history of electoral system choice // Handbook of electoral system choice / J.M. Colomer (ed.). – N.Y.: Palgrave Macmillan, 2004. – P. 3–78.
- Colomer J.M.* It's parties that choose electoral systems (or, Duverger's laws upside down) // Political studies. – L., 2005. – Vol. 53, N 1. – P. 1–21.
- Colomer J.M.* Party system effects on electoral rules // The Oxford handbook of electoral systems / E.S. Herron, R.J. Pekkanen, M.S. Shugart (eds.). – N.Y.: Oxford univ. press, 2017. – В печати.
- Cox G.W.* Making votes count: Strategic coordination in the world's electoral systems. – N.Y.: Cambridge univ. press, 1998. – 360 p.
- Cusack T.R., Iversen T., Soskice D.* Economic interests and the origins of electoral systems // The American political science review. – Cambridge, 2007. – Vol. 101, N 3. – P. 373–391.
- Cusack T.R., Iversen T., Soskice D.* Coevolution of capitalism and political representation: The choice of electoral systems // The American political science review. – Cambridge, 2010. – Vol. 104, N 2. – P. 393–403.
- Diaz-Cayeros A., Magaloni B.* Party dominance and the logic of electoral design in Mexico's transition to democracy // Journal of theoretical politics. – L., 2001. – Vol. 13, N 3. – P. 271–293.
- Downs A.* An economic theory of democracy. – N.Y.: Harperand Row, 1957. – 310 p.
- Duverger M.* Political parties: Their organization and activity in the modern state. – 2 nd rev. ed. – L.: Methuen, 1959. – 439 p.
- Duverger M.* Which is the best electoral system? // Choosing an electoral system: Issues and alternatives / A. Lijphart, B. Grofman (eds.). – N.Y.: Praeger, 1984. – P. 31–39.
- Elgie R.* France: Stacking the deck // The politics of electoral systems / M. Gallagher, P. Mitchell (eds.). – Oxford: Oxford univ. press, 2005. – P. 119–136.
- Gandhi J., Heller A.L.* Electoral systems in authoritarian states // The Oxford handbook of electoral systems / E.S. Herron, R.J. Pekkanen, M.S. Shugart (eds.). – N.Y.: Oxford univ. press, 2017. – В печати.
- Gandhi J., Lust-Okar E.* Elections under authoritarianism // Annual review of political science. – Palo Alto, 2009. – Vol. 12. – P. 403–422.
- Grofman B.* Perspectives on the comparative study of electoral systems // Annual review of political science. – Palo Alto, 2016. – Vol. 19. – P. 523–540.
- Grumm J.G.* Theories of electoral systems // Midwest journal of political science. – New Jersey, 1958. – Vol. 2, N 4. – P. 357–376.
- Higashijima M., Chang E.* The choice of electoral systems in dictatorships. – 2016. – April – 39 p. – Mode of access: <https://masakihigashijima.files.wordpress.com/2017/09/esc-copy.pdf> (Accessed: 17.10.2017.)
- Horowitz D.L.* Electoral systems: A primer for decision makers // Journal of democracy. – Baltimore, MD, 2003. – Vol. 14, N 4. – P. 115–127.
- Jacobs K., Leyenaar M.* A conceptual framework for major, minor, and technical electoral reform // West European politics. – L., 2011. – Vol. 34, N 3. – P. 495–513.
- Katz R.S.* Why are there so many (or so few) electoral reforms? // The politics of electoral systems / M. Gallagher, P. Mitchell (eds.). – Oxford: Oxford univ. press, 2005. – P. 57–76.

- Kreuzer M.* Historical knowledge and quantitative analysis: The case of the origins of proportional representation // *The American political science review*. – Cambridge, 2010. – Vol. 104, N 2. – P. 369–392.
- Leyenaar M., Hazan R.Y.* Reconceptualising electoral reform // *West European politics*. – L., 2011. – Vol. 34, N 3. – P. 437–455.
- Lijphart A.* Advances in the comparative study of electoral systems // *World politics*. – Cambridge, 1984. – Vol. 36, N 3. – P. 424–436.
- Lijphart A.* The field of electoral systems research: A critical survey // *Electoral studies*. – Oxford, 1985. – Vol. 4, N 1. – P. 3–14.
- Lijphart A.* Electoral systems and party systems: A study of twenty-seven democracies, 1945–1990. – Oxford: Oxford univ. press, 1994. – 209 p.
- Lust-Okar E., Jamal A.A.* Rulers and rules: Reassessing the influence of regime type on electoral law formation // *Comparative political studies*. – Beverly Hills, CA, 2002. – Vol. 35, N 3. – P. 337–366.
- Nohlen D.* Changes and choices in electoral systems // *Choosing an electoral system: Issues and alternatives* / A. Lijphart, B. Grofman (eds.). – N.Y.: Praeger, 1984. – P. 217–224.
- Norris P.* Introduction: The politics of electoral reform // *International political science review*. – Beverly Hills, Calif., 1995. – Vol. 16, N 1. – P. 3–8.
- Norris P.* Choosing electoral systems: Proportional, majoritarian and mixed systems // *International political science review*. – L.A., 1997. – Vol. 18, N 3. – P. 297–312.
- Norris P.* Cultural explanations of electoral reform: A policy cycle model // *West European politics*. – L., 2011. – Vol. 34, N 3. – P. 531–550.
- Quintal D.P.* The theory of electoral systems // *The western political quarterly*. – Sacramento, 1970. – Vol. 23, N 4. – P. 752–761.
- Rahat G.* The politics of electoral reform: The state of research // *Journal of elections, public opinion and parties*. – L., 2011. – Vol. 21, N 4. – P. 523–543.
- Renwick A.* Electoral reform in Europe since 1945 // *West European politics*. – L., 2011. – Vol. 34, N 3. – P. 456–477.
- Reynolds A., Reilly B., Ellis A.* Electoral system design: The new international IDEA handbook. – Stockholm: International IDEA, 2005. – 223 p.
- Riker W.H.* The two-party system and Duverger's law: An essay on the history of political science // *The American political science review*. – Cambridge, 1982. – Vol. 76, N 4. – P. 753–766.
- Rogowski R.* Trade and the variety of democratic institutions // *International Organization*. – Cambridge, 1987. – Vol. 41, N 2. – P. 203–223.
- Rokkan S.* Citizens, elections, parties: Approaches to the comparative study of the processes of development. – Oslo: Universitetsforlaget, 1970. – 470 p.
- Sartori G.* Political development and political engineering // *Public policy*. – Cambridge: Harvard univ. press, 1968. – Vol. 17 / J.D. Montgomery, A.O. Hirschman (eds.). – P. 261–298.
- Schedler A.* Elections without democracy: The menu of manipulation // *Journal of democracy*. – Baltimore, MD, 2002. – Vol. 13, N 2. – P. 36–50.

- Shugart M.S.* Comparative electoral systems research: The maturation of a field and new challenges ahead // *The politics of electoral systems* / M. Gallagher, P. Mitchell (eds.). – Oxford: Oxford univ. press, 2005. – P. 25–56.
- Stroh A.* Electoral rules of the authoritarian game: Undemocratic effects of proportional representation in Rwanda // *Journal of Eastern African studies*. – L., 2010. – Vol. 4, N 1. – P. 1–19.
- Taagepera R., Shugart M.S.* Seats and votes: The effects and determinants of electoral systems. – New Haven: Yale univ. press, 1989. – 292 p.
- Tan N.* Manipulating electoral laws in Singapore // *Electoral studies*. – Oxford, 2013. – Vol. 32, N 4. – P. 632–643.

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

Журнал «Политическая наука» – одно из ведущих периодических изданий, входящих в **перечень рецензируемых научных изданий ВАК РФ**, в которых публикуются результаты исследований соискателей ученых степеней кандидата и доктора наук по специальности «Политология». Журнал существует с 1997 г. и хорошо известен среди зарубежных исследователей, владеющих русским языком. Он, в частности, входит в базу **Russian Science Citation Index** на платформе Web of Science.

Учредителем журнала является Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН; в издании также участвует Российская ассоциация политической науки (РАПН).

К публикации принимаются научные статьи, обзоры, рефераты, рецензии, переводы. Тексты предоставляются в электронном виде (адрес: politnauka@inion.ru; politnauka1997@gmail.com) в форматах doc или rtf.

Основные требования к рукописям:

Кегль – 14, межстрочный интервал – 1,5.

Объем – 30–40 тыс. знаков (включая пробелы) для статей и 16–24 тыс. знаков для рецензий на книги.

Графики и диаграммы должны дублироваться в файлах формата. xls, .xlsx (чтобы сделать возможным их дальнейшее редактирование).

Рисунки и схемы желательно создавать в форматах. ppt, .pptx или. jpg. Соответствующие файлы также прилагаются к рукописи.

Текст, таблицы, диаграммы, графики, рисунки и схемы должны быть выполнены исключительно в черно-белой графике.

С целью соблюдения авторских прав заимствованные из других изданий элементы (рисунки, схемы, графики, таблицы и пр.) должны сопровождаться ссылками на первоисточники.

Ссылки на литературу внутри текста даются в квадратных скобках с указанием фамилии автора, года публикации и страниц. Материалы могут иметь постраничные сноски.

В конце текста приводится список литературы и источников – в алфавитном порядке без нумерации; сначала русские источники, потом иностранные. При этом необходимо соблюдать требования библиографического оформления, принятые в ИНИОН РАН, и правила, установленные Национальным стандартом РФ (ГОСТ Р 7.0.5. – 2008).

К рукописям прилагаются аннотации на русском и английском языках (до 200 слов).

В полном объеме приводятся фамилия, имя и отчество автора, место его работы, должность и контактная информация.

Решение о публикации рукописи принимается на основе отзыва рецензентов. Плата за публикацию не взимается.

INFORMATION FOR THE AUTHORS

«**Political Science (RU)**» is one of the leading Russian periodicals in the field of the political science. Founded in 1997, it is well known among foreign researchers. «Political science (RU)» is included in the list of the academic journals that are recommended by the High Certification Commission (VAK) of the Ministry of Education and Science of Russian Federation. The journal is in the list of the **Russian Science Citation Index** database of the **Web of Science platform**.

«Political Science (RU)» is quarterly published by the Institute of Scientific Information for Social Sciences of the Russian Academy of Sciences (INION RAN) with the assistance of the Russian Political Science Association (RAPN).

«Political Science (RU)» accepts manuscripts of the following genres: research articles, review articles, review essays, book reviews, abstracts, translations. Authors are invited to submit articles through e-mail politnauka@inion.ru and politnauka1997@gmail.com.

Manuscripts should be printed in Microsoft Word or RTF format, in standard 14-point type with 1.5 lines spacing. The maximum length is 5,400 words for article and 3,200 words for book reviews.

Charts and diagrams should be duplicated in.xls or.xlsx format in order to enable further editing.

Pictures and schemes should be duplicated in.ppt,. pptx, or JPEG format. Texts, tables, charts, diagrams, and pictures must be executed in black-and-white. Pictures, diagrams, charts, tables and other elements taken from other publications must not violate the copyright law and should be accompanied by citations to the primary sources.

A list of references should be placed at the end of the manuscript. The sources should be listed in alphabetical order without numbering, first Russian sources, then the foreign ones. References should follow the rules of the Institute of Scientific Information for Social Sciences and the bibliographical standard of the Russian Federation (GOST R 7.0.5 – 2008). Citations in the text should be enclosed in square brackets and must include the name of the author (s), the year of the publication, and the number of pages. Footnotes with text comments are also possible.

A manuscript should be accompanied by the annotation in Russian and English, no longer than 200 words. Authors must provide their full name, the place of work, position and contacts.

All articles are subject to anonymous peer review by scholars in the relevant field. An article can be accepted, sent to the author for revision and resubmission, or rejected. The publication is free of charge.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ НАУКА
Научный журнал
2018 № 1

Редактор и составитель номера
д-р полит. наук *М.В. Ильин*

*Издание рекомендовано Высшей аттестационной комиссией
Министерства образования и науки Российской Федерации
и включено в «Перечень ведущих рецензируемых научных журналов
и изданий, в которых должны быть опубликованы основные ре-
зультаты диссертации на соискание ученой степени доктора и
кандидата наук» по политологии*

Адрес редколлегии: 117997, г. Москва, Нахимовский проспект 51/21.
ИНИОН РАН. Отдел политической науки.
E-mail: politnauka@inion.ru

Оформление обложки И.А. Михеев
Техническое редактирование
и компьютерная верстка Л.Н. Синякова
Корректоры М.П. Крыжановская, О.В. Шамова

Гигиеническое заключение
№ 77.99.6.953. П. 5008.8.99 от 23.08.1999 г.
Подписано к печати 17/IV – 2018 г. Формат 60 х 84/16
Бум. офсетная № 1 Печать офсетная
Усл. печ. л. 19,0 Уч.-изд. л. 16,5
Тираж 500 экз. Заказ № 10

Институт научной информации по общественным наукам РАН,
Нахимовский проспект, д. 51/21, Москва, В-418, ГСП-7, 117997
Отдел маркетинга и распространения информационных изданий
Тел. / Факс: (925) 517-36-91
E-mail: inion@bk.ru

Отпечатано по гранкам ИНИОН РАН